

ЮНОСТЬ

8 '85



Д. ЖИЛИНСКИЙ. Белая лошадь.



ЮНОСТЬ

8 (363)

85



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Михаил ГОДЕНКО. Вечный огонь. Роман.	3
Альберт ЛИХАНОВ. Детская библиотека. Повесть	31
Аркадий АДАМОВ. Идет розыск. Роман. Окончание	63

Поэзия

Виталий КОРЖИКОВ	28
Петр КОШЕЛЬ	30
Василий ВОЛКОВ	59
Татьяна КУЗОВЛЕВА	60
Олег ДМИТРИЕВ	61
Василий ГАЛЮДКИН	82
Любомир ЛЕВЧЕВ	83

Публицистика

Павел ПЭНЭЖКО. Колхозник с чековой книжкой	84
Тамара СОКОЛОВА. Первый бал	90
Александр ПЕТРУХИН. Шаг в бессмертье	94
Ксения АВДЕЕВА. «С мыслью о матерях»	112

Критика

Юрий ЩЕГЛОВ. Цвет дня	100
Анатолий БОЧАРОВ. Ветер памяти и долга	104
Г. КРАСУХИН. «И смысл, и цель»	105
В. КЛИМОВ. Книга о поэте	105
М. КОМИССАРОВА. Земные чудеса	107
Алексей ФРОЛОВ. Им было двадцать...	108

Стихи

М. ЗАЛЕССКИЙ, Е. ЧЕН. Выше головы... прыгнешь!

Зеленый портфель

Александр ПОРТЕР. Объяснение	110
Олег НАЗАРОВ. Станные люди	111
Александр ИВАНОВ. Литературные пародии	111

1—4 стр. обложки —
рисунок
В. Скрылёва

Художественный редактор
О. Кокин

Художник
Ю. Цишевский

Технический редактор
О. Трепенко

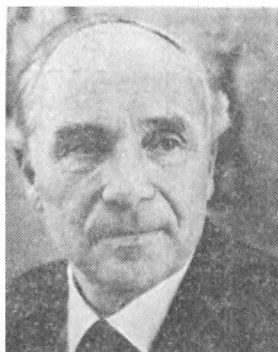
Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Т е л е ф о н ы:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83

Сдано в набор 05.06.85.
Подп. к печ. 05.07.85.
А 13338
Формат 84×108^{1/16}.
Высокая печать
Усл. печ. л. 12,18.
Уч.-изд. л. 17,62
Усл. кр.-отт. 18,48.
Тираж 3 200 000
Изд. № 1910
Заказ № 950.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

МИХАИЛ
ГОДЕНКО



РОМАН

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

I

В этом номере мы начинаем печатать роман, посвященный советским морякам-подводникам. В основу романа легли многолетние наблюдения автора, в прошлом военного моряка, участника Великой Отечественной войны. События, о которых повествуется в романе, вымышленные, но, случись нечто подобное в действительности, советские моряки поступили бы так же мужественно, самоотверженно, как герои «Вечного огня». Ведь они продолжают героические традиции своих отцов.



И взял в кладовке обыкновенный кусок оконного стекла, широкий осколок, которым мать накрывала горшок с молоком. Зажег керосиновую семилинейную лампу на кухне, выкрутил фитиль так, чтобы лампа коптила, приблизил осколок к отверстию лампового пузыря — язык огня поднялся неестественно высоко, задымил чернотой, покрывая осколок бархатистой сажой.

Пока коптил стекло, ни о чем не думал, ничем не тревожился. Но после, когда убавил фитиль, дунул в лампу сверху так, что она задохнулась в собственном чаду, когда вышел на улицу, его охватила смутная тревога. Еще недавно подворье выглядело совсем по-иному. В зарослях травы у забора мелькали белые кролики, у колодезного корыта похрюкивал подсвинок, шумно всплескивали сухими крыльями голуби, взлетая над коньком крыши. Ровно светило солнце, которого никто не замечал, о котором никто не заботился.

Сейчас оно вроде бы притухло — и небо вокруг примеркло, стало пепельным. Все живое затихло, спряталось в сараи, будки, гнезда; забило в норы, дупла, щели, — мир преобразился.

Какое-то время еще держался нетронутым краешек солнца, еще горел ярко, не сдавался, ослепляя своей резкой белизной, но затем и он померк. Словно бельмо на глазу, разрослось на нем кружало слепой луны, заслонило свет.

Наступило затмение.

Через закопченное стекло хорошо видно было, спокойно виделось и пепельно-темное кружало, дышавшее холодом, и яркий нимб вокруг него. Плененное светило нимбом своим как бы подавало надежду на скорое свое возвращение.

Но почему-то именно сейчас пришла мысль о пугающей безнадежности:

— А что если не выйдет?..

Он никогда не задумывался над тем, почему дует ветер, почему встает солнце, почему в избе есть мать. Он воспринимал все как должное. Мир казался постоянным, вечным, нерушимым: так было всегда, так всегда будет. Он чувствовал себя хорошо от сознания постоянства, ему жилось славно от уверенности, что завтра он снова искупается в речке, поест кислого крыжовника, коснется босыми ступнями пахоты. Он, конечно, знал, что день, каким бы ясным ни выдался, все равно потухнет. Но знал и то, что завтра обязательно наступит такой же, а то и лучше.

И вот ни с того ни с сего затемнила солнце плотная заслонка, затянуло белый день серым покрывалом. Все произошло неожиданно.

Рисунки
Г. Пондопуло

не укладываясь ни в какие привычные понятия. Поэтому и подумалось вслух:

— А что если не выйдет?!

Испытал испуг, потрясение, после которых будто бы проснулся, задумался разбуженно, стал смотреть вокруг трезвее, менее доверчиво.

Так всегда: неожиданно-негаданно приходит что-то необычное, и свет меняется.

Когда открыл глаза, его ослепило белизною: стены, тумбочки, простыни, покрывало, шторы, которыми наглухо затянуто окно,— все неимоверно белого цвета. Прикрыл глаза, почувствовав резь под веками, словно поглядел на вспышку электросварки. Через какое-то время, осмотревшись, заметил по правую руку две пустые кровати, старательно заправленные, нетронутые. Пришло чувство одиночества.

Пока спал, находился в ином, заманчивом мире, в котором время двигалось спокойно, отлаженно. Проснувшись, долго не мог поверить в то, что случилось. Не хотелось верить. Одолевала настойчивая тяга возвратиться туда, в сон, в нереальность, переполняя желание превратить эту нереальность в действительность. Какое-то время, весьма непродолжительное, ему удавалось такое возвращение, он как бы забывался, и его увлекало инерцией туда, к тому берегу, где все выглядит по-иному, где нет холодной обнаженности событий, где можно незначительным усилием воображения повернуть все в лучшую сторону, где не надо ни за что отвечать, ни на что отвечать. Расслабленно предаться течению и плыть себе, плыть бесконечно.

Он не чувствовал боли, не ощущал боязни за свою жизнь. Но это было не смирение, а естественное состояние. Раньше менее опасные недуги могли вызывать в нем животный страх и возмущение всего существа, не соглашающегося терпеть такое унижение. Теперь же — вовсе по-иному.

Опасение и вместе с ним протест ощутил только однажды.

Позавчера поутру зашли к нему трое в белых до синевы халатах, в белых головных колпаках, лица до самых глаз скрыты марлевыми повязками. Подкатили изжелта-белый столик на роликах. На столике, покрытом салфетками, разложены инструменты.

Беспокойство испытал, почти ужас, хотел закричать, протестуя, когда толстая игла вошла в тело в том месте, которое именуют солнечным сплетением. Помнится, в детстве, если кто-либо во время потасовки попадал туда кулаком, спирало дыхание. Это так и звалось: дать под дых. Игла вошла мучительно больно, поразила хрящ. Едва успела анестезирующая жидкость разойтись вокруг — почувствовал во рту привкус охлаждающего ментола.

Обезболивающий укол оказался намного тяжелее основного. Основной же — совсем не беспокоил. Только странно так что-то хрустнуло в груди, точно сухую веточку переломили. И ничего такого особенного при этом не испытал, ни о чем таком пугающем не подумал.

Наоборот, стало легко, спокойно. Закрыв глаза, увидел свою деревню в овражке. К теплому склону меловой горы прилепились избы. И еще подумалось о том, что избы на юге Воронежского края, в Придонье, совсем не похожи ни на деревянные дома-срубы северных земель, ни на хохляцкие саманные хатки-мазанки. Основа — вроде бы сруб, но только не еловый и не кедровый подавно, а из местных пород дерева, скажем, из ясеня, тополя, а то и акации белой. Бревна, ясно, не в обхват толщиной, потоньше — жерди, да и кривые, гнутые к тому ж. По такому случаю сруб получается не срубом,

а вовсе ребристым остовам, который обкладывают тесаными кусками мела, штукатурят красной глиной, замешенной на конском навозе, затем уже белят глиной, которую из камня-известняка выжигают, — стойкая побелка, не враз дождем оббивается.

Дома в селах, как сейчас видится, ставят фасадом на юг. Во внутренних покоях кровати обычно размещают около глухой северной стены. Помнится, бабушка, укладывая спать, учила, что ложиться надобно лицом к восходу: и сон будет слаще, и солнышко не проспшишь. Церкви тоже воздвигают, замечала, так, чтобы глядели на восток. И покойника так хоронят: ликом к новому дню, к воскресению.

Правду, нет говорила? Тогда не задумывался, брал на веру, воспринимал, как сказку. Позже размышлял: может, в самом деле сподручнее так — лицом к движению. Вместе с землей поворачиваешься, поворачиваешься навстречу светилу. Потому и покойно тебе, что пребываешь в полном согласии с миром.

Когда его вынесли на носилках с дизельной подводной лодки на пирс, он протестовал, пытался встать: чувствовал себя здоровым и дееспособным. Когда вдвинули вместе с носилками в машину «Скорой помощи», даже негодовал. Но когда уже в базовом госпитале на его протесты, на его замечания о том, что он не мальчишка какой-нибудь, а капитан второго ранга, встречавший его врач фыркнул недовольно, попросил принести свой китель, кивнул на генеральские погоны с одной крупной звездой на сплошном серебристом галуне, он сник, почувствовал себя беспомощным.

Он, Мостов Анатолий Федорович, столько лет отдавший флоту офицер, командир подводной лодки — экспериментального подводного корабля с атомным двигателем, который проходил испытания в дальнем плавании, он, командир, оказался в буквальном смысле за бортом. Лодка лишилась хода, ее взяли на буксир, на ней сменен экипаж. Новые люди, проделав все необходимое по исключению опасности, связанной с радиацией, стоят у механизмов, не его люди; другой, не он находится на мостике. Произошло такое, во что трудно поверить...

Толя Мостов осваивал профессию токаря в «ремеслухе» на станции Россосъ. Там же, на станции, работал около года. Когда комиссия, приехавшая в районный военкомат, объявила отбор в военные училища, в число кандидатов записался первым. Медицинскую проверку прошел легко, без сучка и без задоринки. Экзамены тоже сдал без особого труда. И повезли его, Толика Мостова, стриженного под нулевку, через всю страну аж во Владивосток.

Когда поезд вышел из тоннеля, что под самым центром города проложен, глазам открылась гавань, густо забитая кораблями и судами. Новобранцев пересадили с поезда на пароход и отправили на лесистый остров.

Поначалу казалось Толе Мостову, что дал маху. Но исправить дело было поздно, да и никак невозможно. Стукал по каменистой почве коваными ботинками, шуршал льяною жесткой робой. Со временем привык и к ранним подъемам, и к поздним отбоям, привык и к веслу, и к парусу, к занятиям в классе и на плацу; ползал по-пластунски, кидался на дзоты, зевал, оглушенный на артиллерийских стрельбах, плавал практикантом-учеником штурмана на тральщиках и миноносцах.

В отпуск прилетал самолетом. Курсантские нашивки-галочки на левом рукаве: сколько галочек — на таком по счету курсе учится. Погоны в белой окантовке, на которых по блестящему латунному якорю-

ку приколото. Время было небогатым — первые послевоенные годы, — но мать старалась угостить сына пощеднее. Как она только изворачивалась! И встреча и проводы. Да чтобы полно народу, чтобы к столу было что подать, чтобы гармонь заливалась и девчата не сидели молча — песни играли. Чтобы все как у людей. И Толика уже никто не осмеливался называть Толиком. Анатолием Федоровичем кликали. Разве что мать, но ей иначе называть сына и неловко.

Нелегко поднимался по ступенькам службы Анатолий Мостов. Плавал штурманским помощником на посыльном судне «Гарпун», затем штурманом на сторожевом корабле «Дельфин». Ходил старшим помощником командира корабля на своем же сторожевике. Позже предстояло ему лететь с группой тихоокеанских офицеров на Балтику для совершенствования знаний на классах. Недолгое время походил в штурманах на подводной лодке по Финскому заливу. Перевели на Север старшим помощником командира дизельной лодки. Затем стал ее командиром. И только после назначен командовать атомной — экспериментальной атомной лодкой на флоте.

В то утро выбрился с особым тщанием. Жена его Франия, Франческа Даниловна, преподаватель биологии в старших классах, не пошла на уроки, отпросилась: такой день! Муж уходил в испытательный поход. Дочь Валентина — он ее называет Валёк (полная, круглая, действительно на валёк похожая) — тоже отпросилась на работе: в штабе части машинистой служит.

Командир соединения, адмирал, прислал за ним свою темно-зеленую «Волгу». Жена и дочь сели на заднем сиденье, он — рядом с шофером. Несколько расстроенный тем, что женщины не пожелали проститься дома, напросились проводить до борта, он всю дорогу молчал. Но праздник не был испорчен. Так и подмывало Анатолия Федоровича оборотиться назад, подмигнуть заговорщицки Франие, как обычно делалось в час доброго расположения, сказать дочке с удивленным видом:

— И ты здесь, негодница?

Валентина не обиделась бы на такое слово, как никогда не обижалась, потому что оно звучало в устах ее папки не бранливо.

Говорят, горе в одиночку не ходит: вслед за первым ударом жди второго. Верилось, удача тоже приходит не в одиночку. Только что его поздравили с присвоением звания капитана второго ранга, и вот — ему доверена лодка, недавно спущенный на воду атомный корабль, красавица субмарина. Стоит она в ожидании своего командира у дальнего плавающего пирса, повернутая лобастой головой к скалистому берегу. Выглядит она черным огромным чудом с лоснящейся кожей. Чуть выше ватерлинии по скулам выведена неширокая белая полоса, делающая ее похожей на ощерившегося кашалота.

Анатолий Федорович простится с ними, со своими дамами (так он их в шутку называет), у общей проходной, на пирс не пустит. Поднимется на второй этаж санпропускника, переоденется в рабочую форму. У трапа его встретит дежурный офицер, подаст команду «смирно», которая почему-то всегда звучит для Мостова торжественно и высоко...

Перед этим он всю ночь не спал: ворошил, ворошил прошлое, доискивался до себя, хотел понять, откуда у него нашлось столько силы, гордости, упорства пройти такой путь, не уронив себя, не запятив. Что подняло его над другими, ну, скажем, над многими сверстниками-односельчанами, над многими друзьями по службе, которые остались до

сих пор штурманами или в лучшем случае старпомами, ведь некоторые казались — да и были на самом деле — проворней и удачливей, но не им, а ему доверили экспериментальную лодку.

Так кто же он и что собой представляет?

В детстве в пацаньей гуще никогда ватажком, заводилой не бывал, вперед не выступал. В походах на дальние плесы, в набегах на отдаленные бахчи держался в общем гурту. Все было, как говорится, серединка на половинку. И трусил в меру и храбростью особой не выделялся. Случалось, почувствовав опасность, улепетывал так, что уши от ветра холодило. Летел, не разбирая дороги, по колючкам терна, продираясь сквозь заросли шиповника, неся и по пахоте и по густому травостою, который больно резал, попадая между пальцев босых ног. После молчаливо сносил подтрунивания и дразнилки. Когда уже совсем закипало в душе, смелея, давал сдачи. И сам ходил с разбитыми губами и другим разбивал. Его обижали, и он обижал.

Большого прилежания к наукам не выказывал. Другие читали запоем книжки, самозабвенно что-то мастерили, он этого за собой не замечал. Военно-морское училище окончил без отличий и наград. Особой тяги к главенству, к командирским заботам и обязанностям не ощущал. Даже опасался выдвижений-назначений. Вдруг явилось сознанию, как открытие: нигде, кроме флота, нигде, кроме как на корабле, быть не сможет. Привычка, что ли? Наверно, права поговорка: свыкнется — слюбится? Возможно, и это. Но не только. Нечто большее, нечто поважнее. Лодка — в ней теперь заключено все, в ней собран весь мир. Прямо признаваться в любви к кораблю как-то неловко, несолидно, потому чтокровенные свои прикрыл философской шуткой: «Когда в буйстве хаоса появляется центр тяготения — наступает гармония. В моем бытии появилась лодка — и все поставила на свои места». Потирая переносицу, посерьезнев, уже без улыбки, с теплым холодком под ложечкой спросил себя: «Неужели нашел то, ради чего появился на свет божий?..»

Захотелось тут же отправиться в гавань, постоять на палубе своего корабля, даже не спускаясь вниз, в центральный пост, не поднимаясь вверх, на мостик, просто постоять на палубе у ограждения боевой рубки, погладить остывший металл, похлопать, будто коня вороного по холке.

Рывком освободился от одеяла, сел на постели, включил ночничок, что стоит на тумбочке, нащупал ногами тапочки. Жена Франия приподняла голову, испуганно спросила:

— Что с тобой?

— Все в норме. Отдыхай. Пойду на кухню покурю!

— Ты же не куришь?..

— А... добро! Тогда будем спать.

2

Алеша брал с разделочной доски горячий блин, сворачивал трубочкой, пофукивая на пальцы, макал блин в гущенку, налитую в голубое блюдечко.

— Ма, подкинь!

— Ну, прорва. Чистая тебе прорва! — любуясь сыном, приговаривала мать. Она стояла у плиты, в левой руке держала ручку сковородки, в правой — половник, которым наливала на сковороду белую гущу. — И что вы, Горчиловы, такие падкие на мучное? Батя твой, царство небесное, тоже тестоедом был. Натворю полное сито пельменей, наварю — все слопает.

Мать умолкала, подносила передник к глазам. Алеша прислал:

— Мам, не надо.

Всегда так: стоит ей вспомнить отца — сразу в слезы. Столько лет прошло, но она никак не может успокоиться.

— Проклятая война, проклятый фюрер, что ты натворил!

Мать била себя кулаками по лбу, обессиленная, присаживалась у плиты на табуретку. Сковорода подгорала, отчаянно дымилась. Алеша вскакивал с места, открывал оконную створку. Он не успокаивал мать, не уговаривал. Понимал: пока она сама себя не переборет, пока у нее не отойдет душа, ничто не поможет.

Алеша не помнил отца, потому о нем думал как о постороннем. Он не знал, какие у него руки, чем пахнут в карманах, больно ли он щиплет за уши. А вот дедушку, который умер совсем недавно, Алеша помнил живо. У дедушки руки жесткие, не руки, а клещи. Дедушку «распопом» дразнили. Бабушка тоже, бывало, разозлится и давай выговаривать:

— Сам распоп, дети твои распоповичи и вера твоя распоповская!

— Рехнулась, старая! — мирно начинал сопротивляться дедушка. — Какая же это такая вера распоповская? У меня она самая истинная...

— В церковь не ходишь!

— Потому как не люблю, чтобы кто-то стоял между мной и богом. А попы и есть самое бесовское племя, они только то и делают, что людям бога заслоняют. В церковь не хожу. Когда надо, помолюсь в святой угол — всевышний меня и так услышит. — Разгневавшись наконец, он вставал со стула, прохаживал по комнате, обеими руками поглаживая бороду, деля ее надвое. — Сусальной позолотой пустоту души не прикроешь, огнем свечи неверие не растопишь. Ежели есть вера, она глубоко в тебе самом, почто ее обрывать в дорогие одежды!..

Дедушка был когда-то богатым человеком, именовался домовладельцем. Весь дом — четырехэтажный особняк на Большой Болотной, где и теперь проживает семья, — принадлежал ему, сдавался внаем, доход приносил немалый. Позже, рассказывают, когда раскулачили дедушку, оставили за семьей одну квартиру о четырех комнатах. Самого хозяина не тронули, никуда не выслали. Говорят, закон такой был: чей сын служит в Красной Армии, того не брать. Старший сын Горчилов — Филат — ходил в красных командирах. Потому и не разрушен род. Трем сыновьям по комнате досталось. И старому со старухой — комната.

Дедушка, покачивая облысевшей головой, любил повторять:

— Бог дал, бог и взял. — Это он о своем богатстве. — Горбом нажито: не грабил, не воровством присваивал. — Показывал руки все в трещинах, ссадинах, с узловатыми пальцами, с изуродованными ногтями, под которыми темнела набившаяся шпаклевка-краска. — Каким явился сюда, таким и уйду! — подразумевая свой уход из жизни.

Пришел в Питер Александр Горчилов издалека, как сам любил утверждать, из глубины России. Пришел с артелью строителей. И каменщиком был, и маляром, и штукатуром. Мог даже печь изразцом выложить, пол выстелить паркетом. Цены не было его рукам. Войдя в силу, отбилась от старой артели, свою сколотил. Подрядов было сверх возможностей. Жилы из себя тянул, из других тянул. При больших деньгах оказался. Своей же артелью, на свои кровные дом собственный возвел. После, как отобрал, не впал в тоску, не рядился в рубище, не пошел по миру. Сколотил новую артель шабашни-

ков, крыши чинил, фасады красил, водосточные трубы менял. Работы хватало. После разрухи, после застоя Россия оживать начала. И Александр Горчилов ожил. Сыновей своих с малолетства к делу приспособил: одного плотницкому ремеслу обучил, другого малярному (Алешин отец в малярах ходил), третьего, самого младшего, поздно родившегося, Владимира, не успел взять в артель: война помешала.

— Мам, а, мам! — Алеша легонько притронулся пальцами к материнскому плечу. — Я пойду, ладно?

Мать очнулась, протянула недовольно, осуждая себя:

— Накормила сынка!..

— Я сытый, вот тебе честное слово, если не ве-ришь!

— Куда же ты?

— В Рамбов. — Так многие сокращенно звали Ораниенбаум.

— И что он тебе дался?

— Китайский дворец поглядим. Занятно!

— Никак опять с Веркой сговорились?

— С кем же еще?

Вера — одноклассница Алеши из девятого «В». Живет неподалеку, на Детярной, в школу пешком бегаёт. Школа рядом с Алешиним домом, как выйдешь из подъезда, сразу налево. По улице трамвай позванивает, напротив склады мебельной фабрики, обнесенные глухим забором. Удобно Алеше и радостно оттого, что школа под боком: и поспать можно подольше перед уроками и на перемене заскочить домой, схватить шанежку.

С пересадкой доехали на трамвае до Балтийского вокзала. Алеша взял два билета на электричку и два эскимо. Вера удивилась:

— Богач какой — мороженым угощает! Сам, что ли, деньги печатаешь?

— Дядя Володя помогает, — в тон ей ответил Алеша.

— Счастливый! — всерьез позавидовала Вера. — А мне вот никто не поможет.

Обеими пятернями расчесывая жесткий густой чуб — черный, с рыжеватыми подпалами возле ушей, — улыбаясь открыто, Алеша думал про себя, что он и вправду счастливый. У него нет отца, но зато есть дядя Володя. В сорок четвертом году, уходя на фронт, он где-то раздобыл пугач, подарил племяннику со словами:

— Держи, матрос. Немец ползет — пали в самый живот, верное дело! — Матросом назвал потому, что сам Алеша на вопрос, кем он хочет быть, неизменно отвечал: матросом.

Они поднялись в верхний парк Ораниенбаума, побродили вокруг Меншиковского дворца, обошли домик Петра III, Каталную горку и только после направились в Китайский дворец.

— Да он же совсем низенький! — разочарованно протянула Вера, захватывая, будто от холода, обеими руками полы грубошерстной вязаной кофты. — То ли дело Зимний! — Даже головой недовольно встряхнула, забросив длинные светлые пряди волнистых волос за плечо.

— Сравнила!.. Такой, как задумано.

— Задумано, задумано!.. Все у тебя по плану. А я хочу — если дворец, чтобы был дворцом, а не халупой.

Алеша взял ее под руку, попридержал.

— Вход не здесь. С тыльной стороны.

Когда из низкого, на лохане похожего ящика брали разлапистые тапочки, надевали их на обувь, завязывали длинные тесемки, обвяз ими несколько раз ногу выше щиколотки, он спросил ее, усмехнувшись:

— Не жмут?



— Нормально!.. Пошли. Группа наша вон уже где. Интересно, чё там рассказывают?

Он поймал ее за руку.

— Сами посмотрим.

— А че поймешь?

— Что захочу, то и пойму! Неинтересно, когда тебе все в рот вкладывают. Сам смотришь, соображаешь-воображаешь разное. Занятней.

— Соображаешь-воображаешь!..— съязвила Вера.

— Оставь!

— Чудной ты у меня, Леха.— Она некоторое время плелась за ним, скучая, равнодушно рассматривая расписные потолки, развешанные по стенам картины. Затем начала вредничать.— Леха, погоди!

— Наткнулась на что-то важное?

— Тесемки развязались. Наклонись, будь другом.

Алеша втянул их потуже, завязал бантом. Еще и до конца зала не дошли, как Вера снова взмолилась:

— Второй рассупонился!

Странно прозвучало в устах городской девушки такое слово. Хотя почему же? Ее отец работает возчиком на мелькомбинате. Ездит на широкой телегеплатформе с дутыми шинами. В телегу запряжен мерин-ломовик чалой масти. Грива у него густая, низко падающая с могучей шеи, а хвост короткий, как обрубен. Видать, не однажды приходилось слышать Вере от отца о супони.

Алеша снова присел на корточки, стал бережно оплетать ее ногу длинными тесемками. И словно пристыл у Вериной ноги — такая она ему показалась славная. Даже погладил.

— Леха, не дури,—шепотом приказала Вера, густо краснея.

В зале, который носит имя Большой Китайский Кабинет, ноги ее будто прилипли к паркету, она не в силах была шагнуть дальше. Ее поразили ларцы черного дерева всевозможной величины, фонарики разнообразных форм и окрасок, вазы — и маленькие, стоящие на подставках, на мраморных выступах, и большие, возвышающиеся по сторонам входной и выходной дверей, расписанные лазурью и золотом,— сводчатый потолок с лепными украшениями — непонятными, но забавно-волнующими. На стенах росписи: деревья нездешние с плоскими вершинами, пагоды с задранными углами крыш, птицы райские с неимоверно длинными хвостами. Посередине Кабинета огромный бильярдный стол с резными ножками — их много, и похожи они на лапы льва. Поле стола и его приподнятые борта обтянуты зеленым сукном, у шести луз повисают мешочки, плетенные из шелкового шнура. Дальше ступить Вера не решалась еще и потому, что боязно ей было попирать ногами красоту пола: весь он выложен мозаикой, изображал какие-то фигуры и был до того блестящим, что мог отражать тебя, как зеркало.

Алеша и Вера долго, одиноко стояли здесь, затем, боясь наступить на картину, нарисованную разноцветными планками паркета, обошли ее у самых стен, заторопились дальше, словно догоняя далеко вперед ушедшую группу с экскурсоводом.

Возвращались к вокзалу молча.

В Алешу вселилось какое-то непонятное раздражение и беспокойство. Ему вдруг захотелось чего-то яркого, необычного. Захотелось сделать что-то та-

кое, от чего бы все изумились. Он морщил нос, со вздохом расчесывал густой чуб пятерней. Вера не однажды видела его таким, но не понимала, что с ним происходит, даже побаивалась. Сейчас попыталась шуткой вернуть его, глубоко ушедшего в себя, к действительности.

— Чего задумал, Геркулес? Никак начнешь чистить авгиевы конюшни?..— Она недавно узнала легенду о сверхсильном герое (или как бы теперь назвали — супергерое) и его подвигах. Легенда показалась забавной, потому запомнилась.

Алеша ответил тихо, даже равнодушно:

— Успокойся. Мне всего-навсего захотелось искупаться в море.

— С ума съехал! Май месяц — вода ледяная!

— Тем здоровее.

Он прибавил шагу, почти побежал вниз, в сторону пустынного пляжа, что раскинулся правее пристани, далеко вытянувшись вдоль берега светлой песчаной полосой. Разделся у перевернутой вверх килем шлюпки, посмотрел на Веру, как бы испрашивая дозволения.

Она закинула тонкие руки к затылку, собрала волосы, сдвинула их крепко, протянула разочарованно, увидев его обнаженную худобу:

— Не Геркулес... Явно не Геркулес.

Понимая свою неказистость, он застеснялся, сложил руки на груди, будто пытаясь закрыться от ее взгляда. Тело его враз покрылось пупырышками — гусиной кожей, то ли от холода, то ли от сознания собственной незащищенности. Все же сумел выдать в свое оправдание:

— Была бы кость — мясо нарастет.

Он кинулся к воде, долго бежал с подскоком по песчаному мелководью, затем шумно плюхнулся в желтовато-болотистую воду залива. Выйдя на берег, сделал пробежку-разминку, проворно оделся и как ни в чем не бывало увлек Веру за собой:

— Айда на гору!

— Опять двадцать пять?

— Побежали!

— Чего надумал?

— Пока не спрашивай.

Когда, запыхавшись, стояли на высокой поляне, открытой в сторону города, в сторону моря, он показал ей туда, в глубь залива.

— Что там? — удивилась Вера.

— Кронштадт.

— Первый раз видишь, что ли?

— Надо так смотреть, чтобы каждый раз — как впервые.

— ...тогда не надоеет глядеть! — иронически заключила его мысль Вера.

— Кронштадт никогда не надоедает.

— Да уж куда там — «орлиное гнездо»!

— Не язви, Верка.

— Чего там нашел?

— Не нашел. Пока только ищу.

— Баламутный ты, Леха!

— Хочешь, я тебе все о нем расскажу?

— Бывал ли хоть раз?

— Пока нет. Но все равно, гляди. Трубу видишь полосатую? Высокая, как грот-мачта.

— Вижу.

— Труба Морского завода. С нее и начинается Кронштадт. Левее — заметила? — доки. Они-то сами не видны, но надстройки кораблей можно различить, правда? Это суда, стоят в ремонте. Смотри западнее — купол собора.

— На Исаакий похожий.

— Вот!.. Молодец, Верная.— Так он ее нередко называет: «Ты у меня Верная».— Морской собор. У собора — Якорная площадь. На площади бронзо-

вый Макаров — памятник адмиралу, отцу русских матросов. Он минное оружие придумал, ледокол сконструировал. А еще левее, после сада, различаешь высокое светлое строение? За ним — склады порта, обводненные каналами. Бывала у нас на площади Труда, в Ленинграде? Там правее длинных красного кирпича строений — канал, за ним склады порта. Точь-в-точь похожие.

— Откуда все знаешь?

Не отвечая, он молча глядел на нее какое-то время.

— После десятого класса пойду в училище Дзержинского. Дзержинец! Звучит, правда?— Улыбнулся невесело, потому что знал: Вера его выбор не одобряет.— Все равно пойду. Больше никуда!

Она не стала спорить, знала: спором дело не поправит. Надеюсь, подрастет — поумнеет. Еще год бегать в школу, а там видно будет. Только заметила, присмирев:

— Алеша, почему у тебя все время грустные глаза?

— Девушки любят такие, с поволокой,— пошутил без улыбки.

— Нет, правда. Они у тебя всегда, даже когда веселишься, печальные-печальные, затуманенные, словно беду чувт неотвратимую.— Кутаясь зябко, она подняла воротник кофты, прижала правую руку к груди, у горла.— Я боюсь тебя, Алексей.— Впервые назвала по-взрослому, отстраненно: «Алексей».

Алла любила этот зал — высокий, просторный, залпленный военными молодыми людьми. Любила старомодно звучащую музыку духового оркестра. Она училась на четвертом курсе Политехнического института, а на вечера отдыха по субботам ездила сюда, к дзержинцам, ездила с подругой, у которой брат курсант. Он-то и присылал им приглашения. Бывало, являлся в общепит лично, чтобы увезти девушек на бал,— так он любил говорить.

В Политехническом тоже устраивались вечера. Но там оркестра не было. Там прокручивали джазовую музыку. И все танцы выглядели на один манер. Вернее, как считала строгая девушка, это были не танцы, а толчея, давка, в которой каждый сам себе горазд: движется, как ему вздумается, то ли по-старчески делает разминку ног и рук, то ли по-молодому буйствует всем телом—ни грации, ни гармонии. Эти танцы напоминали анархическую гимнастику, где нет ни конца, ни начала, где никаким сюжетом действие не ограничивается. Да, думала Алла, глядя на неистовствующую толпу, танец разуверившихся во всем одиночек, танец эгоистов, не желающих подчиняться общей идее, танец усталых и пресыщенных, можно даже сказать, бунтующих, восставших. Но против чего? Против кого? С кем воюющих?.. Ребята в шутку говорят: открыть клапана, выпустить пар! Похоже. Порой действительно хочется повить, поёрничать, поразмяться. Но при чем же здесь танцы? Танец — высокое искусство, оно создавалось веками, передавалось из поколения в поколение, в нем вырабатывалась красота, в него вкладывался глубокий смысл. Где же это?

Девушку, словно свежим ветром, овеяли звуки вальса, будоражила полька, обволакивал грустью полонез. Она все это понимала и принимала, жила этим, потому тело ее само по себе слушалось музыку, подчинялось такту. Потому чувствовала ее, мысли соответствовали тому высокому настрою, который создавала музыка. И не только музыка, а все, все вокруг: и нарядные, яркие люстры, и легкие бра в простенках с повисающими хрусталинами-сережками, и покрытый лаком паркет — по нему пары, ка-

жется, не ходят, а скользят,— и нежно-голубой цвет побывавших под солнцем курсантских воротничков-гюйсов, темные матросские костюмы, сверкающие желтизной бляхи, золотые нашивки, надраенные до блеска черные ботинки. Здесь все подчинено единой воле, единой мысли. Здесь то, чего она все время ищет в жизни.

Их никто не знакомил. Случилось как-то само собою. Оставшись на какое-то время без кавалера, Алла увидела курсанта, одинокого стоящего у стены. Она не могла понять, почему ее тянет смотреть в его сторону. Успела заметить, что роста он невысокого. Форма на нем сидит без особого шика, не то что на других. Губастый какой-то. Даже понегодовала: ну зачем так вывернута верхняя губа — почти под самый нос поднята! Уши посажены низко, будто их чем-то давили сверху, заставляя расти вниз и чуток назад, к затылку. Пожалуй, его только и красило — копна темных волос, она выделялась заметно. И глаза. Грустные-грустные! Интересно, напускает на себя парень или на самом деле?..

Ей захотелось подойти, поглядеть в них открыто. Она написала записку, что тоже было старомодно (но такая уж она!), попросила подругу отнести ему.

Алеша прочел на косом листочке: «Почему не танцуете?» Стал искать глазами отправителя. Она приподняла правую руку, слегка пошевелила пальцами, и он пошел на призыв, пошел, еще не понимая, зачем, что скажет ей.

Но дойти не успел. Ее подхватил какой-то проворный, увлек на круг. Алеша остановился там, где стояла она, следил за ней, но думал о другом, о Вере. О ней он думал уже много лет. Иногда ему казалось, что все еще можно вернуть, поправить, хотя сам мало верил в свои утешения.

После десятого класса Вера пошла работать на «Красный треугольник», в институт поступать и не пыталась. Алеша сдал экзамены в Высшее военноморское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского. Виделись редко, а со временем и вовсе перестали встречаться. Когда Алеша уже был на третьем курсе, Вера вышла замуж за инженера из отдела технического контроля. Не сама об этом сказала Алеше, узнал от других. Девушки, бывшие одноклассницы, передали. Поблагодарил за известие, улынулся криво. Ему подумалось, значит, вот почему она часто повторяла при последних встречах: «Тяжело тебе будет, Леха. Ты не как все». Что она в это вкладывала: «не как все»? То, что будет тяжело — угадала. Первые месяцы ходил ошумевший и заторможенный, не ведая, как и скоро ли он выберется из такого состояния. Горше всего ему было вспоминать тот день, когда позвала она его, уже курсанта, в свой дом, впервые целовала по-особому, как мужчину, когда, увлекая на тахту, начала раздевать его, словно малое дитя, говорить всякие непривычные слова. И после уже, лежа отстраненно, постыдно откровенничала:

— Сладко с тобой, Алексей, только пацан ты, быстро сгораешь... Ну-ну, не хмурься, с возрастом заматереешь.

Зачем, зачем все это?.. Прощалась?.. Теперь верится, так расставался с ним его короткая школьная любовь.

3

После первого выхода в море, уже когда вернулись в бухту, пришвартовались, отладив механизмы и подсоединившись к береговому коммуникациям, питающим лодку водой и электроэнергией, подключившись к кабелю связи и

сделав большую приборку во всех отсеках, уже когда команда перешла на жительство в плавучую казарму, сокращенно называемую ПКЗ,— только тогда командир атомной подводной лодки Мостов Анатолий Федорович вызвал к себе Алексея Горчилова, инженер-лейтенанта, командира реакторного отсека. Лейтенант доложил о своем прибытии, Мостов пригласил его сесть в мягкое ворсистое кресло, стоявшее у стола. Сам не сажился, он прохаживался по каюте, которая служила ему и кабинетом и спальней (если не ездил в город, оставаясь ночевать вместе с экипажем). Каюта была просторной, в открытый иллюминатор врвался знобкий ветерок, вздувая занавески бледно-лимонного цвета, легко пошевеливая бумаги на столе.

Мостов почему-то посчитал, что в каюте темно-то — врубил свет, щелкнул массивным выключателем на пластиковой стенке у входной двери.

— Инженер...— Мостов звал Горчилова просто инженером, не добавляя «лейтенант».— Хочу поговорить. Не против? — Командир лодки еще не определил своего отношения к Алексею Горчилову, потому пока избегал местоимений: не называл его ни на «вы», ни на «ты». Считал, что если скажет ему «вы» — отдалит молодого офицера от себя, обидит, если же обратится на «ты» — незаслуженно приблизит, а приближать-то пока не за что.— В самом деле, инженер, откуда столько робости и смирения? Встряхнуться надо, посмелее, посмелее действовать, приказывать, требовать! Не то сядут на шею. Мичман Макоцет уже норовит сесть: покрикивает, огрызается. Не спорю, у него опыт, он старый краб, послужил на морях — дай бог каждому! — но он забывает, что находится в подчинении командира отсека — инженера Горчилова. Так, нет?

— Слушаюсь, товарищ капитан второго ранга! — Алексей Горчилов вскочил с места, даже руки вытянул по швам, вроде бы кто-то невидимый и слышимый подал ему команду «смирно».

— Да что там — слушаюсь? Надо брать дело в свои руки, чтобы хозяин чувствовался! — Мостов обернулся к Горчилову, недоуменно заметил: — Зачем вставать? Я ведь просто беседую пока, не приказываю.— Жестом попросил сесть.— Мичмана Макоцета окоротить придется. «Тыкает» своему начальнику, инженеру. Скоро, гляди, заставит ключи подносить!

— Вряд ли, товарищ командир.

— К тому движется...— Командир одной рукой потирал подбородок, другой копался в кармане кителя — обычный его жест.— Конечно, с людьми надо по-людски. К тому же команда в реакторном знающая, можно сказать, с первого шва электросварки находится на лодке. Вначале работали вместе со строителями. А спустили лодку на воду — проводили на ней швартовые испытания, заводские испытания. Ясно, поучиться у них есть чему, хотя бы у того же Макоцета. Но при этом и свою командирскую волю терять нельзя.

Алексей понимал справедливость упрека, но вместе с тем он не знал, как себя поставить в команде. С матросами еще ладно, а со старшиной группы мичманом Макоцетом как быть? Мичман служит много лет, прошел все ступеньки. Он намного старше Алексея, пришедшего на лодку, считай, с ученической, то есть училищной, скамьи. Потому мичман и поучает своего командира, упрекает частенько за неумелые действия неизменной своей присказкой: — Вот бесового батьки работа!..

Алексей Горчилов узнал от самого Макоцета, что родом тот с Брянщины. Даже удивился:

— Я считал, вы щирый украинец.

— Он самый и есть!

— Родились, оказывается, в России?

— Где нашего брата, хохла, только нет: и на Кубани, и в Заволжье, и в Казахстане, и на Алтае, и на Дальнем Востоке. Селами, районами живут, целыми округами поселения. Где объявится пустой клочок земли — там, глядишь, уже хохол вырос. Сильно народ землю любит, без земли дыхнуть не может. В Канаде, говорят, целыми провинциями проживают... Наше село на Брянщине. Необычное поселение: наполовину украинское, наполовину русское. Нижний порядок — хаты, верхний порядок — избы, между ними — широкая улица, бурьяном заросла. На той улице, как на выпасе, живность кормится. У наших хат все больше свиньи на привязи пасутся, у ихних изб — гуси на свободе разгуливают. Они нас «кабанами» обзывали, мы их «гусакми» кликали. Бывало, устраивали потехи: держат гусыню под мышкой и гукают в нашу сторону: «Хохлы, вы такое ядите!» Наши отвечают: «А пороссячьего хвоста не хочешь?!» Рассказывают, раньше и драки случались и тяжбы. Ну, а теперь-то что — все в едином колхозе, пережились, переродились, не разберешь, где хохол, где кацап.

Когда шумела война, Макоцет малым хлопчиком бегал. Но медаль получил. Настоящую, фронтовую — «За отвагу». Был связным у партизан. По балочкам, по камышам, по кустам терна мышонком пробирался у немцев под самым носом, сведения разные добывал и кому надо передавал, на след наводил — вот и отметили. Он ее пуще глаза бережет, мелом чистит, суконкой полирует, носит только в особых случаях, потому что дорогая.

Во время первого выхода в море Алексею Горчилову хотелось стоять на швартовах, видеть, как уплывает пирс, как отдаляются сопки, как сужается залив за кормом, как ложится вспененная полоса, над которой кружатся и галдят чайки, словно грачи над свежей бороздой, с той только разницей, что белые. Про грачей мичман подсказал. Он всегда так говорит, глядя на чаек:

— Точно грачи суетливые.

Хотелось бы видеть, как сужается бухта за кормом и открывается вдруг простор, где не за что глазу зацепиться. Хотелось бы... Но у молодого, можно сказать, даже юного офицера есть свои дела, свои обязанности. На швартовах стоят люди, специально выделенные по расписанию.

Алексей Горчилов, следя за приборами в своем отсеке, уловил переданную по трансляции команду Мостова о погружении. Слышал также доклад старшего помощника о том, что «трюма очищены». Понял по могучему дыханию турбин, что лодка, погружаясь, набирает ход. Ему даже показалось, что ощущает всем своим существом упругое сопротивление воды, будто он вместе с лодкой делает усилие, чтобы расщепить толщу. Почудилось, как потрескивает корпус лодки, сдавливаемый неимоверной тяжестью глубин, готовый проломиться. Но это только легкое бодрящее ощущение, не больше. Славный такой холодок первоначального опасения, которое будоражит тебя всего, заставляет собраться, напрячься, обостряет слух, зрение, приводит все твое существо в готовность к испытаниям. И ты ждешь испытаний. Вот-вот что-то случится. Услышишь сигнал тревоги, напрягая волю и силу, станешь бороться за себя и за корабль.

Некоторое время спустя он расслабился, стал посмеиваться над собой, иронически думать: «Салага! Включил воображение. Размагнитился. Поджилки задрожали!..»

Он понимал, что в действительности все получается не так, как ожидаешь, все происходит по ино-

му. И когда что-либо такое случается, то действуй, не успевай подумать. Лишь после переживаешь страх и заботу.

Особенно ему запомнилось, как во время ужина в кают-компанию зашел командир корабля Мостов и полусуто-полусерьезно поздравил его:

— Инженер!.. С первым выходом!

— Спасибо, товарищ капитан второго ранга! — Алексей поднялся, вытянулся.

Мостов улыбался, оглядывая офицеров, сидевших за столом, который служил и обеденным и для игр в шашки-шахматы-домино, на котором газеты раскладывают, боевой листок рисуют. В шутку заметил, кивнув в сторону Горчилова:

— Видать, здорово гоняли в училище по строевой подготовке. Вон как вскакивает. Вы-то уже небось забыли, как надо стоять перед старшим, как пожирать глазами начальство! — Ему забавно было глядеть на Алексея Горчилова, потому что тот напоминал Анатолию Федоровичу его собственную флотскую юность.

Больше всего поразило Алексея Горчилова всплытие.

Лодка шла долгое время подо льдами. Ощупывая приборами лед, искала свободную воду для выхода на поверхность.

Полынья оказалась чистой и просторной. Будто ветры и течения специально потрудились, раздвинув ледяные горы, чтобы принять субмарину.

При всплытии огляделись. Мостов приказал обследовать ледовые берега. В надувную шлюпку сели старпом и боцман. Они осторожно подошли к низкому краю ледяного облома. Боцман оставался в шлюпке, старпом же, выйдя на лед, осмотрел закраски, нашел место, где лодке удобней всего ошвартоваться, заметил торосы, за которые можно прихватиться концами.

Подрабатывая винтами помалу, лодка подошла к избранному месту. Стоящие на палубе подкладывали кранцы между бортом и сколом льдины, чтобы лед не повредил корпус лодки. Когда были поданы швартовы и накрепко прилажены-закреплены за надежные глыбы, часть команды, свободная от вахты, вышла на лед по переброшенным сходням.

Алеша увидел: Арктика преобразила людей. Старшина группы торпедистов, солидный усытый дядя, вдруг схватился бороться с матросом из пятой боевой части Черныхом. Черных подбил его умелой подножкой, сел сверху и, по-мальчишески хохоча, стал допытываться:

— Сдаешься? Сдаешься?..

Откуда-то появился волейбольный мяч. Сперва им перестукивались, образовав широкий круг. Затем кто-то, не дотянувшись руками, поддел его носком сапога. И все, как по свистку, не делясь на команды, затеяли футбольную игру. Ни ворот, ни голкиперов — просто общая потасовка, били куда попало, только бы двинуться, только бы мяч не лежал на снегу.

Когда приехали на сани с собачьей упряжкой вызванные с ближней станции по рации зимовщики, командир распорядился, чтобы отгрузили им несколько ящиков ядовито-зеленой кислой антоновки, дали сушеной воблы, запечатанной в высоких консервных банках. Вобла для зимовщика слаще всякой сладости, дороже любого деликатеса. Зимовщики приглашали экипаж в гости, да недосуг: командир торопился засветло пойти на погружение.

Алексей Горчилов впервые видел такое, и ему казалось странным, когда чужие, незнакомые люди встречаются на далекой льдине и ни с того, ни с сего становятся друг другу роднее родного. Обнимаются, похлопывают по плечам, рассказывают ка-

кие-то совершенно неинтересные в иных условиях случаи. Чем такое можно объяснить, размышлял Алеша. Видимо, психологическим настроением, эмоциональным напряжением? Может, еще чем? И сам он чувствовал при этом, что готов расцеловать каждого из приехавших на санях, этих неповоротливых в своих меховых одеждах людей, подарить каждому что-то памятное.

...После первого похода мичман Макоцет пригласил Алексея Горчилова порыбачить на зимних озерах.

От штаба соединения лодок до городка, где живут семьи офицеров и мичманов, добрались на переполненном рейсовом автобусе. Макоцет ехал с пустыми руками, Алексей толкался в обнимку с лыжами.

— Охота тебе с ними таскаться? — заметил Макоцет, сбивая на затылок кожаную ушанку, освобождая крупный лоб, на котором она даже розовый след оставила. — Взял бы лыжи у Маши. — Жену Макоцета зовут Машей.

Какая-то радостная пружина подрагивала у Алексея внутри. Он едва ли не запел во всеуслышание: «У самовара я и моя Маша» — любимую песню своей матери Серафимы Ильиничны, она часто прокручивала пластинку с этой записью на старом, еще до войны приобретенном патефоне.

— Мурлычешь?

— ...а на дворе совсем уже темно.

— Вот приедем — ей и споешь.

— Думаете, нет?

Вместо прямого ответа Макоцет как бы между прочим заметил, показывая глазами на лыжи:

— Зря тащишь дрова!

Макоцету удалось сест. Алексей наклонился над ним, обнимая лыжи. Мичман смотрел на инженер-лейтенанта снизу вверх, в который раз повторяя:

— Говорю же тебе, взял бы наши. А то затеял целое дело: искал инструктора, тащился на спортивную базу!..

— Так удобнее крепления отлажены.

— Отлажены, отлажены!.. Какая чепуха! На гонки, что ли, собрался?

— Вы же знаете: я не стандарт. Ростом не вышел, зато нога-лапша. Туловище короткое, ноги длинные... В школе комаром дразнили, — признался, иронизируя над собой, Алеша. — С такими, как я, одни неудобства: китель длинный, брюки короткие, обувь приходится шить на заказ.

— Расхвастался, комарик! С чего бы это?

— Разве не слышали, новые протуберанцы появились на солнце, — похохатывал Алексей Горчилов.

— После такой полундры любая малость радуется. — Мичман сказал: «После такой полундры», — подразумевая плавание, из которого вернулись два дня тому. — Гляди, какие колосья красуются! — Кивнул на оконное стекло автобуса, разрисованное морозом, сплошь обросшее мохнатым инеем.

Алеша смотрел на то, что мичман назвал «колосьями». Но ему вместо колосьев виделись пальмовые листья. Кому что, улыбнулся про себя Алеша, мичман, видать, до конца жизни останется в душе хлебопашцем и все будет мерять теми мерками, к которым привык с детства.

— Лавливал со льда? — поднял взор Макоцет.

— Не приходилось.

— Озер вокруг — тьма. Рыбы — голой рукой бери.

— А я полагаю, на Севере все бедно.

— Что ты, ни в коем случае! И рыбы, и зверя, и грибов, и ягод — богатства неслыханные! А сколько оленей, а какие звероводческие хозяйства. На Большой земле куда как беднее.

— Вот тебе и тундра, вот так пустыня!.. — протянул заинтересованный Алеша.

— А ты думал!.. — Макоцет смотрел снизу вверх на Горчилова, зажатого со всех сторон черными шинелями.

Горчилов подшучивал:

— Можем не донести улов, Иван Трофимович. — Кажется, впервые Алеша назвал мичмана по имени-отчеству, обстановка расположила.

— Честно говорю! — откликнулся на полном серьезе мичман, уловив в голосе Горчилова ироническую нотку.

Они сидели в тесной прихожей на низких скамеечках, переобувались. Макоцет поглядел внимательно на хлопчатобумажные носки Алексея, запротестовал:

— Куда с таким рыбаком!.. Мария!

Жена появилась в дверном проеме, в пестром домашнем платье, полная, добротная, с круглым лицом, коротко стриженными волосами.

Видать, все Марии-Маши толстухи, подумалось Алексею.

— Макоцет, ты звал? — При людях она обычно зовет мужа по фамилии.

— Погляди на воюку!

Маша улыбнулась Алексею, скрестив руки на груди, поглаживала сама себе плечи пухлыми ладонями. Муж попросил:

— У меня были носки домашней вязки. Найди, а?

Носки оказались не по размеру. Попробовали вместо них подмотать портянки — нога в сапог не входит.

— Нескладный ты, парень, — разочарованно заметил Макоцет. — Последнее средство: обверни ступню газетой.

— У Макоцета рецепты на все случаи жизни. — Маша пошла в комнату за газетами.

Надели ватники, вскинули на спину заплечные мешки. У мичмана еще и двустолка-тульчанка на шею за ремень повешена, легла поперек груди — так в войну автоматы носили. Лыжи взяли под мышки и пошагали вдоль улицы. В городке, словно в деревне, все ходят не по тротуарам, а по проезжей части, то ли потому, что машин мало, то ли панели узкие.

За околицей (какая околица — просто низенькие по сравнению с жилыми домами строения: казармы, клуб, гаражи) раскинулась снежная целина. Встали на лыжи, заработали палками. Когда дорога повернула за сопку и оказалась в узкой теснине, увидели КПП — контрольно-пропускной пункт: серо-бетонная караулка с плоской по-южному крышей, полосатый шлагбаум. В низком ущелье — река, через нее переброшен высокий мост.

Мичман Макоцет на правах старожила объяснял, показывая лыжной палкой вниз, на реку.

— Вот где красная рыбка ловится!

Алеша подъехал к нему, остановился рядом, упершись палками в накатанную дорогу.

— Закинем разок?

Макоцет посмотрел на Горчилова в упор (они одинаково невысокого роста), толкнул в грудь рукой, в которой зажата лыжная палка.

— Салага! Не время. Закидывают, когда она из океана идет метать икру. Да не морышку, а сеть капроновую в крупную ячейку. Вон там, гляди ниже, перегораживают ей путь поставами.

— Весной, что ли?

— Начало лета бери.

— Хорошо бы такую семужину выхватить! — отступившая палкой належь на сапогах, признался Алеша.

— Держи карман шире! Командующий приказывает!

вайт высылать патрули во время нереста. По всему берегу ходят с автоматами. Однажды, рассказывают, истинный бой завязался с браконьерами. Тоже с оружием похаживают. Но это редко случается: ведь пустынно вокруг — ни градов, ни весей. Свои, флотские ухари, бывает, пошаливают. Не то с Мурмана залетит какая пташка на собственных колесах.

Они спустились по крутосклону, какое-то время шли по наносной равнине. В теле Алексея появилась живая упругость, жажда скорости. Кажется, наступило второе дыхание. Взмахнув длинными палками, поскользился проворней. Выскочив из проложенной мичманом лыжни, прошелся с ним рядом пробежкой, опередил напарника, крикнув ему на ходу:

— Кончик подать? — Так обычно дразнят моряки отстающего: мол, не взять ли тебя на буксир?

Макоцет прибавил шаг, но время было упущено. Настиг он Алексея только у самой кромки льда. Еще бы малость — и оказался впереди, но тут, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло Алексею Горчилову. Запнувшись о кочкарник, он со всего маху растянулся на чистом льду, выбросив вперед палки, поехал по гладенькой поверхности юзом. Широко раскинув руки, лежал, торжествуя по-детски:

— Моя взяла, моя взяла! И озерко мое!

Макоцет, спешившись, воткнул лыжи и палки стоймя в береговой сугроб, скользнул на лед. Приближаясь к Горчилову, воркующее похохатывал:

— Олимпиаец!..

Развязав рюкзак, он достал ножовку, походя вдоль берега, облюбовал березовое деревце карликового роста (они только такие растут здесь, в тундре) с кривой развилкой сучьев, спилил развилку, обработал ее, поставил на лед в виде треногого стульчика.

— Чем не кресло?

— Погляди, как ладно! — залюбовался Алеша. — А мне?

— Вот инструмент, действуй!

Алексей долго ходил, приглядывался, ничего такого не подобрал, а точнее сказать, ему жаль было губить эти низенькие деревца, чем-то похожие на детей. Он подбил под себя рюкзак, уселся на него, но, вспомнив, что надо сверлить лунку, вскочил.

Мичман Макоцет уже сверлил лед. Коловорот мягко врезался в ледяную твердь, кроша ее в белое мегиво, выталкивая на поверхность.

— Никак до грунта промерзло? — улыбаясь, спросил Алексей.

— Покров что надо!

— Паковый лед.

— Во-во.

Алексей задумался. Потирая щеку двухпалой тепловой рукавицей, вспомнил опасение некоторых ребят, молодых матросов, высказываемое вслух в недавнем походе.

— Не попасть бы в мышеловку: забьешься под паковый лед — не всплыть. Стену лбом не прошибешь!

Алексей Горчилов запоздало обеспокоен: «Что если в самом деле над тобой ледяной потолок метра два толщиной, а тебе непременно надо на волю?» Поделился сомнениями с Макоцетом.

Мичман выбирал крошку из лунки, в которой уже похлюпывала желтовато-бурая вода. Он был в приподнятом расположении духа, отвечал не то серьезно, не то шутил:

— Нашел чем пугать! Корабли обеспечения тебе заранее передали картину ледяного покрова, вот и рассчитывай.

Алексей вздохнул облегченно. Он и сам так мыслит. Но все подтвержденное мичманом Макоцетом

приобретало особый авторитет, становилось для него истиной.

Он еще сверлил лунку, а Макоцет уже начал таскать окуньков. Полосато-яркие, они подпрыгивали плоскими пружинами на скользком, разъезжались далеко по сторонам.

— Подобрал бы, что ли? — заметил Алексей.

— Далеко не уйдут.

Окуньки в самом деле разом застывали, охваченные ледком. Вокруг Макоцета вырастала богатая россыпь свежемороженой рыбы. А мормышка Горчилова пребывала в немом покое.

— Пересест поближе к тебе? — засомневался Алексей.

— Рыба суетных не терпит. Дождись своего срока.

Вскоре Алексей ощутил, будто на леску кто-то вдруг подвесил гирику. «Не может быть! — радостно екнуло внутри — Вот это окунщик!»

Макоцет, заметив горчиловскую суету, как можно спокойнее посоветовал:

— Слабину не давай!

Но Алеша ничего не слышал. Он со всей поспешностью рванул на себя мормышку. Вместе с ней из лунки вылетела длинным веретеном дикий рыба. Взившись над головой ловца, она сорвалась с крючка, выгибаясь в воздухе, перевернулась, звучно шлепнулась об лед, самую малость не угодив в лунку.

Алеша плашмя кинулся на лед. Сорвав с себя шапку, накрыл ею рыбу. Так он когда-то ловил полевых кузнечиков. Не всю накрыл, понятно, вся под шапку не уместилась, а только острую голову, похожую на щучью. Длинное тело рыбы выгибалось по-змеиному, елозило хвостом по гладенькой поверхности льда.

— Не упустил? — спокойно поинтересовался Макоцет.

— Фигушки! — прерывисто дыша от возбуждения, стал бахвалиться Алеша. — У меня не усколет!

— Что за зверь?

— Угорь!

— Не встречал... Вроде здесь не бывает, — засомневался Макоцет. — Покажи! — Подошел к Алексею, рассевшемуся на льду — ноги вразлет. Алексей, подцепив рыбу под жабры, поднял ее вверх.

— Что же еще, если не угорь? Он самый и есть!

Макоцет принял в руки длинное ровное тело рыбы, залюбовался ее окраской. Иззелена-серая спинка, ярко-розовое брюхо. Живым огнем светилась от головы до хвоста. На боках краски размывались, переходя одна в другую, и до того искусно, что невольно восхититься.

— Палия!

— Не слышал про такую, — признался Алеша.

— Золотая рыба!

— Ха-га! — хмыкнул неопределенно Алеша, не то радостно, не то разочарованно. — Одна-единственная за весь день.

— Подобное часто не повторяется. Счастливiec!

— Тоже выдумал.

— Олимпиаец, право слово. Надо же, так повезло!

— У тебя вон целая куча, — возразил Алеша.

— Большого стóит, большого, — твердил свое Макоцет, вертя палию перед глазами. — Будем считать, победил ты.

Алексей смутился, развел руками.

— Еще чего...

Они теперь вроде бы поменялись ролями. Горчилов утих, даже сник от неловкости за свою удачу. Движения его стали медлительными, с неуверенной расчетливостью. Мичмана же Макоцета обуяла суета. Сделался резок, порывист, сумбурен. Слова

кидал не впопад, будто что-то было утрачено в его координационном центре (сам любил так говорить, показывая на голову: «Координационный центр»). Из-под его шапки клоками выбились волосы огненно-рыжего цвета. Алеша как бы впервые заметил, что мичман Макоцвет рыжий до медного свечения.

— Ну, олимпиец, подхлестнул ты меня. Без своей «палии» с охоты не вернусь.— Поспешно затолкал все в рюкзак, повесил двустволку на шею, взял в руки лыжи и палки.— Пошли!

— Куда? — удивленно уставился на него Алексей.— Только лов начался,— посожалел.

— Такое не повторяется. В одну лунку два снаряда не падают!

— В одну воронку...

— Придирайся, придирайся, имеешь право, победитель... Айда!

— Снова по буграм лазать? — взмолился Горчилов.

— Поищем следа. Зря я, что ли, повесил это ярмо на шею? — кивнул на ружье.— Должно оно выстрелить или не должно?

— Пусть будет по-твоему,— неохотно согласился Алексей Горчилов, собираясь.

Долго бродили по сопкам и распадкам. Алексей молча сносил все тяготы, будто в чем был виноват. И когда уже сам зачинщик, мичман Макоцвет, умаялся вконец, решили поворачивать лыжи домой.

— Выстрелит в другой раз! — подытожил охоту ее зачинатель.

4

Непогода бушевала всю ночь. Снежные заряды приходили волнами со стороны океана. Нахлынет, сыпанет тяжелыми хлопьями, повалит столбы, запутает оборванные провода, сорвет крышу с ветхого строения, ломает все, что можно сломать, и замолкнет на время.

Инженер-лейтенанта Алексея Горчилова и еще нескольких матросов послали чистить пирс от снежных навалов.

Обычно по утрам после завтрака экипаж строится у плавучей казармы (ПКЗ) и отправляется на лодку. По кораблю объявляются приборка, проворачивание и отлаживание механизмов. Лишь после этого приступают к практическим занятиям, проигрываются учебно-боевые авральные тревоги, или экипаж уходит в учебно-тренировочные классы.

В этот раз было все по-иному. Еще на пирсе, у ПКЗ, люди разбиты на группы, распределены по работам вне корабля. И только часть экипажа под началом старшего помощника командира, капитана третьего ранга Мукашина, отправилась на лодку очищать верхнюю палубу от снежной куржи, обкалывать ледяные наросты.

Во второй половине дня лодка пополнила запасы для длительного плавания и вышла в испытательный поход в океан. В заданном квадрате она должна встретить две дизельные подводные лодки и уже дальше идти с ними вместе.

Как только миновали створ, командир Мостов приказал перейти на турбины. Алексей Горчилов воспринимал момент, когда останавливались электромоторы, двигавшие лодку от пирса до выхода из тесной губы на просторную воду, и пускались турбины, движимые реактором,— с добрым холодком внутри, со славным чувством уверенности в неограниченных возможностях «вечного двигателя» — так про себя называл реактор. Алексей, казалось, видел все воочию, ощущал всем своим существом тот щелчок, тот синий разрыв между контактами элек-



тромоторов и удар той буйной силы на вал, на винты, которую сообщают турбины.

Сбив черную пилотку с золотым «крабом» на затылок, в темно-синей рабочей куртке, он сидел неподвижно на вращающемся стульчике, следил за приборами. В таком испытательном походе все надо тщательно анализировать, лодка ведь экспериментальная. Его занимал вопрос: а что сейчас делает и что думает капитан-лейтенант Полотеев — командир дивизиона движения, — доволен ли он его, Горчилова, работой?

Алексей Горчилов пока боялся признаться себе в том, что завидует Полотееву, что желает быть таким же уверенным и строгим, как Полотеев, желает быть замеченным и отмеченным им. И, если уж говорить все, хочет (пускай не сейчас, а со временем) стать вместо него командиром дивизиона движения.

В реактор он заглядывал часто через толстое, надежно защищающее стекло иллюминатора. Он знал схему, которую заучил и зрительно запомнил еще в училище. Но живой, настоящий реактор выглядел по-другому, не похоже на схему и вызывал иные, более живые, более реальные чувства. В помещении, которое напоминало собой не выгородку в отсеке лодки, а скорее научную лабораторию, стены, и подволок, и палуба покрыты яркими цинковыми белилами. Мягко льющийся матовый свет, стерильная чистота, оглушающая тишина, множество труб и шлангов, отходящих от реакторного котла, — все создавало впечатление чего-то неземного, таинственного, будто ты находишься вовсе не на подводном корабле, а где-то в космическом вакууме, на диковинном звездолете. Ему казалось, что через толстые защитные стены реакторного котла он наяву видел длинные трубки, видел стержни, которыми по команде из пульта управления можно манипулировать.

Порой думалось, что все устройство по сути своей так просто, как тележное колесо: и перегретая вода и пар, врывающийся в турбины... Но мысль о простоте была не постоянной, часто нарушалась сомнениями.

В самом начале, когда впервые знакомился с реактором, считал нерациональным такое устройство. Считал, можно нейтрализовать радиацию каким-то иным способом, чтобы сохранить то огромное количество энергии.

Нет, пока ты не вечный двигатель, думал временами о реакторе. Вот если бы выделяемая энергия прямо превращалась в электрическую и двигала вал с гребными винтами, — тогда бы все выглядело целесообразнее. В момент таких размышлений приходил к выводу, что атомному реактору до простоты и естественности тележного колеса еще очень далеко.

Однажды завел об этом речь с командиром дивизиона Полотеевым.

Они сидели в кают-компании у стола, за шахматной доской. Полотеев расположился на диване, обтянутом искусственной кожей, Алексей Горчилов на приставном стульчике, наискосок от него.

— Курчатов, право слово, Курчатов! Вон куда замкнулся! — Сделав ход, капитан-лейтенант Полотеев предупредил противника: — Говорить говори, но игру не упускай. Видишь, чем тебе грозит позиция моего коня? То-то же! — И тут же вернулся к прерванному разговору. — Мне довелось в отпуске побывать в Академгородке, в институте ядерной физики. Там у них в холле стоит огромный круглый стол, за тем столом они часто устраивают что-то вроде думного вечера. Именно думного. Собираются для теоретических размышлений. Сидят за стаканом чая или

за чашечкой кофе, покуривают сигареты или трубки и разговаривают — Полотеев пошарил по карманам, но, ничего не найдя, продолжил: — Представь себе, там все равны: и академик-директор, и рядовые академики, и заведующие лабораториями, доктора и кандидаты наук, старшие и младшие научные сотрудники. На равных основаниях могут делиться своими соображениями, вдруг возникшими предположениями, замыслами, говорить о неудачах. Заглядывают далеко вперед, фантазируют, допускают невозможное, опровергая друг друга, спорят на равных, высказываясь со всей прямоотой, до конца, без ограничений, без ущемления самолюбий, без обид. Каждый пытается уловить в словах единомышленника или оппонента что-то живое, полезное. Приходят к общему согласию относительно дальнейших опытов... Наслушаешься — голова пойдет кругом. Бог ты мой, думается, такое несут! Но поставят опыты, и оказывается, что истина где-то рядом. — Он потер подбородок, глубоко вздохнул. — К чему я все это говорю? Тебя можно разбить и опровергнуть в два счета, без сомнений и угрызений совести. Но это легкий, упрощенный путь. Куда труднее найти живое зерно, а еще лучше толкнуть тебя на дальнейшие, более глубокие и более плодотворные размышления. То, что ты говоришь, лейтенант, их практический поиск. Об этом они уже думают. Ставят опыты. Я побывал в их подземелье, в лабораториях, сплошь увитых трубопроводами, кабелями (чем-то похоже на внутренность нашей лодки), уставленных приборами, посмотрел синхрофазотрон, позаглядывал на экраны, где фиксируются удары частиц, деление частиц. Ученые уже, кажется, дошли до упора: разбили вещество до кварков. Кварки делиться дальше не желают, — двойные такие частицы, — правда, их разбивают, получают два новых, но опять же двойных кварка. Сколько ни разбивай — два новых двойных! И знаешь, что они, исследователи, говорят по этому поводу? У них возникает мысль о дальнейшей неделимости. — Капитан-лейтенант Полотеев зачем-то вылез из-за стола, встал за спиной Алексея Горчилова, сняв пилотку, похлопывал ею по ладони левой руки и, глядя на шахматную доску, выговаривал: — Ты все-таки дал зевка, лейтенант. Зевка дал! Я беру слона с твоего разрешения, конечно!

— Берите, — равнодушно согласился Горчилов. Слон его в это время вовсе не занимал. Ему подумалось о том, как же быть с теорией бесконечности.

Полотеев словно угадывал его заботу.

— Верно, лейтенант, поставлена под сомнение теория. Да не простая какая-либо, а ленинская теория о бесконечности материи. Всё, уперлись в стенку!.. Может быть, современное состояние науки и техники не дает возможности продвигаться дальше, а может быть, и вносит коррективы в теорию. Думаю, сам Владимир Ильич был бы весьма заинтересован фактом. Он ведь самый большой и последовательный диалектик. Вне всякого сомнения, он бы приветствовал открытие, если оно действительно подтвердится, обобщил бы его. Но не будем, лейтенант, топиться с выводами. Возможно, для дальнейшего расщепления частиц нужны качественно иные способы и теория-то все-таки останется в силе.

Алексей Горчилов вроде бы не замечал в голосе Полотеева ни волнения, ни нажимов, не видел в его лице перемен, но каким-то непонятным образом уловил его азарт и сам почувствовал, что тоже испытывает немалое возбуждение.

Садясь на диван, оглаживая на груди рабочую куртку, которая была надета поверх кителя и скрывала его погоны и нарукавные знаки, Полотеев продолжал:

— Они там разгоняют частицы до плазменного свечения. Представляешь, инженер-лейтенант, что будет, если практически овладеем плазмой? Это все равно, что держать в руках солнце и управлять им по своему желанию, это значит добыть вечный огонь! — Широким жестом смахнул с доски фигуры. — Сбил ты меня с панталыку, окончательно сбил! Какая, к шутам, игра! — Криво ухмыляясь, то ли одобрительно, то ли с осуждением заметил Алексею Горчилову: — Странная у тебя черта, лейтенант, заводить людей. С тобой всегда беспокойно. Сам баламут и других баламутишь своими сомнениями да предположениями. С виду тихий, робкий, мухи не обидишь, а на самом деле — мыслитель, Курчатов!

В выгородке, где размещен пульт дистанционного управления, где множество приборов, сообщающих о работе реактора, заметили сбой.

Полотеев вызвал Горчилова, с тяжелым укором, как показалось Алексею, посмотрел на него, зачем-то повысил голос:

— Видишь, как заплесали стрелки?!

В их жизнь ворвалось что-то новое, необычное. В размеренную, четко отлаженную работу, когда каждый офицер на своем месте, каждый следит за приборами, регистрирующими состояние реактора, обычно показывающими, что все в порядке, когда каждый уверен в том, что реактор будет пребывать всегда в норме, вдруг вошло смещение.

В это пока никто не верил, вернее не хотел верить — так, мол, временное нарушение ритма, легкое затмение (в ясный летний день набежала тучка на солнце!), которое тут же рассеется и все станет на свои прежние места.

— Горчилов, падает давление. Подключить насосы!

— Есть, товарищ капитан-лейтенант!

Полотеев вызвал центральный пост. В трубке слышался голос командира корабля Мостова:

— Что у тебя, Полотеев?

— Перегрев котла. Давление падает. Температура близка к критической. — Полотеев старался докладывать как можно спокойнее.

— Что может быть?

— Ума не приложу... Возможно, нарушена циркуляция?..

— Делай все необходимое. Докладывай почаще!

Когда Полотеев вторично доложил, что положение не выравнивается, наоборот, становится критичным, Мостов ответил:

— Объявляю тревогу.

По кораблю рассыпчато зазвенели колокола громкого боя, транслятор по всем отсекам разнес зычный голос командира лодки:

— Аварийная тревога!.. Аварийная тревога!.. — Через какое-то время послышалось: — Включить поддувание смежных отсеков!

Реакторный отсек. Оттуда исходила угроза радиации, потому приказано поддувание смежных.

Некоторые восприняли тревогу, как учебную, привычную. Но вскоре все убедились, что дело обстоит иначе.

Когда давление достигло критической отметки, а стрелки, регистрирующие температуру в котле, дошли до упора, капитан второго ранга Мостов приказал отключить реактор и перейти с турбин на электромоторы. Одновременно распорядился о всплытии, чтобы в естественных условиях проходило вентилирование корабля, проветрить отсеки, вывести команду на верхнюю палубу, на воздух — в менее опасную зону.

Все понимали справедливость решения, в нем видели выход.

Но реактор вел себя странно. Приборы показали, что аварийная защита (АЗ) сработала безотказно, а он все равно перегревался. Как его теперь заглушить или хотя бы несколько снять температуру, никто не знал.

Мостов сам пришел на пульт управления. Полотеев хотел было подать команду «смирно», но командир отмахнулся, перебил его коротким вопросом, соблюдая внешнее спокойствие, дававшееся ему с великим напряжением:

— Доложи обстановку.

— По-прежнему давление падает, температура растёт.

— А насос?..

— Включен на полную мощность.

— И что?

— Его срывает. Полагаю, попадает воздух...

— Какие могут быть последствия?

— Трудно сказать. Ничего подобного в практике не случалось.

— Не темни, Полотеев. Взрыв реактора?!

— Допускаю, но не должен.

— Допускаю, допускаю!.. А время у нас есть?

— К сожалению... — Командир дивизиона Полотеев беспомощно развел руками.

Мостов взялся за полы куртки, стал зачем-то с силой оттягивать их книзу, даже в ворота затрещало. Затем спросил с деланным равнодушием:

— Что думают офицеры?

Он обратился к офицерам, которые сидели в выгородке, у пульта управления, поискал кого-то глазами.

— Где инженер, командир отсека?

Алексей Горчилов подступился поближе.

— Слушаю вас, товарищ капитан второго ранга! — подчеркнуто полно и четко обратился Горчилов к Мостову, видать, от излишнего возбуждения.

— Жду предложений, инженер!

— Крайняя мера, товарищ командир.

— Давай крайнюю.

— И давление и температура — все зависит от количества воды.

— Где-то прорыв?

— Не иначе.

— Что же делать?

— Идти.

— В реактор?!

— Туда.

Вряд ли он мог подумать, трезво взвесить, оценить, на какой шаг решается. В такие минуты на раздумья нет времени. Но и бессознательным такой шаг не назовешь. Видимо, раньше он часто думал, прикидывал, как бы повел себя в скрутную минуту. Она наступила, и он ответил: «Идти!»

— Ты понимаешь, что говоришь?! Он за семью печатями. Туда вход заказан! Знаешь, какое там облучение?

— Иного выхода нет. Надо найти разрыв циркуляции, обжать свинцовыми пластинами. Может, фланец новый поставить, может, часть трубопровода заменить?

— Понимаешь, чем это грозит тому, кто войдет?..

— Понимаю.

— И кого же ты пошлешь? Мичмана Макоцкова, или старшего матроса Целовальникова, или кого-то еще из твоих, из команды отсека?

— Хотел бы вначале посмотреть сам. Разобраться лично.

Мостов уставился на Горчилова, глядел в упор и не узнавал инженер-лейтенанта. Перед ним стоял человек небольшого роста, с непропорционально коротким туловищем и длинными ногами, смотрел

в лицо своему командиру, даже делал попытки улынуться, задирая и без того сильно задранный верхнюю губу, пошевеливая, как он один только мог, сдвинутыми вниз и назад маленькими ушами. Лишь глаза его были прежними. Как и всегда, не улыбались, не оживлялись. Крупные, черные, глубоко посаженные в темных глазницах, они пребывали словно в тумане. Казалось, они знали что-то такое, чего другие не могли знать, другим было недоступно.

Мостов не выдержал его взгляда, мигом обернулся к капитан-лейтенанту Полотееву:

— Что скажешь, бог движения? — Он часто так с улыбкой называл Полотеева — командира дивизиона движения, но сейчас слова прозвучали серьезно.

— Иного выхода не вижу... — снова, на этот раз даже обреченно, развел руками капитан-лейтенант.

— Чем можем подстраховать? — допытывался Мостов.

— Надеть защитный прорезиненный костюм, дыхательный аппарат, — начал перечислять Полотеев...

— Думаешь, поможет?

— Частично.

— Он же в костюме там захлебнется от жары и пота!

— Сто граммов бы спирту... — неуверенно добавил Полотеев.

— Да, ты, пожалуй, прав.

— А вообще-то... — Полотеев запнулся.

— Говори, говори! — попросил Мостов.

— Опыта никакого. Кто подскажет, как надо поступать, что следует делать? Может, оставить все как есть, только вывести команду наверх? Реактор сам сварится и прекратит работу...

— Уверен?

Полотеев промолчал.

— А если взорвется? — наступал Мостов.

— Не должен.

— Когда всплывем, необходимо сразу же доложить в штаб флота. Пусть свяжут нас с академиком-конструктором. Он ведь принимал лодку со ступеней, был вроде повивальной бабки. Он следит за ее работой... — размышлял вслух командир корабля.

При упоминании имени академика каждый представил его себе, высокого, нескладного, с вытянутой вверх острой, начисто бритой головой. Академик подолгу жил на флоте. В бухте, где швартуются лодки, на горшке, построен для него специально коттедж. Из окон коттеджа видна вся гавань, все корабли, плавучие казармы. Академик время свое проводит не в коттедже, а на кораблях. В свободную минуту, бывает, подсядет к металлическому столу, покрытому пластиком, на котором матросы режутся в «козла», разойдется, вступит в игру, да так успешно, что противники не успеют опомниться, как он им со своим напарником то объявит «крышу», то кончит «авианосцем» (дупль шесть), то голым (пусто-пусто)...

Реакторный котел — его конструкции. Академик должен помочь.

Алексея Горчилова одевали двое: мичман Макоцвет и старший матрос Целовальников — рослый малый с высоко посаженной некрупной головой. Алексей вступил в плотный, холодно шуршащий прорезиненный костюм защитного цвета. Мичман и старший матрос Целовальников, стоящие по бокам, взяли обеими руками за отвороты костюма, натянули его повыше. Когда Горчилов надел на голову маску дыхательного аппарата, вдел руки в рукава, заканчивающиеся пятипальными перчатками, они накинули ему на голову капюшон костюма, зажгutowали

его. И сделался Алексей Горчилов похожим то ли на пожарника, которому предстоит вступить в полосу бушующего огня, то ли на воина противохимической службы, отражающего газовую атаку противника. На подводной лодке этот костюм служит и как противопожарный и как противогазовый. А то его еще надевают, когда корабль получает пробоину, когда в отсеке вода и в него надо войти, чтобы заделать пробоину так называемым пластырем: сложенный в несколько слоев брезент закрывает пробоину, на него кладется плаха, которую подпирает, прижимая к борту, упорное бревно.

Но чтобы входить в реактор, такого не предполагалось.

От спирта Алексей Горчилов отказался. Корабельный доктор, старший лейтенант медицинской службы Ковачев, принес ему мензурку со строго отмеренным количеством, но ее пришлось отнести обратно. Алексею хотелось осмотреться в реакторе чистыми, незамутненными глазами: принять решение на ясную голову.

Капитан второго ранга Мостов посмотрел на Горчилова взглядом, в котором можно было прочесть и тепло, и надежду, и пожелание того, чтобы этот юноша, недавно пришедший на лодку, благополучно во всем разобрался и как можно быстрее, с наименьшим уроном для себя, а значит, и для всех, вернулся из реактора. Мостов ничего Горчилову не сказал, только подумал про себя, странно так обращаться к инженеру, как никогда не предполагал обратиться: «Удачи тебе, сынок. Удачи, милый мой парень!..» Вслух приказал:

— Отдраить вход!

Толстая металлическая дверь, с треском отлепившись от массивной резиновой прокладки, открылась как бы с тяжелым вздохом. Алексей Горчилов, с усилием подняв ногу, перешагнул через высокий комингс-порог, скрылся. За ним бесшумно, в гнетущей тишине, затворили дверь, провернув ручки задрок.

5

Письмо пришло утром. Серафима Ильинична еще подумала перед этим: «Не зря воробы толкуются на моем подоконнике — не иначе прилетит весточка». Когда спускалась вниз, на первый этаж, где в тесноватом сыром коридоре подъезда на стене плотным рядом прикреплены жестяные почтовые ящики, уже тогда догадывалась: что-то есть. Она прижала дорогой конверт к груди, задыхаясь, поднялась в квартиру. Не торопясь, чтобы не попортить конверта, вскрыла письмо, развернула четверо сложенный листок нелинованной бумаги. Перед глазами заплясали Алешины крупные круглые буквы, поставленные без наклона. Чтобы успокоиться, она прижала лист к губам, втянула в себя какой-то незнакомый, неопределимый — то ли краской пахло, то ли пластиком, то ли машинным маслом — запах. Только после принялась за чтение. Вначале пробежала письмо наспех, не присаживаясь к столу, — хотелось побыстрее узнать, не случилось ли чего. И затем, опустившись на стул, успокаивая дыхание, начала читать вразяжку, впиваясь в каждое слово, останавливаясь после каждой фразы. Алеша сообщал, что посылку получил, что теплые носки и перчатки, которые она сама связала, ему впору и очень пригодятся. А вот печенье прислала зря. Этого добра у них достаточно. И конфеты зря.

Не пацан же он, в самом деле, чтобы сосать леденцы на службе. «Ничего, ничего...— успокаивала себя.— Авось как-нибудь и полакомится. Не станет же выбрасывать». Про службу писал, что ему сильно пофартило. Плавает на такой «посудине» (Серафима Ильинична споткнулась на слове «посудина» — не описка ли? Оказалось, нет. «Посудиной» сын называет свое боевое судно — подводную лодку), на такой «посудине», что многие ребята из училища, если бы знали, где он служит, позабавились. Экипаж подобран неплохо. Вот только с командиром, видать, не повезло: сухой, холодный дядька, словно не живой, а гипсовый какой-то... Дальше несколько строчек вымараны дочерна. Может, что лишнее написал, может, передумал что. А вот Полотеев, пишет, прямая противоположность. Алеша подружился с ним. («Ну и слава богу! — подумалось матери.— На такой строгой службе без близкого человека никак нельзя: и поддержит когда, и утешит в случае чего, а то и заступится, если надо»). Понимающий человек. И мичман Макоцвет славный, он Алеше вроде отца. Заботливый, строгий. Алеша привязался к нему, бывает у него дома. Жена мичмана Маша печет вкусные пироги с капустой... В этом месте Серафима Ильинична прослезилась, вспомнив Алешину страсть к мучному. У Маши всяких варений, засолок, сухофруктов — полон чуланчик. «Свет не без добрых людей, подумалось, слава богу, есть где душой прислониться!» А вот куда плавают, часто ли в море, что делают, не пишет. Да и понятно: на военной службе не обо всем можно говорить. И муж-покойник (земля ему пухом!), бывало, придет с фронта треугольничек без марки, с обратным адресом — номер полевой почты, развернешь тот тетрадный листок, а в нем только привет да поклоны. Как ему там служит-воюется, что делает, молчит.

Вспомнилось ей, как познакомилась со своим Александром, в аккурат перед самой войной, во Дворце культуры фабрики «Большевичка». Она работала ткачихой, а он шабашником в артели своего отца. Сперва не признавался, где работает, отговаривал разные придумывал:

- На высоте, в люльке качаемся!
- Как на высоте? — допытывалась.
- Вроде верхолаза.

И, недолго раздумывая, повел Серафиму в свой дом на Большой Болотной. Только позже, когда стала законной женою, узнала, что ее супруг Александр Олександрович работает в артели маляром. И никто ей об этом не сказал, сама догадалась: приходит Саня домой весь краской заляпанный, олифой пахнущий.

— Вон ты какой верхолаз! — заметила.

Он стоял перед ней, покачиваясь с пяток на носки, усы поглаживал рыжеватые, хвастливо так улыбался:

— Кто же еще? Всегда на верхотуре — значит верхолаз!

В семью вошла легко. И свекровь стерпела ее с первых дней, и свекор зауважал, потому что старательной была, заботливой, работающей. Фабрику оставила. Хозяйкой заделалась в дому: свекровь старая, слабая, то и дело прихварывала — пришлось взять хозяйство в свои руки. И обстирай всех, и накорми, и прибери. А началась война — пошла в госпиталь санитаркой. Может, и выдружила в лихую годину потому, что в госпитале служила: как-никак приварок казенный, не то что свои сто двадцать пять граммов по карточкам. Алешеньку раньше времени отлучила от груди, настояла, чтобы с бабушкой его отправили к знакомым в село, где когда-то всей семьей дачу снимали. Там и перезимовал две

лютые блокадные зимы ее единственный, потому, видать, и в живых остался.

Свекор Александр Горчилов оказался на редкость крепким мужиком. И покойников помогал убирать на улицах и снег чистил. Весной разбил в крохотном палисаднике грядки, посадил картошку — не картошку, очистки картофельные с глазками. Считали зато пустой, мол, ничего не выйдет — нет, вышло. Взошла картошка, цвела хорошо, урожай дала. О старике даже в газетах писали. «Ленинградская правда» портрет поместила. Только не за картошку, картошка что. За золото, которое сдал в фонд обороны.

В самые трудные дни блокадной зимы, когда батареи отопления не работали, Александр Горчилов размуrowал печь-голландку, которая за ненадобностью стояла намертво закрытая. Выбил ломиком кирпичины, что в дверцах печи положены, почистил дымоход, наломал стульев... Но прежде чем сунуть в печь сухой лом, достал он из нее, из печи, чугунок, в котором когда-то похлебку варили. А в том чугушке — золотые червонцы доверху насыпаны. Вывернул он их на пол, скользкие, как зерна чечевицы, сел рядом с россыпью, пересчитал до единой монеты, собрал в кирзовую хозяйственную сумку, отнес поутру в райсовет. После хвалился:

— Вот, невестушка, пришел и мой час, вот и пригодились мои тысячи! Для Отечества, слышь, для Отечества, — патетически повышал голос, многозначительно поднимал палец вверх, — ничего не жалко, последнюю рубашку сыму, отдам, только бы врагосупостата одолеть. Русские люди завсегда так поступали. Слыхала про Минина? Да только ли он один!..

Их первую прогулку по городу Алла хорошо помнит. Шли переулками, пересекали улицы, трамвайные пути, побродили по Марсову полю, оказались на Дворцовой площади. Алеша несколько раз обошел вокруг Александровского столпа, на вершине которого бронзовый ангел обнимает крест. Пятясь, отступил от памятника, долго смотрел вверх на ангела; внимательно смерил глазами гранитную колонну, начал размышлять вслух, ни к кому не обращаясь:

— Говорим о египетских пирамидах, восхищаемся, удивляемся мастерам-строителям, славим древних, передаем о них легенды, видим в них героев, чуть ли не полубогов... А как вытесали этот исполнский, заметь, цельный, без единой трещины каменный столб, как его вырубали, кто вырубил, где их имена!

Алла ответила почти раздраженно:

— Задаешь школьные вопросы!

Алексей стоял на своем:

— Объяснения экскурсоводов я слышал. Но вот представить себе не могу: кайлом, молотом, зубилом, вагами, деревянными клиньями, паровыми пилами, на лошадях, на подводах... — Задирая голову так, что, казалось, рот сам собою раскрывался, прищуривая темные крупные глаза, продолжал недоумевать. — Представляешь, сколько бы сейчас пригнали техники: тягачи, платформы, бульдозеры, какие бы установили краны, сколько бы всяких подстварховочных стрел, автокранов, сколько бы проложили рельсов!.. А народу бы, народу!..

— А может, проще: вертолетом подняли и поставили на место, — не без иронии подсказала Алла.

— Молодец, рациональное предложение.

Она откликнулась уже в ином тоне:

— Что полусту заводисься? Зачем решаешь задачи, давно решенные?

— Хочу понять...

— Что тут понимать? Дело сделано. Надо думать о другом.

— Может быть, ты и права,— согласился нехотя, только бы не препираться с ней.

Ее пугала неопределенность. Сколько раз сама навязывала разговор, но Алеша уклонялся. А казалось бы, чего проще: он окончил училище, получил назначение, скоро уезжает. Она окончила учебу в институте, работает в НИИ младшим научным сотрудником. Может, пора бы решиться, пора высказать все до конца?.. Чего же еще ждать? Она любит Алексея, любит с того самого дня, с той коротенькой записочки... Любит и понимает его, вернее старается понять, но не всегда удается. Что-то в нем, кажется ей, запрятано такое, до чего вряд ли можно докопаться... Она знает о Вере, сам все ей открыл. Но разве Вера им может сейчас помешать — ведь столько лет прошло! А может, он однолюб?.. И почему такой суетливый, такой неугомонный? Зачем все торопит Аллу, тащит ее бог весть куда? Что он ищет? Возможно, надеется на нечаянную встречу с Верой?..

Она ревновала его к той, которую ни разу не видела. И в то же время он, такой постоянный в своих чувствах, становился ей с каждым днем дороже.

Втайне Алла верила в свое счастье. Но когда оно наступит — не знала. Иногда приходило к ней расслабление, безволие, и она чувствовала, что теряет его, Алексея, что он уходит, замыкается напроочь. Иногда, и это бывало чаще, она чувствовала, что сможет удержать его, переполнялась решимостью, надеждой.

Сейчас ей хотелось пройтись по Александровскому саду у Адмиралтейства, присесть на скамью возле памятника Пржевальскому, поговорить шепотом, заставить его открыться. Но он тащит ее вверх по Невскому, в модную толчею, в шумный водоворот. По всему видно: избегает уединения, боится его.

Они шли по левой солнечной, потому более многолюдной стороне проспекта. При входе на Аничков мост он остановил Аллу, молча взяв за руку. Наполненная добрым предчувствием, она повернулась к нему, но встретилась не со светящимися глазами, готовыми к признанию, а с отсутствующим взглядом. Тут же выдернула руку.

— Посмотри... — Он коснулся пальцами красного зернистого гранита — огромного куба-постаменты, на котором высилась бронзовая скульптура дикого буйного коня и юноши, этого коня укрощающего. На граните заметной выбоиной темнела широкая рваная рана — след разорвавшегося немецкого снаряда. Выше выбоины прикреплена тусклая металлическая пластина, на которой выпуклыми литерами говорилось, что это след войны, след блокадной зимы сорок первого — сорок второго годов, когда фашисты вели самый интенсивный обстрел города.

Алла догадывалась, о чем он думал. Потому притихла, стала в сторонку, дожидаясь, пока он окликнет ее. Она знала, что ему сейчас видится. Он уже несколько раз передавал ей рассказ своей матери, тети Серафимы.

Серафима Ильинична как-то поведала сыну о том, что случилось во время одного из артобстрелов. Снаряд упал на Литейном проспекте, неподалеку от Гостиного двора. Когда рассеялся дым, люди увидели на месте взрыва чудом выросшего матроса, который поднял с земли расслабленное тельце убитой осколком девочки. Из руки ее свисала большая хозяйственная сумка. Видно, выходила девочка покупать хлеб по карточкам, выходила сама, потому что взрослые, ослабев от голода, выйти уже не могли.

Алла силой увлекла его дальше. Держа крепко под руку, болтала без умолку, стараясь растормо-

шить, расшевелить его, заторможенного. Она сама не знала, куда стремится. Поглядывая по сторонам, заметила над широким парадным входом, к которому вели несколько ступенек, афишу кино. Потасила его наверх, купила билеты. Взяв крепко под локоть, направилась в зал. Но он высвободил руку, заявив, что смотреть картину ему неохота. От горькой обиды и бессилия у нее задержались губы. Со злостью порвала билеты на мелкие кусочки, швырнула ему под ноги. Чтобы он не заметил ее слез, повернулась мигом к выходу, постучала каблукками вниз по ступенькам.

Он догнал ее, взял за плечи. Войдя в ближнюю подворотню, они стояли долго молча. Она всхлипывала, то и дело прикладывая платочек к носу. Он тяжело вздыхал, повторял одно и то же:

— Прости.

6

Алексей Горчилов держал в руках электрофонарь с длинной блестящей ручкой. Осматривая трубопроводы, выходящие из реакторного котла, он заметил на одном из них у колена, возле фланца, рваную щель, из которой со свистом вырывался перегретый, сухой, невидимый пар. Нижний настил, заметил Алексей, был весь сырой. Значит, часть воды выбило, и она ушла в соседнее машинное отделение и вниз.

Попытался было наложить на пробойну пластырь, достав из инструментального ящика, который захватил с собой, цинковую пластину, стараясь обжать ее зажимом. Но напором выбивало из рук пластину и даже ключи. Несколько раз прилаживался накиннуть хомут, но безуспешно. Маска дыхательного аппарата теснила лицо, прорезиненный защитный костюм давил плечи, наподобие того, другого — водолазного, со свинцовыми грузилами на плечах, который как-то испытывал на себе Алексей еще в училище, во время практических занятий.

Он чувствовал, что вся одежда на нем взмокла от пота и костюм не защищает его, а только мешает. Пальцы левой руки начало саднить: видать, обзвирал их выбивающимся паром. Саднило нестерпимо. Да ко всему еще эта ненавистная маска. Сквозь запотевшие окуляры трудно что разобрать.

Он сначала сбросил с себя маску — испытал облегчение, словно из тесной горячей глубины вынырнул на продуваемую ветром поверхность. Затем дернул шнуровку капюшона. Завязанная бантом, она легко поддавалась рыжку. Сбил капюшон на плечи, рванул застежку «молнии» вниз — борта разъехались, освобождая его тело из резинового тяжелого плена. Снова попытался наложить пластину, но не смог: остро болела обваренная паром левая рука, пальцы начали вспухать.

Убедился, что одному не справиться. Придется выходить на волю пока ни с чем, доложить командиру лодки обстановку. А затем, видать, идти снова сюда, прихватив с собой мичмана Макоцвеца, взяв также Целовальникова и еще одного-двух человек из трюмных. Ему только что пришло в голову: может быть, врезать в трубопровод воронку и закачивать в нее все время воду? Возможно, это и есть тот последний реальный вариант?!

Алексей Горчилов подал сигнал к выходу. Когда ему открыли дверь и он шагнул из реактора, все от него отшатнулось в испуге. Никто не мог понять перемену: ведь они его провожали туда экипированным, а появился он раздетым.

Командир Мостов, нетерпеливо выслушав доклад, приказал отправить Горчилова в лазарет, к доктору



Ковачеву. Ковачев положил его на стерильно белый диванчик, заставил силой выпить спирту. Ватным тампоном обработал пальцы его левой руки, помазал их желтовато-прозрачной мазью, забинтовал руку едва не до локтя. Мостов, сидя возле дивана, задавал Горчилову вопросы:

- Думаешь, все-таки врезать воронку?
- Глока да.

— А потом?

— Надо решить...

— Позовите сюда командира БЧ-5.

Когда в выгородку лазарета вошел круглый, коренастый, невысокого роста капитан третьего ранга, командир сразу же налетел на него с вопросом:

— Что предложишь?

Капитан третьего ранга Шилов уже знал подроб-

ности, ему успел все передать Полотеев. У Шилова, видно по всему, созрел свой план, потому, не задумываясь, он ответил Мостову:

— Подключить реактор к общей системе циркуляции.

— Радиоактивность, понимаешь, радиоактивность повысится до невозможного.

— Иного предложить не могу. Не знаю.

— Кто же знает? Кто может ответить?..

Командир посмотрел на доктора Ковачева, будто тот был во всем виноват. И Ковачев спокойно ответил:

— Свяжитесь с базой, попросите академика, посоветуйтесь с ним. Должен что-то ответить.

— Голова, голова, честное слово — голова! — не то искренне, не то с иронией заметил командир лодки. — Давно бы связался, да ведь одно к одному... — Он схватился за подбородок, вторую руку втиснул в карман куртки. — Передатчик неустойчиво работает. Бьются, бьются радисты, но толку пока никакого.

— А иным способом земли не достать?.. — попытался войти в разговор Алексей Горчилов.

Мостов объяснял, словно в чем-то оправдываясь:

— Связались с лодками сопровождения. Они придут с часу на час. Одна из них доложила, что удалось вызвать оперативного дежурного по штабу, и оперативный ответил: академик выходит в район аварии на эсминце.

Что-то вдруг ослабло в Алексее, какая-то пьянящая теплота разлилась по телу. Отчего бы такое? То ли от выпитого спирта, то ли от добрых вестей, переданных командиром. Он подумал о том, что как-нибудь надо продержаться до прихода лодок сопровождения, а там и академик подойдет на быстросходном красавце корабле. Он уже мысленно видел, как эскадренный миноносец, покинув залив, дал лево руля, лег на курс. Только пенные буруны поднялись вокруг, вздымаемые бешеным ходом.

Белые, белые буруны...

Почему-то вдруг они превратились в белых лошадей, ошалело несущихся по простору: гривы белые, хвосты белые — стелются по ветру, свистят слышимо. На первой из них — академик. Он заметно поднимается над лошадиным корпусом, сидит прямо, не пригибаясь под ветром, высоко торчит его конусообразная, бритая, блестящая голова. «Вот он, вот он — в нем спасение!» — хотелось крикнуть Алеше, но на грудь что-то навалилось, он не мог вздохнуть, не мог набрать в легкие воздуха, чтобы произнести хоть слово.

Когда конь подскакал, остановился, упираясь в песок всеми четырьмя копытами, на коне оказался вовсе не академик, а отец Алешы. Он долго слезал с коня, совсем как в замедленном кино, тщательно и долго отряхивал защитное галифе и гимнастерку. Достав из-под ремня зеленую пилотку, поправив на ней звездочку, надел пилотку, приложив ладонь ребром ко лбу, проверил, чтобы звездочка и нос его находились на одной линии. Затем долго так, томительно долго искал сапожную щетку, чтобы начистить сапоги.

Алеша не мог понять, почему вместо академика прискакал отец. Он был уверен, что этот человек — его отец. Если сравнить прибывшего с той фотокартонкой, которая лежит в верхнем ящике маминного гардероба, то выходит — именно он. Только непонятно, почему отец?.. Ну, а если уж он прискакал на зов, не академик, то почему так медлит? Пришлось спасать сына, только сына?.. Но видит же, — каждому понятно и ему должно быть в том числе, — что если не спасет лодку, то не спасет и сына! От-

цу надо спуститься туда, в реактор. Лечь на трубопровод, закрыть своим телом прорыв, прекратить утечку, которая грозит погубить всех. Надо спасти собой корабль от взрыва. Почему он медлит?..

Разыскав наконец щетку, отец принялся надраивать сапоги. Драил долго — до зеркального блеска. Затем подошел к Алеше, поцеловал его холодно, по-неживому в лоб, поднял высоко на руках, посадил коню на самую холку, не в седло посадил, а впереди. Сам, вдев носок сапога в стремя, не торопясь поднялся, уселся в седло основательно, тронул поводья. Конь переступил с ноги на ногу, плавно понес их над каким-то простором: то ли над морем, то ли над степью, подсиненной туманом.

Хотелось крикнуть: куда ты меня везешь? Но как назвать его, как обратиться к нему, Алеша не знал. Ведь он ни разу в жизни не виделся с этим человеком, не разговаривал с ним, не обращался к нему. Может быть, назвать «папой»? Или «тетей»? — так называл дядя Володя своего родителя, Алешино дедушку Олександра. Или просто «отцом»?.. А то, может быть, по случаю такого долгого отсутствия именовать по имени-отчеству: Александром Александровичем? Не обидится ли? Вдруг осерчает — скинет с коня?

Алеша ухватился за гриву, припал к ней грудью, почуствовал, как ходят упругие мышцы под теплой кожей лошади...

Казалось, во всех отсеках запахло лазаретом.

Доктору Ковачеву, старшему лейтенанту медицинской службы, припомнился недавний смешной и одновременно печальный случай, виновником которого был он сам и пострадавшим был тоже сам. Конечно, не ко времени припомнился, не до веселья сейчас, не до забавы, и событие, понятно, несравнимое с нынешним, да что поделаешь — припомнилось. В жизни все переплетается, становится рядом и светлое и смутное.

Он как бы воочию увидел своих близких друзей-офицеров: старшего лейтенанта — командира торпедного отсека, и лейтенанта-связиста. Они сидели у него в лазарете: встретились в свободное время потолковать о том, о сем. Доктор возьми да и предложи в наигранно высоком штиле:

— А что, други мои, не побаниться ли нам в корабельной лазне, то бишь в душе?!

Други охотно откликнулись. Прихватив с собой чистые телняшки и темно-синие ситцевые трусы, положенные каждому матросу и офицеру по вещевому аттестату, двинулись в душ. Гомону было и смеху предостаточно. Свободно располагая временем, они не торопились. То охая под струями нагретой чуть не до кипения пресной воды, то охлаждаясь забортной, охлопывали сами себя и друг дружку, щедро намазыв мочалку, поочередно терли спины. Молочно-белая кожа начинала ярко светиться алым цветом.

Намылившись в очередной раз густо и старательно — даже лиц не разобрать в белой пене, — услышали рассыпчатые трели колокола громкого боя.

— Аварийная тревога!.. Аварийная тревога!.. — разнеслось по отсекам.

Служба требует: по сигналу тревоги быть на посту, который определен тебе боевым расписанием. Намылен ты или не намылен, одетый или растелезанный — до этого службе дела нет. В считанные секунды, а то и в доли секунды должен быть у аппарата или прибора, у торпеды или турбины. И какими причинами не пытайся объяснить свое опоздание или опоздание.

Их словно волной смыло с решеток душа, кинуло кого куда. Они падали, больно убиваясь о металли-

ческие листы вытертой до свечения палубы коридора или площадки перехода, скользили на ягодицах или животах, больно запинаясь о выступы, ограждения, поручни.

Доктору досталось больше других. Поскользнувшись, он неловко уперся намыленной рукой в переборку, не успев занести ногу над высоким комингсом, не успев пригнуться, чтобы попасть в переходной люк, стукнулся правой бровью о выступ люка, упал левым боком на комингс, почувствовал, будто что-то под ним хряснуло. В шоковой лихорадке он не понял причины, не ощутил боли. Все так же спотыкаясь, скользя и падая, достиг лазарета и, конечно, в чем мать родила, привел в боевую готовность свое «оружие»: открыл шкафчики и тумбочки, достал инструменты, лекарства, бинты, вату, включил электроипатилиник. Справившись с делами, обессиленно присел на кушетку и только тогда услышал саднящую боль в боку: сломал ребро.

После отбоя тревоги к нему зашли его друзья по душе. Прикладывая к ушибам компрессы, обрабатывая ссадины зеленкой, они неестественно громко хохотали, рассказывая о своих злключениях. Доктор уже успел сделать сам себе обезболивающий укол, полулежа на кушетке, слезно просил их утешиться, держась за бок с наложенным в месте перелома марлевым компрессом, прихваченным к телу лейкопластырем, он дышал тяжело, кривился от боли.

Позже, подтрунивая над ними, командир лодки Мостов повторял:

— Ну, мушкетеры! Ну, смехачи!.. В следующий раз когда будете идти в душ, берите и меня: я вам шею намылю!..

...Он пригнулся все ниже и ниже, всем телом прижимая к холке белого, стремительно несущегося коня, цепко держась за густую жесткую гриву.

Мостов, не убирая своей руки, в которую вцепился Алексей Горчилов, легонько пошевеливал ею, толкая спящего в грудь.

— Инженер... Инженер!..

Словно и не было никакого наваждения, Горчилов вскочил с кушетки. Боли он не чувствовал, не раздумывал, не сомневался в том, что ему сейчас предстоит делать. Только пожалел, что так много (ему показалось — страсть как много!) упущено времени. Сожалел он и о том, что еще двое — мичман Макоцвет и старший матрос Макар Целовальников, долговязый, нескладный юноша с маленькой детской головой, — должны идти в пекло реактора, в обманчиво холодный, невидимый огонь.

На Макоцвета и Целовальникова матросы натянули защитные костюмы. Горчилов одеваться отказался, заявив, что его спецовка (так он назвал защитный костюм) там, в реакторе, и что, если потребуется, ему помогут ее надеть двое, которые идут с ним. Но облачаться в костюм он вовсе не собирався. Знал также и то, что ни Макоцвет, ни Целовальников долго в них не пробудут: не выдержат ни жары, ни тесноты.

Так оно и вышло. Вырезая пилкой на трубопроводе место для воронки, Макар Целовальников сорвал сперва маску, после освободился и от костюма. Мичман сделал это еще раньше, еще в самом начале работы, когда у него вышла размолвка с инженер-лейтенантом, его прямым командиром, Алексеем Горчиловым. Они заспорили, в каком месте врезать воронку. Мичман стоял на том, чтобы пилить в той части трубы, которая расположена до насоса. Подливаемая вода не будет сразу же выбиваться паром, а, гонимая насосом, пойдет постепенно в

реакторный котел. Инженер-лейтенант Горчилов считал, что воронку надо врезать повыше, откуда бы вода, которую придется все время подливать, уходила бы в котел самотеком. Он опасался, что насос от перегрева может выйти из строя и все надо будет начинать сначала.

Когда мичман, утирая запотевшее чумазое лицо ветошью, повысил голос, инженер-лейтенант зачем-то при полном освещении включил ручной фонарь, направил его в лицо мичмана, посмотрел ему в глаза, отвел фонарь в сторону. Макоцвету стало не по себе. Он не узнавал прежнего Алешу Горчилова — мягкого, покладистого юношу с глазами, затуманенными грустью. Перед ним стоял немало повидавший, немало поживший, даже постаревший человек, глаза его были чуть прищурены не то в злости, не то в решимости. В них не было прежнего раздумья, прежней загадки, которая и радовала и печалила когда-то Ивана Трофимовича Макоцвета. Перед ним светились глаза человека, знающего свое дело и твердого, — не прежнего просящего Алешу, а отдающего распоряжения командира, не терпящего пререканий.

Посмотрел Горчилов тяжело, но заключил словами отходчивыми, точно в чем извинялся:

— Не время препираться, Иван Трофимович.

То, что он назвал Макоцвета так необычно, в конце концов сломало последнего. Не держа обиды, подавляя самолюбие, перейдя на «вы», подчинился.

— Возможно, вы и правы, товарищ инженер-лейтенант. Оно, пожалуй, так лучше будет, понадежней.

Мичман Макоцвет подошел к Макару Целовальникову.

— Долго возишься. За такой час уже можно рельсу перерезать! — Взял у него пилу, приналег на нее обеими руками.

Пресную воду подавали в реактор пожарным шлангом.

Старший матрос Николай Черных — ребята-дружки между собой почему-то зовут его «сибиряком», хотя он родился не в Сибири, а в слободе под Семипалатинском (скорее всего зовут так потому, что фамилия у него сибирская), — раскатал шланг, шумнул матросам, стоявшим в противоположном конце, чтобы подсоединили шланг к магистрали. Открывая дверь реактора — толстую, массивную, чем-то напоминающую дверь большого сейфа, — Черных боязливо сощурился, втягивая голову в плечи, передал шланг подошедшему к самой двери изнутри Макару Целовальникову. Макар с усилием дотянул его до нужного места и вручил инженер-лейтенанту. Горчилов взял брандспойт правой здоровой рукой, левую, обваренную и толсто забинтованную, инстинктивно отвел за спину.

...Он недоумевал: почему не испытывает страха? Ведь, бывало, совсем недавно при одной мысли о возможности быть облученным сводило холодом скулы. А теперь, когда открыто вошел в реактор, попал в зону интенсивного облучения, чувство боязни пропало. Почему? Может быть, от неожиданности, от шока? Может быть, отвлеченные прикидки, когда нет настоящего дела, когда человек несобран, ни на что не нацелен, размагничивают его, дают простор ненужной рефлексии, возбуждают понапрасну?.. Когда не занят делом, все силы воображения уходят на то, чтобы вызвать чувство опасения и страха, на то, чтобы заставить живой организм поостеречься. Но вот когда приходит угроза не вымышленная, а настоящая, когда ум твой и силы нацелены на то, чтобы уйти от опасности самому и увести других, когда понимаешь, что ты один в отве-

те за всех, когда на тебя смотрят с надеждой, ждут твоих решений, когда сам командир корабля советуется с тобою, на тебя надеется и ты занят тем, чтобы не подвести его, не показаться в его глазах и в глазах остальных слабым и безвольным,— тогда страх отступает, вернее тогда не до страха, о нем просто не думаешь. Порой окатит с ног до головы чем-то холодным — и вновь отхлынет. Единственная забота: так ли все делается, то ли делается? Но тут нужна вера. Необходимо остановиться на каком-то одном-единственном выходе, отстаивать его и перед собой и перед другими. Главное и самое трудное — перед собою. Если бы не настоял, если бы поддался мичману — значило бы, что не веришь себе, не чувствуешь своей силы. И так во всем, и в крупном и в мелочах, надо стоять на своем, не колеблясь, подавляя слабость и неуверенность. Страх в такие минуты — дело постороннее, неуместное.

Но удастся ли хоть немного «остудить» котел, хотя бы несколько сбить температуру? Так ли мы поступаем?.. Ни в каких учебниках, ни в каких инструкциях, ни в каких устных наставлениях чего-либо подобного не сказано, похожего не подразумевается. Такое случилось впервые. Оно, возможно, не повторится нигде и никогда. Но опыт останется. Пускай горький, но необходимый. Хорошо, что лодка экспериментальная, и они всего лишь в испытательном походе. Алексея Горчилова заботила еще и такая мысль: одобрит ли его действия академик, или скажет: «Что же вы натворили! Ведь вот он, выход из положения,— близкий, простой, очевидный. Как же вы его не заметили? Зачем пошли на такой риск?». На минуту пришло сомнение: неужели ошиблись?.. Но надо ли так думать и тем более с кем-то делиться сомнениями?..

Свободных от вахты и службы, не занятых на работе в реакторном отсеке и в машине вывели наверх. По отвесному трапу люди торопливо выбрались на волю. Командовавший на верхней палубе старший помощник командира подводной лодки, капитан третьего ранга Мукашин разбил экипаж на две группы. Люди с первой половины отсеков разместились в носовой части палубы, остальные отведены на корму. Притихшие, в синих робах, черных бушлатах, черных суконных пилотках, в тяжелых рабочих сапогах, они, оторванные от дела, казались оглушенными и растерянными. Обычно выход на палубу в океане бывал радостным событием. Каждый торопился глотнуть чистого ветерку, увидеть простор моря, сливающийся с небом, посмотреть уставшими от искусственного освещения глазами в синюю высоту или на низко бегущие облака. В такие минуты мир казался прекрасным — теплым, ласковым. Верилось в то, что материка совсем рядом: вот они — рукой подать. И гавани близко, они в случае необходимости могут принять корабль, защитить от урагана, укрыть от любой беды.

Сегодня все они были так далеки, что даже не верилось в их существование.

Разрешено курить. И хотя обычно и спички и сигареты каждый оставляет в своем шкафчике в душевой, что стоит у контрольно-пропускного пункта при входе на пирс, откуда-то появились и сигареты и спички. Торопливые малые дымки поплыли, низко стелясь над спокойным, почти штилевым морем.

Послав смену в реактор, командир лодки Мостов приказал Горчилову подняться на верхнюю палубу. Когда Алексей выходил по вертикальному трапу, он ощутил тугие сдвоенные удары сердца, заметил аритмию: сердце то бешено частило, ослабляя удары, то замедляло ход, стуча гулко, так что даже в ушах отдавалось. Почувствовал недомогание, выходил медленно, с передышками.

Следом за ним поднялся и командир Мостов. Он обеспокоенно поглядывал на инженера, прищуривал глаза, проводил рукой по своему скуластому, азиатского типа лицу, словно умываясь. Заметил, что Горчилов по-пьяному пошатывается, только не был уверен отчего: то ли от выпитого спирта, то ли ослаб от работы в реакторе. Добро бы от первого. Ну, а если успел получить недопустимое количество рентгена?.. Видимо, так и есть. Его юное смугловатое, обычно бледное лицо сейчас светилось горячим недобрым румянцем.

Мостов, приблизившись к Горчилову, взял его под руку, попробовал улыбнуться:

— Качки не выносите, инженер? А у меня наоборот: когда штормит и качает, только аппетит разгорается.

Но море не штормило и не качало.

Алексей посмотрел в глаза Мостова безудливым взглядом, толстые его губы расплылись в нарочитой понимающей улыбке, признался:

— Видать, укачало. Полежать охота.

Мостов кликнул матросов, приказал принести раскладные носилки на ножках. Когда носилки были подняты наверх, он сам раскинул их, поставил вблизи ограждения боевой рубки, помог Горчилову лечь.

Алексей закрыл глаза. Показалось, весь мир начал медленно вращаться вокруг него, вокруг носилок, вокруг подводной лодки. Все летало. А лодка, пребывая в неподвижности, служила центром всемирного тяготения. Верилось, все планеты, все звезды, все галактики зависят от нее, прикованы к ней силой притяжения. И еще верилось, что мир сжался, сузился так, что до любой звезды можно дотянуться рукой.

Но стоило ему открыть глаза, как движение враз прекращалось, все застывало на своих привычных местах. У борта лениво похлопывала вода. Невысокие бурунцы, наносимые с запада, ударяли в металл обшивки бережно, словно ласкаясь.

Вот-вот должны подойти дизельные подводные лодки. Но где они?..

Снизу доложили, что система циркуляции готова к подключению. Алексей помнит: ее предложил Шилов, капитан третьего ранга, сам он и занимался наладкой. Но подвести ее к реактору, подключить должен, конечно, только Горчилов, командир реакторного отсека,— и никто больше, убеждал себя Алексей.

Тело протестовало, не подчинялось воле, от слабости и усталости не слушалось никаких приказаний. Но он все же решил подняться, упершись руками в борта носилок, попытался спустить ноги на палубу. Мостов грубым окриком — Алексею показалось, что грубым,— прервал его попытку:

— Лежать, инженер! Шилов и Полотеев без тебя справятся.

Горчилов умоляюще протянул:

— Нельзя, командир. Без меня нельзя. Вся работа может пойти насмарку. Зря только готовили. Там еще кое-что надо переключить, подогнать. Я все излазил, все опробовал, все запомнил на ощупь, а они будут тыкаться, считать, вслепую. Нельзя!..

— Как пойдешь?

— Прикажете отвести меня. Только пустите в реактор, чтобы я видел: где, что, куда. Проконтролирую, подскажу. Этого будет достаточно.

Мостов стоял на своем. Но когда началось подключение и из реактора то и дело кто-либо поднимался на верхнюю палубу, склонялся над инженер-лейтенантом Горчиловым, выпрашивая у него детали дела, и когда, наконец, Алексей Горчилов, поднявшись на носилках, заявил твердым почужевшим голосом: «Командир!..» — Мостов сдался.

Проводив Горчилова до входа в реактор, командир Мостов вернулся в свою каюту. Сел на койку, долгое время потирал скуластое лицо ладонями, будто умываясь. Затем лег, заложив руки за голову, но лежать не мог. Тут же вскочил, зашагал в тесноте каюты туда и обратно. Его мучили вопросы: то ли он делает? Так ли поступает? Прав ли он, разрешив людям идти на явное облучение?.. А если бы не разрешил, если бы не позволил делать то, что они делают, как бы повел себя реактор: успокоился бы или взорвался от перегрева, похоронив и корабль и экипаж?..

Почему-то в памяти всплыла война, которую он не знал, вернее, которую видел мальчишкой, но сам в ней не участвовал, всплыла операция у острова Эзель, о которой издавна много слышан, трагедия эскадренного миноносца «С». Она и раньше не давала ему покоя, часто доводила до того, что начинал ощущать все физически, казалось, сам участвует в том неравном бою, сам отбивается от наседающих врагов.

Эскадренный миноносец был в дозоре. Уже пали и Либава и Рига, бои полихали на эстонской земле. Но на островах Моонзундского архипелага гарнизоны еще держались. Ухали дальноточные орудия. В южную Балтику выходили на перехват немецких кораблей наши торпедные катера. Чуть ли не у самых берегов Германии таились в глубинах наши подводные лодки, выслеживая добычу.

Сигнальщики передали на командный мостик, что замечен караван транспортов. Через некоторое время доложили: суда сопровождают миноносцем типа «Ягуар», двумя сторожевыми и двумя катерами «малые охотники».

Силы были неравными. Но командир решил атаковать. На самом полном двинулся навстречу противнику. Орудиями ударил по миноносцу, выпустил две торпеды по транспортному судну. Атака оказалась успешной. Переломившись надвое, транспорт ушел под воду. Замечены попадания снарядов и в миноносец. Но подразненный «Ягуар» усиленно отвечал огнем своих орудий. Он разбил эсминцу руль, покорезжил, вывел из строя гребной винт. Эсминец «С», развернув все орудия и торпедные аппараты в сторону «Ягуара», потопил его. Остальные транспорты и корабли охраны повернули обратно. Но ни преследовать их, ни самому уйти под прикрытие береговых батарей острова эсминцу не мог. Ждать помощи было неоткуда. Его относил ветром в сторону занятого немцами материка. Того и гляди подойдут военные корабли противника, оповещенные убежавшим конвоем, возьмут эсминца на буксир, пленят экипаж. Лишенный хода и маневра, он станет явной добычей. Его отбуксируют то ли в Штеттин, то ли в Свинемюнде, а возможно, в близкую Либаву, поставят в док, заменят винт и перо руля. Нашим же оружием ударят по нам.

Один за другим появлялись «юнкерсы». Они не заходили в пике, не сбрасывали бомб. Видимо, высланные в разведку, определяли точное местонахождение русского корабля, пытались понять его состояние и положение.

Командир приказал спустить шлюпки, обеспечить экипаж всеми возможными спасательными средствами. Команде покинуть палубу. Корабль затопить.

Он помнил ленинское решение о потоплении эскадры Черноморского флота. Но тем, кто топил корабли тогда, в гражданскую войну, во время немецкой оккупации юга страны, было легче: им телеграф отстукал приказ. Командиру же эсминца «С» никто подобного приказа не давал, ему пришлось решать самому и взваливать на плечи всю тяжесть и необычность такого решения.

Мостов понимал, что поступил бы так же. Иного выхода не было. Но понимал и другое, что за потопленный корабль придется держать ответ.

Опыт прошлого не должен забываться.

Да, не должен. Но чему его, Мостова, командира подводного атомохода, научит поступок того далекого по времени, по месту действия командира эскадренного миноносца? Там тогда было все не то и не так. Единственное, что роднит и там и здесь,— надо решать самому, решать самому!..

Не это ли есть то главное, чему должен учиться каждый командир?..

7

Анатолий Федорович Мостов не мог простить себе жестокости, которую допустил в отношении дочери. В тот день ему казалось, что все у него не ладится, все идет наперекосяк...

Они уже миновали Тулу, успели свернуть с Симферопольского шоссе на воронежскую трассу. «Москвич» бежал резво. Мелькали столбики с указателями и дорожными знаками. Мелькали столбы с телеграфными и телефонными проводами. Часто трассу пересекали линии высоковольтных передач, творя в радиоприемнике такой скрежет, что даже в зубах отдавалось. Изредка проплывали то слева, то справа темно-вишневые башни с локаторами и ретрансляторами, в долинах виднелись белые строения животноводческих ферм или птицефабрик. Села, городишки, бензоколонки, кафе, продовольственные и промтоварные палатки, дорожные рестораны с причудливо украшенными фронтонами. А всего больше — встречных машин. Проносились, обдавая тебя то теплыми дыханиями, то копытою, то просто ударяя тугим потоком воздуха. Проносились с воем, с сухим шипением — и ни конца им, ни края: закрытые фургоны, груженные мешками или ящиками трехтонки с высокими кузовами, МАЗы с прицепами, гамосвалы разных марок: то КраЗы, то БелАЗы...

Но пестрое разнообразие машин не развлекало в тот раз Анатолия Федоровича, напротив, утомляло. То ему чудилось, что слишком громко играют лопасти клапаны в моторе его «Москвича», и тогда он укорял себя мысленно за то, что не попросил базового механика перед отъездом их отрегулировать, дать нужные зазоры. То ему казалось, что позванивает в заднем мосту, и он опасался, что может случиться поломка. А то слышалось, будто стучат подшипники в двигателе, будто двигатель перегрелся, а датчик температуры вышел из строя, потому показывает все время одно и то же, плюс восемьдесят по Цельсию — идеальную температуру.

Доведя себя до расстройства, Анатолий Федорович притормаживал машину, сворачивал на обочину, открывал капот, проверял все, что можно проверить, на слух, на глаз, на ощупь, снимал пробку радиатора и, удостоверившись, что все в норме, снова садился за руль. Но, не успев прокатиться какой-нибудь десяток километров, опять начинал сомневаться, ему по-прежнему чудились всяческие неполадки.

И ко всему еще Валька — не в меру балованная девчонка, которой мать разрешает все, что та только пожелает. Устроила себе на заднем сиденье и постель, и салон мод, и комнату бальных танцев. Примеряет наряды матери, которые развешаны на плечиках у правого окна над дверкой машины, надевает отцовскую фуражку с золотой кокардой, примеряет его китель и парадную тужурку со все-

ми регалиями: китель и тужурка висят тоже на плечиках, только по левому борту. Стекла машины опущены — духота ведь, лето в разгаре. По салону играет дикий сквонзьяк.

Анатолий Федорович уже не раз предупреждал дочку:

— Угмонись! Уронишь что-либо за окно машины, а то и сама вылетишь.

Но угомону на нее не было. Крутилась-вертелась, выглядывала из машины. И вот потоком воздуха сорвало с ее головы парадную отцовскую фуражку с «крабом», кинуло далеко в сторону. Фуражка взвилась темной галкой вверх, помельтешив в воздухе, упала на крутую насыпь, покатила вниз в заболоченное место, поросшее пышной осокой.

Анатолий Федорович не выдержал. Ударил разом по тормозам, так что дочь полетела вперед, обняв с ходу мать Франческу Даниловну за голову, оставил машину, выскочил из нее, открыв заднюю дверцу, строго прикрикнул:

— Доигралась, негодница! Загубила отцову голову! — Зачастую дома он так и говорил, ища фуражку: где «отцова голова»? Но если раньше фраза звучала шутливо, то теперь ее смысл был самый явный. И слово «негодница» — порой ласковое, порой шутливое — приобрело свое настоящее значение.

Франческа Даниловна вступилась за дочь.

— Толик, приди в себя!..

Анатолий Федорович отмахнулся. На его скулатом азиатском лице выступил густой румянец, глаза по-недоброму прижмурились.

— Отправляйся сейчас же, я кому сказал!

— Иду, иду. Раскричался!..

Валя переступила порожек машины. Когда она выходила, передразнивая отца, отец сорвался: никогда не поднимавший на нее руки, он дал ей подзатыльник, отвесил такую затрещину, что Валя буквально скатилась вниз с насыпи.

Но доставать фуражку пришлось самому: дочка боялась лезть в болотистую тину, густо заросшую мечевидной высокой кугой.

Он по-мужички побил фуражку об колено, стряхнув с нее комочки земли, сухие вылочки травы, зачем-то надел ее, лег на пригорке лицом вниз, поставил подбородок на кулаки, закрыл глаза.

— Толь, ну что же ты? Мы тебя ждем! — несколько раз повторила жена Франя.

Он не откликнулся.

Позже сваливал вину за свое раздражение и неоправданную жестокость на утомительно-длинную дорогу: от самого Мурмана за баранкой, — с короткими перерывами на ночь, с жесткими постелями кемпингов. Но простить себе то, что поднял руку на ребенка, не мог.

Родная сторона исцеляет и успокаивает. Стоило ему свернуть с трассы в глубину своего района, стоило увидеть призывно белеющие откосы меловых кражей, напоминающие не успевший растаять за лето плотный снег на сопках, как это бывает на Севере, — хворь его словно рукой сняло. Он то и дело поворачивался к Фране, Франческе Даниловне, сидящей рядом, приглашал ее поглядеть вон на те левады. То и дело окликал дочь:

— Валек, посмотри, какие рослые березы. Это тебе не карлики, которые видела в тундре.

Франческа Даниловна беспокоилась:

— Следи за рулем, что ты вертишься. Чего доброго, пустишь нас под откос.

Он не успокаивался.

— Вот из этого бочажка вытекает наша речка Су-

хая. Смешно, правда: вода — и сухая? Смешного ничего нет. Летом, в самую спеку речушка пересыхает в некоторых местах окончательно. Потому и Сухая. Валек, ты слышишь?

Дочка молчала: пока не прощала отца.

Когда спустились с высоты мелового кряжа на позитивную улицу села, на его улице, он разом умолк. Держа левой рукой руль, правой потирал горло, разминал вдруг охолодевший кадык.

Словно напуганная его повлажневшими и от этого заблестевшими глазами, боясь его радостной печали, оберегая дочь от преждевременных волнений, зная, что она при каждом таком случае, видя боль отца, может разрыдаться надолго, и тогда никакими бабушкиными уговорами и угощениями ее не утешить, Франческа Даниловна вмиг подобрела:

— Говори, Толь, говори!.. Правда, доча, пусть рассказывает? — Искусственно возбуждаясь, повышала голос чуткая жена и мать, для которой мир и согласие в семье, для которой спокойное равновесие каждого члена семьи было всего дороже. — Интересно то как, господи, будто мы не были здесь вечность! А как все буйно разрослось! А как все вокруг похорошело! Натурально — рай земной!..

Она поглядывала заинтересованно и настороженно то на мужа, то на дочку. Но они молчали — и отец и дочь. Что-то непонятное Франческе Даниловне их объединило. Как она ни старалась их растормошить, вкатили во двор молча.

Полнившиеся слезами глаза Анатолия Федоровича наконец-то уронили слезы. Он поначалу сдерживался, но когда увидел, как мать, стоя на крыльце, всплеснула руками, выдавая этим всю свою тоску, скопившуюся за долгие годы одиночества, как, не помня себя, она кинулась к машине, Анатолий Федорович всхрипнул надрывно, заслонился рукой, словно от удара, лег на руль...

Воскресный базар разлился по майдану буйно, широко, словно ярмарка. На дощатых нестроганных полках вразвал лежали яблоки ранних сортов, груши-скороспелки, пахнущие медом абрикосы, дымчатые сливы, темные вишни. Рядом с фруктами желтели тушки обработанных, выпотрошенных кур, лиловатых индеек, розовых кроликов, на концах лапок которых оставлены пуховые чулочки. Свиные опаленные головы незряче уставились на мир ороговелыми глазами. Хвосты, уши, куски толстого спинного и тонкого подбрюшного сала. Телячьи ножки, бычьи ребра, коровьи языки. А чуток подальше — горки гусиных яиц, кажущихся неправдоподобно крупными, вроде вытесанными вручную из кусков мела, живая птица в мешках и клетках, а то и просто так, на земле, со связанными ногами.

За рядами полок идут ряды поставленных на землю корзин со всякой всячиной: тут и мотки шерсти, и кукурузные початки, сумки с фасолью и рюмочки с красным молотым перцем. А еще дальше — кувыкающие в мешках поросята, телеги с головками белой, похожей на брынзу, глины, которая идет на побелку и комнат и наружных стен домов, возы с горшками, которые, верится, до сих пор источают жар обжиговых печей, свистульки, сладкие петушки, кадка со льдом, в которую поставлены длинные высокие бачки с мороженым. И уже совсем далеко, на том краю базара, рядами расположились сельповские машины-будки, в которых развешаны для продажи всякие товары: женские вязаные кофты, мужские ситцевые рубахи, валенки, сапоги и даже зимние ватные стеганые штаны для тех, кто по холоду работает в поле или отправляется в извоз.

От такого обилия глаза разбегаются, даже забываешь, зачем приехал.

Анатолий Федорович ходил по базару, одетый по-цивильному: брюки из плащевого материала серого цвета, белая трикотажная короткорукавная рубашка навыпуск, на ногах легкие кожаные сандаlette. Фуражку он не надел: флотская форменная фуражка к такому костюму не подходит, другой какой-либо он не держит, зачем она, если густой чуб Анатолия Федоровича лучше всякой фуражки может заштитить его и от холода и от зноя.

Чуб у него какого-то не пойми-разбери цвета. Когда был маленьким, часто приставал к матери с вопросом:

— Ма, какой я — черный или русый?

— На глине замешенный, — улыбчиво отвечала мать.

— Как на глине?

— Пегий.

Позже убедился, приглядываясь к себе в зеркало: действительно пегий.

Анатолий Федорович любовался буйством красок, текучим многолюдьем, разногласным базарным гоном. Бродил бездумно, вдыхал родные, знакомые с детства запахи. Изредка, когда мать окликала его, подходил к ней, брал из ее рук купленный товар, отнес в машину и снова возвращался.

Провожая его взглядом, мать хвалилась женщинам, которые по такому случаю густо обступали ее, ловили каждое слово:

— Подарков привез — не дай бог, сколько!

Тетки завидовали:

— Надо же!..

— И одеться, и обуться, и приукраситься есть чем!.. — продолжала не без гордости.

— Счастливая!..

— Правда ваша, счастливая, не таюсь. Только замечая ему: сынок, зачем так много всего, что же я его в гроб с собой возьму?..

— Тю на тебя! — отмахивались женщины. — Что ты плетешь?

— Гля, какая старуха выискалась!

— Да тебя еще под венец можно ставить!..

Довольная Мостова отрицала похвалы:

— Наговорили, ей бо! Вашими бы устами...

А когда собрались ехать домой, когда уже все уложили, как следует: что в багажник, что на дно салона зади, что спереди, себе под ноги, чтобы не разбить или не рассыпать чего, — к машине подошел высокий сутуловатый старик — дядя Прокоп.

— Здорово, племянничек! Каким ветром?

— Северным, дядь, заполярным.

— Твоя жокара? — показал глазами на машину.

— Семейная.

— Молодец!.. Подвезешь дядю родного? — Шумно выдохнул, вильнул его усы, седые, с желтоватым подпалом, зашевелились.

Анатолий Федорович поспешно обошел машину, открыв правую заднюю дверцу, показал на сиденье:

— Приглашаю!

— Уважил, уважил. Сразу видно: путный человек!

У дяди Прокопа в руках был почтовый посыльный ящик, весь в острых, незагнутых гвоздях, и мешок с бидоном для постного масла. Он сперва кинул небрежно на заднее сиденье фанерный ящик, затем поставил бидон в мешке, сам задержался, мастеря закрутку с самосадам.

Мать смотрела на все вольности родича и закипала от негодования. Ей уже мерещилось, что ящик своими длинно торчащими гвоздями пропорол нарядные чехлы на сиденье, из бидона пролилось масло, разойдётся темным широким пятном по цветастому полотну.

— Прокоп, — окликнула.

— Слушаю тебя, — дымя сигаркой, отозвался дядя. — Ты бы поаккуратнее: не на бричку садишься.

Мог бы свою амуницию и на пол поставить.

— А что такое? — удивился Прокоп.

— Чехлы извозишь!

— Черт с ними, новые справим! — как о своих, сказал Прокоп. — Так я говорю, племянничек?

— Садитесь.

Прокоп ввалился в машину боком, отодвинув пустой, глухо загудевший бидон.

— Паняй! — скомандовал, дыхнув дымом в затылок заскучавшей невестке.

Уже и не вспомнить ей, когда еще было такое радостное застолье. Да все мирком, да все ладком. И внучка ласковая, и невестка услужливая. И парить, и жарить помогали, столы накрывали, гостей встречали-привечали. Даже просили ее:

— Вы, бабушка, посидите, отдохните, без вас упрямимся.

Но как же тут усидеть, коли ноги сами несут то туда, то сюда: то в погреб, то в кладовку, то в сарай, то в клетушку. И одно надо, и другое необходимо, и третье требуется. Оно, конечно, не грех бы все переложить на плечи невестки, а самой посидеть на диване рядом с сыночком, погладить бы его взявшуюся ранней сединой голову, положить ему на грудь ладонь. Может, и отошла бы душой, отогрелась. А то ведь годами одна-одинешенька, поговорить не с кем, разве что с котом и собакой. Люди — каждый в своих делах и печалях, кому пожалуешься, если у них своей жали достаточно. Чаще всего так и ходишь одна, перемагаешься, в себе самой все глушишь. Потому, видать, там, внутри, все черным стало, будто сажа осела на стенках. А теперь, когда и так хорошо и так светло от приезда дорогих гостей, — теперь и народу понашло, даже не знаешь, куда и как посадить.

Один стол взяли у соседей, да своих два составили. Стулья, табуретки, скамьи собрали. У стены положили на две опоры вершковую доску — царское сиденье. Там женщин разместили: они не курят, им не вставать, не выходить во двор с сигарками. Добыли необходимое количество и ложек, и вилок, и стаканов. Получилась ладная застольица.

— Ну, слава богу, — сказала сама себе хозяйка, — все, как у людей. — И посмотрела выразительно на сына: мол, ты здесь хозяин, ты самый большой человек — гордость села, тебе и первое слово.

Анатолий Федорович принял материнское благословение, встал, широким жестом пригласил начинать праздник.

— Бабыньки, красавицы наши ненаглядные, угощайтесь, как говорится, чем богаты, тем и рады. И вы, мужики, не отставайте: что на столе — все ваше.

Женщины заулыбались, застеснялись, обмахиваясь платочками или давая их в кулачках, загалдели обрадованно:

— И-и-и... Натоль Федорович, вы скажете так скажете!

Мужчины степенно захлебались, вставляя свое многозначительное:

— Как же!.. Человек кое-где побывал, кое-чего повидал, научился обхождению.

Хозяин добавил уже сидя:

— Спасибо вам, что пришли! Спасибо, что не забываете мою матушку, не оставляете ее в беде...

Послышалось отовсюду:

— Как можно!..

— Да никогда в жизни!..

Анатолий Федорович продолжил:

— Низкий поклон землякам-односельчанам. Будьте здоровы!

— И вам на здоровье!
Через некоторое время Анатолий Федорович спросил дядю Прокопа, сидевшего третьим слева, после матери и дочери Вали:

— Скажете слово?
— А як же! — Дядя Прокоп долгое время жил в Донбассе, работал на шахте, многое перенял из местной донецкой русско-украинской речи, точнее выразиться, из южнороссийского говора. — Беспременно скажу... Ось гляди сюда, племянш. Нехай у тебя усе будет, нехай тебе счастит! — Дядя сделал паузу и, глубоко вздохнув, заключил на высокой ноте: — А осянное — черт его не возьмет!

Все загудели одобрительно.
— Шахтер — мастер речи толкать!
— Краснобай!

Вначале затеяли разговор о сельских новостях, хотя каждому не терпелось спросить у Анатолия Мостова о делах более высокого порядка: о службе, о флоте, обо всем, что творится в большом мире. Оно, конечно, в домах есть радио, в клуб кино привозят, не на глухом острове живут люди, но все же... Охота о живом услышать от живого.

Выискалась самая нетерпеливая, подала голос: — Натоль Федорович, а не боязно под воду опускаться: глухо, темно? Там и заблудиться недолго. Кто-то пошутил:

— Им фонарями «летучая мышь» дорогу высвечивают.

— Нет, я толком интересуюсь!
— Дельфины им дорогу показывают. Они даже людей спасают.

— Ее бы не спасли!

— Почему?

— Сильно чижалая!

Взорвался хохот. Молодайка махнула рукой, мол, шут с вами, не дали спросить и не надо.

Но Мостов за шутками не потерял вопроса:

— Все по приборам, соседушка, по локаторам. Они наши глаза и уши.

— А скажите, долго можно просидеть под водой? — подали голос с мужского края.

— Практически очень долго...

— К примеру, месяц-два?

— Можно и дольше.

Мужчины вдруг шумнули:

— Во, слышал!

— А я что говорил!

Было понятно, что вопрос уже дискутировался среди сельских знакомых.

— Ну, а если, скажем, противник тебя обнаружил, что он станет делать? Какой у него будет маневр?

— Бомбить глубинными бомбами.

— А ты?

— Смотря по обстановке. Можно уйти на глубину, выключить турбины, затаиться...

— А можно и другое?..

— Подвсплыть, поймать его в перископ, развернуться по цели, атаковать торпедами.

— Торпедами?.. Серьезное дело!.. Помню, нас перебрасывали с кавказского берега на крымский. Так она, стерва, исподтишка как врезала парочку по нашему транспорту!.. Чудом спасся. Катера подобрали, а то бы амба, не сидеть мне за этим столом, вот вам крест.

— Ты о себе погоди, дай послушать человека!

— А то я не даю?

— Да цытете, вы! Завелись.

— Анатолий, ты бы просветил нас вот в каком отношении: скажи, пожалуйста, не напрасно ли мы платим налоги?

Все притихли, глядя на бухгалтера колхоза, это

он задал такой вопрос, который всем показался каверзным, непутевым и даже вредным. В самом деле, раз Советская власть облагает, значит, так надо, какие тут еще могут быть сомнения?

— Что ты мелешь?

— Перебрал мужик!

— Что значит напрасно? Хочешь сказать: государство нас обирает?..

Бухгалтер выставил ладонь щитком.

— Извиняюсь, весьма извиняюсь. Утверждаю: вопрос закономерный, но его следует выслушать до конца и только после вставлять сомнительные реплики. Вот ты, например, платишь налог или живешь по-птичьи?

— Ну!

— А ты платишь? — обернулся к соседу по другой сторону.

— Допустим.

— Не допустим, а точно — платишь! И я плачу. Так имеем ли мы право, я говорю, имеет ли право народ, который платит исправно налоги, спросить у знающих людей или тех, от кого это зависит, куда идут наши деньги? Не напрасно ли мы платим? Все ли делается, чтобы мы пребывали в спокойствии и выходили на поле, а также на фермы скотоводческие вовремя и без потери времени на всякие размышления и сомнения в отношении нашей безопасности, в отношении обороны и стабильности территории.

— Фух ты, господи, как кудряво рассуждаешь!

— Пока дождешься конца, пока разберешься, что к чему — вспотеть можно!

— Его бы делегатом на конференцию по разоружению — он бы там всех за голенище заткнул!

— Ну, тихо! Дайте же ему дожевать, не то подавится, вишь, сколько у него во рту слов-то осталось — тьма-тьмушная!

Терпеливо переждав все реплики и не обратив на них ровно никакого внимания, бухгалтер продолжал:

— Форма в данном случае не имеет решающего значения! Я по сути спрашиваю. Есть ли у меня также право, Анатолий свет Федорович?

— И закон и право на вашей стороне, Исидор Ивович. Конечно, каждому не безразлично, куда идут его деньги. — Мостов пригладил растрепавшийся пегий чуб. — Все делается так, чтобы их употребить разумно, расходовать с толком. Я могу сказать о флоте...

— Во-во, просим!

— Удивительные строим корабли, особенно подводные лодки с атомными двигателями. Правда, дело новое, незнакомое. Опыта пока недостаточно. Но осваиваем, учимся. Совершенствуем и себя и технику.

— Ну, и сколько же она стоит, подлодка-то?

— Много стоит. Очень много...

— Да ты не стесняйся, говори, здесь люди свои. Если не хватает средств — скажи прямо, поможем, дадим средства. Как в старину говорили: заложим жен своих и детей, а войско обеспечим.

Женщины разом вмешались в разговор:

— Правда ваша, все бы отдали, только бы войны не было проклятой. Век бы не знать ее ни нам, ни деточкам нашим, ни внукам дорогим!

Когда страсти немного улеглись, с дальнего конца стола послышалось тихое:

— Одна забота, генеральная: все ли делается, все ли мы делаем? То ли делаем, так ли делаем?.. Мужики, об этом надо думать сообща. Об этом следует говорить и на митингах, и на заседании исполкома сельского Совета, и на колхозном собрании, и в верхах об этом. Иначе нельзя. Как бы

ладно дело ни шло, всякий час мерекуй: а нельзя ли лучше?

Анатолий Федорович долго не мог уснуть, долго ворочался в постели, а затем и вовсе встал, вышел во двор. Глядя на притухающие утренние звезды, думал о своих односельчанах: «Государственные люди. Не напрасно ли платим налоги, спрашивают. Признаться, я никогда такого прямого вопроса не слышал, над ним не размышлял. Все годы считал, что жизнь идет, как ей и положено идти, все своим чередом, все отлажено издавна: одному землю пахать, другому торпеду холить. Оказывается, не так-то просто. Он, мужик, пахать-то пашет, но и одновременно поглядывает в мою сторону: достойно ли я золотые погоны ношу? Не оплошать бы перед этим мужиком».

8

Одна из двух дизельных лодок сопровождения, подошедших недавно, попыталась взять атомную, лишенную хода, на буксир.

На палубу пришло оживление. А там, гляди, и эсминец прискачет — дела и вовсе повернутся на лад.

Но беда во всем остается бедою. На такое тяжелое судно, как атомная субмарина, буксирные тросы, оказалось, не были рассчитаны. Когда на обеих лодках стальные концы закрепили, когда команды матросов, занимавшихся креплением, были отведены на безопасное расстояние, — на атомной, буксируемой, отведены назад, на дизельной, буксирующей — вперед по ходу корабля, — была дана команда с мостика дизельной:

— Подрабатывай помалу!

Покачиваясь на некрупной зыби, дизельная лодка мелко вздрогнула, за кормой взворохнулись пласты темной густой воды, взрывая поверхность частыми пузырями. Расстояние между кораблями стало медленно увеличиваться. Почувствовав натяжение, нехотя вышел из воды тускло поблескивающий трос. Он сухо поскрипывал, пряди его рвучивались, грозя разрывом. И вот он лопнул разом где-то на середине, яростно хлестнув обе лодки оборванными концами. Тросы взвились над обшивками, зашипели по-гадючьи.

Решено сделать еще попытку. На смену первой дизельной подошла вторая. Полетели бросательные концы с борта на борт, плюхнулись в водудвигающиеся по-живому тросы. Их проворно выбрали умелые руки, одетые в брезентовые рукавицы. На палубах подводных лодок были видны живо двигающиеся ярко-оранжевые спасательные жилеты швартовых команд. Дизельная дала самый малый ход, спаренный буксир вытянулся в две нити. Атомная приняла рывок, качнулась исподволь. Затем, словно передумав, словно не пожелав подчиниться чужой воле, замерла, упираясь; показалось, что она даже подалась назад. Тросы вытянулись до звона, хрупнули, стеганули со свистом по бортам обеих кораблей, точно в наказание за какую-то их провинность.

Эскадренный миноносец подошел на вторые сutki.

По пути он все время поддерживал радиосвязь с атомной лодкой: радистам лодки удавалось наладить аппаратуру. Командир Мостов подробно докладывал адмиралу, своему прямому начальнику, следовавшему вместе с академиком на эсминце в район бедствия, обо всем, что произошло, и о том, что делается для спасения лодки и экипажа. Когда Мо-

стова соединили с академиком, тот терпеливо выслушал подробный доклад, какое-то время молчал, затем подытожил коротко:

— Считаю, сделано все возможное в ваших условиях.

Эскадренный миноносец возник вдруг — светлый могучий красавец. Особенно поражала его высота. В сравнении с подводными лодками, палубы которых находятся низко, у самой воды, он казался великаном, сильно вознесенным над уровнем моря. Он жадно дышал вентиляторами, словно запаленный конь, от него шел масляно-теплый дух, так понятный и так желанный моряку, особенно когда моряк терпит бедствие вдали от своей земли, в холодном и чужом море.

На просьбу Мостова взять его на буксир с борта эскадренного миноносца ответили, что позади следует судно-спасатель со сменным экипажем для лодки, оно и ответит лодку на базу.

Адмирал, находящийся на эсминце, приказал лодкам сопровождения снять с атомной весь личный состав, чтобы не подвергать его дополнительному облучению. Приказано также при переходе с борта на борт всю одежду (академик посоветовал) оставить на своем корабле, чтобы по мере возможности обезопасить людей на дизельных лодках.

Они подтянулись борт к борту: одна справа, другая слева. Первая принимала личный состав, размещенный на носу атомной, вторая снимала с кормы.

Люди ступали на сходни, положенные между бортами, осторожно, по одному. Перед тем как шагнуть на чужое судно, каждый сбрасывал с себя бушлат, пилютку, синюю рабочую рубашку, снимал тельняшку — теплую полосатую, которая всего ближе к телу, которая — так повелось издавна — моряку всего дороже. Поверх тельняшки — морской души — когда-то, почти в незапамятные времена, революционные матросы надевали вперекрест пулеметные ленты; в последнюю, самую великую и самую жестокую из войн, в ней, в тельняшке — будь то зима или лето, дождь или солнце, сбросив с себя бушлат и суконку, — ходили в атаку.

Каждый провожал тельняшку взглядом, каждый задерживался на мгновение и только после, упиравшись носками в задники сапог, снимал обувь, рабочие синие брюки, темно-синие ситцевые трусы. На всем том, что сбрасывали с себя, могли быть частички облучения, зараженные пылинки, успевшие сесть на одежду за долгие часы аварии.

Вечереющее, мутноватой синевы небо местами было подбелено высокими легкими перистыми облачками. Во всем вокруг — и в слегка волнующейся поверхности моря, и в том, что пошел на спад порывистый ветерок, и в том, что, наконец-то, затянутое до этого низкой облачностью небо прояснилось, и в том, что свинцово-густая вода моря, казалось, полегчала, высветлилась, заиграла красками и уже без угрозы заштормить слегка постукивала стеклянной прозрачности бурунками в борта кораблей, — во всем чувствовалось умиротворение. Казалось, можно вздохнуть, расслабиться, сбросить хотя бы на некоторое время гнет тревоги и усталости.

(Окончание следует)

ВИТАЛИЙ
КОРЖИКОВ



Стена

Не знаю, что после они сочинили,
Дошли ли они до победного года,
Но помню — сложили, но помню — чинили
Нам стену бойцы музыкального взвода.
Один — Шостакович, гвардейский очкарик —
Нахмуренный лоб над простором ладоней,
А в нем то мотивчик про светлый фонарик,
То грозные громы военных симфоний.
А рядом — улыбка, веселая скрипка
[Мечты о Россини, беседы о Глюке!].
Я помню все в глине, холодной и липкой,
Солдатские их музыкальные руки.
Кирпич, обожженный атаками, клали,
Как клавиши, в стену — привычное дело!
Сложили, махнули — и вдаль пошагали.
Они пошагали,
А стенка
Запела.
Запела!
Бывало, нахмурится вечер,
Присядешь с тетрадью к коптилке дремавшей
И слышишь: за стенкой воинственный ветер
Слагать начинает военные марши.
И вдруг загудит, загрохочет органом,
Вещает расплату, несет искупление,
И, ширясь, летит по далеким курганам,
И с армией нашей идет в наступленье.
Какие просторы стена открывала!
Вдруг видишь: снега, и «ур-ра!», и пехота
[И горькая нота ворвется, бывало,
И вздрогнет на стенке любимое фото...]
Нет, звуков она не таила в копилке,
А все поднимала по властному знаку:
И буквы в тетради, и пламя коптилки,
И сердце, и сердце — в атаку, в атаку!
Но вот дошагали бои до финала,
Война отстреляла, война откипела.
А стенка трубила и все понимала,
А стенка все песни военные пела.
Мне, видно, кирпичик достался оттуда:

Порой в океане взгудит непогода,—
И вдруг запою и припомню, как чудо,—
Стена и бойцы музыкального взвода...
Дошли ли они до победного года!
Симфонии пишут теперь
Не они пи —
Ребята — бойцы музыкального взвода!
Но если же стену всего сочинили —
Хорошую стену! — так разве же мало!!
Поющую стену, поправшую беды!
Она воспевала, она поднимала
Бессмертье, и свет, и победу, победу!

☆☆☆

Вот какие, брат, дела! —
Гильзочка патронная...
Через сорок лет пришла
К Марье похоронная...

Там, где рота полегла
Под песчаной горкою,
Гильза честно сберегла
Ей записку горькую.

Как ушел на фронт Егор
В злую непогодину —
Вести не было с тех пор.
Вот... погиб за Родину.

Что и там, горяч в любви,
Он не ведал среднего —
Гильзы в спекшейся крови —
Бился до последнего!

Сколько ж ты летела, сталь,—
Словно сердце вынула!
Марья, Марья, перестань!
Сорок лет, как минуло...

Марья, Марьюшка,— года!
Дело наше правое!
Вот — вернулся навсегда,
Мертвый да со славою.

Пусть теперь слеза твоя
Светом приоденется:
Поседали сыновья,
Вот и внуки женятся.

Новой жизни — новый счет.
Что же давним маяться!
А слеза течет, течет,
И не забывается...

☆☆☆

Но козь звезда на пьедестале
Не точка в их судьбе живой,
Но если наши братья стали
Цветеньем, деревом, травой,
И если молодою тягой

К бессмертью, к подвигу, к уму
Мир оживает — с их отвагой,
Тогда понятно,
 почему
Вдруг степь под осень — жестче скатки,
И почему осенний клен
На месте рукопашной схватки
Так огненно окровавлен,
И почему с огнем трибуна
Как будто в вечность говорит —
Так бескорыстно, чисто, юно
Звезда над Родиной горит.

☆☆☆

Все измаялись: пора!
И почти из бреда
Наконец-то в три утра
Грянуло: «Победа!»

Помню, как от всех щедрот
В радости исторгло
Все, что есть — ликуй, народ! —
Сердце Военторга!

Помню пир среди двора:
Тост подняв вначале,
Фронтowiчку под «ура!»
Женщины качали.

Гимнастерка на ремне,
Знак гвардейский справа,
А на левой стороне
Вспыхивала Слава.

И кричала мятежу
Бывшая связная:
— Тихо, бабоньки, рожу,
Да кого — не знаю!

— Все одно! — веселый гам: —
Будем на крестины!
— Надо сына! Мужикам
Обещала сына!

И один из знатоков
Усмехнулся с тыла:
— А и много ль мужиков
У тебя-то было!

Открывайся, не тай!
Отрубила, злая:
— Всех любила! Все мои!
Все лежат на Шпрее!

Махом выпила одним
И, махнувши браво,
Зарыдала: «Слава им!
Бабы, честь и слава!»

И вздохнули, закусив,
Не ломая лада:
— Ну и ладно! Будет сын!
Всем твоя награда.

Будет, девонька, не плачь! —
Но и сами в хмеле
Пили брагу и первач,
Плакали и пели.

А за шелестом осин
У военкомата
Кто-то в праздничную синь
Бил из автомата...

☆☆☆

Праведней карантина,
Чистая, будто свет,
В душу вошла картина
Давних военных лет:

В самом начале тыла —
Банька, а у окна
Сало менял на мыло
Раненый старшина.

Помню, тряпицу вынул,
Помню, ножом отсек,
В крепкой руке прикинул
И покачал кусок...

Помню два встречных взгляда,
Перехвативших пай:
— Что ты, браток, не надо!
Слышь, не отдавай!

Кто-то в пыли походной,
Крохотнее ерша,
Маленький и голодный,
Съеженная душа...

Видно, хлебнул немало,
Видимо, через край...
— Это же сало, сало!
Братец, не отдавай!

Но над братвой походной
Четко стоял старшой,
Высохший и голодный,
Праведный и большой.

Выточен, как кресало,
Встал поперек войны:
— Люди — плевать на сало! —
Чистыми быть должны!

Что с ним за далью стало,
Четким, седым, в летах,
Шедшим по центру шквала
В гибельный гуд атак!

Но укрепилось семя,
Принятое душой:
Вот он стоит — сквозь время, —
Праведный и большой.

Не забираясь в судьи,
С четкостью старшины,
Он повторяет: «Люди
Чистыми быть должны!»

Я повидал немало,
Понял взаимосвязь —
Как нарастает сало,
Как прикипает грязь...

Рад, что судьба спасалэ,
Вера не подвела:
Не воевал за сало,
А чистота была.

ПЕТР
КОШЕЛЬ



☆☆☆

Осознать жизнь свою не хватит ума.
Стоишь на изломе лет...
Зодиакален свет,
зодиакальна тьма.
Что эти знаки невидимые обозначают
[рождаемся, умираем],
что отражают, а может быть, предвещают —
мы не знаем.

Но в белорусской августовской деревне,
когда месяц зацепится за плетень,
кричат, пастуха подымая, певни,
и начинается день.

Он будет обычным, как и прочие,
реальным, непридуманным,
напрокат не взятым из книг,
все они трудовые: колхозные и рабочие,
жизнь ткется из них.

Это и есть моя Родина,
где выпало счастье родиться, жить,
где найдется и свой юродивый
небу пальцем погрозить.

Вот мой дед Иосиф и бабка Зиновия,
как живые проходят, кивают ласково мне,
кто там за ними — не разберу, родословные
как-то не исследовались в этой стороне.

Тетка Зося, отдавшая 50 лет колхозу
[она да кот — вся семья],
глядит на черную, пропахшую дымом березу, —
под ней лежат ее сыновья.

Вот отец с медалями, выбритый чисто,
встречает друга партизанского своего.
Ты хотел, чтобы я на инженера выучился...
Выучился.

Не на инженера, правда.

Ну да ничего.

Родина. Это и есть бытие вечное,
живущее в памяти,

в сегодняшнем и завтрашнем дне,
и что может быть сердечнее,
чем быть своим в своей стороне.

Весна

Когда твои глаза
от нежности темнели,

в окно рвалась гроза,
в бреду метались ели.
Когда твои глаза
устало засыпали,
кончались чудеса,
стихии отступали.
Крамольник и нахал,
смешной и всемогущий,
сам дьявол пролетал
над Беловежской пущей.
Он кончиком хвоста
задел твои колени,
и чистые уста
вновь нежно зааели.
И темный мох земли
и облачные выси
вновь голос обрели,
простой и бескорыстный.
Плескалась жизнь в руках,
ломило стоном зубы,
и слышно было, как
сшибались грудью зубры.

☆☆☆

Ждут там, где и не думаешь...

А ждут.

Сидят, молчат, вино сухое пьют.

А ты, не зная этого, пройдешь.

Пройдешь, пройдешь, за угол завернешь.

Придешь, куда не ждали, посидишь.

Оставшуюся жизнь проговоришь.

А там, где ждали, женщина была,

которая бы свет тебе дала,

и человек, сумевший объяснить,

зачем живем и как нам надо жить.

Ждут там, где и не думаешь...

А ждут.

☆☆☆

За вздохом болот и за плеском лесов,
за ветром, в сырых буграках ревушим,
твое золотое большое лицо
вослед облакам, в неизвестность бегущим.

Над сменой эпох и над сменой погод,
над птицей бездомной, над горестным лешим
ты шепчешь: — Не надо... не надо... пройдет...

А только выходит еще безутешней.

Чего не назвать — стало быть, не назвать,
а коль назвалось бы, судьбы не прибудет,
и шепот охрипший не вложишь в слова,
и всю эту горечь не вынесешь к людям.

Судьба опадает, темнеет с лица,

жует, будто корку, сухую надежду.

Беснуются, воют весь месяц леса,

и леший вздыхает в ночной Беловеже.

☆☆☆

Граница меж светом и тьмою,
граница меж мной и тобою.

Войду и с порога скажу:

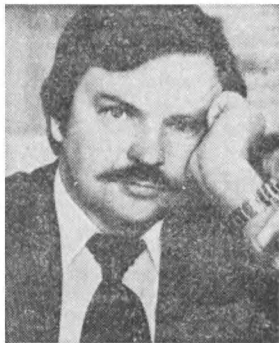
— Ступай, я тебя не держу.

И прятнешь ты белою птицей,

и больше не будет границы

меж небом, тобою и мною.

меж смертью и жизнью земной.



АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ

В

третью военную осень — да уж, пожалуй, это и не осень была, а начало зимы: на улице свистал знобкий ветер, перегонял по дороге белые охвостья снежной крупы, больно сек ею лицо, выжимая слезы, хотя на календаре числилась еще осень, и я не забыл густой дух картошки, жаренной на рыбьем жире, праздничного обеда, которым мы отметили Октябрьскую годовщину, — так вот, в третью военную осень, сразу после каникул, я записался в библиотеку.

Я? Записался?

Это только так говорится. И вы сейчас поймете, почему.

После уроков Анна Николаевна не отпустила нас по домам, а раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью — честь по чести! — было написано, что такой-то действительно учится во втором классе девятой начальной школы.

— Вот! С этой! Справкой! — разделяя слова, делая между ними паузы и, таким образом, не просто объясняя, а внушая, вдавливая нам правило, которое требовалось запомнить, Анна Николаевна разъяснила и остальное: — И письменным! Поручительством! Мама! Вместе! С мамой! Вы! Пойдете! В детскую! Библиотеку! И запишетесь!

Детское ликование трудно остановить. Да и не нужно его останавливать, потому что это ведь стихия. Ветер, например, можно остановить? Или дождь? Или бурю там, всякие, например, громы и молнии?

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ПОВЕСТЬ

Наберись терпения, подожди, стихнет ветер, промчатся тучи, и снова будет так, как было до стихии.

Поэтому наша мудрая Анна Николаевна только улыбнулась, когда мы заорали на радостях, заколготились в своих партах, как в коробах, отошла в сторону, прислонилась к теплой печке и сложила руки калачиком.

Теперь самое время объяснить, отчего уж мы так возрадовались. Подумаешь, скажут нынешние ребята, делов-то — в библиотеку записаться, да это ж запросто, заходи в любую, покажи дневник, и вся недолга!

То-то и оно, что скажут так нынешние ребята.

Мы жили в другое, хоть и не такое, может, давнее время, и много тогда было всяких правил, которых теперь в помине нет.

Вот, например, поручительство.

Мы утихли, уgomонились, Анна Николаевна отошла от печки к своему столу и снова стала объяснять:

— В письменном! Поручительстве! Мама должна указать! Место! Своей! Работы! Должность! Домашний! Адрес! И написать! Что в случае! Потери! Книг! Она! Возместит! Утрату! В десятикратном! Размeре!

Вот вам что такое поручительство!

После шквала радости по классу прокатился сдержанный вздох.

— В десятикратном? — воскликнул кто-то с ужасом.

— Да, — сказала Анна Николаевна. — В десятикратном! Теперь вы понимаете свою ответственность? — спросила она уже обыкновенным, спокойным голосом.

Можно было и не спрашивать. Без всякого сомнения, штраф за потерянную книжку в десятикратном размере выглядел чудовищным наказанием, но отказаться от него не мог никто, никакой взрослый, ведь не зря же в поручительстве надо было указать место работы. Выходило, книжки читать будем мы, и терять, если доведется, тоже будем их мы, а вот мамам придется страдать из-за этого, будто мало им и так достается.

Кажется, такое строгое правило есть в библиотеках и теперь, ну, если не в десятикратном, так в пятикратном, трехкратном размере, а все-таки полагается платить за потерянную книгу, но вроде бы

это правило и не действует никогда, напоминая собой улыбчивую угрозу: время другое. Да, время другое, наше время тоже было другим.

Мы росли в строгости военной поры, твердо зная, что взрослый, опоздав на работу, попадает под суд, а горсть гороха из колхозного мешка обещает тюрьму.

Может, мы оглядывались на каждом шагу, боялись поднять голову, засмеяться? Нет! Жили, как живут люди всегда, только с детства знали: там-то и там-то есть строгая черта, к которой лучше не приближаться. Так что Анна Николаевна просто предупредила об этой черте. Внушала нам, второклассникам, важную истину, согласно которой и мал и стар зависимы друг от дружки, и коли ты забудешь об этом, забудешь о том, что книжку надо беречь, поглубже прятать в сумку или даже за пояс, под курточку, и потеряешь по рассеянности или еще по какой другой, пусть даже уважительной причине, маме твоей придется отвечать за тебя, плакать, собирать по рублю деньги в десятикратном (!) размере или, того хуже, у нее на работе из-за твоего ротодействия начнутся неприятности.

Поручительство — оно и есть поручительство.

Повздыхав, зарубив себе на носу жестокий размер ответственности и еще одно правило, по которому мама должна прийти сама вместе с тобой, захватив при этом паспорт, мы вылетели на волю, снова ликуя и толкаясь.

Дело в том, что все мы давно уже научились читать — соответственно возрасту, конечно же, запросто разделялись с тонкими, еще довоенными, клееными-переклееными книжечками, которые давала в классе Анна Николаевна, но вот в библиотеку нас не пускали, в библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса.

А кому в детстве не хочется быть постарше? Человек, который посещает библиотеку, — самостоятельный человек, и библиотека — заметный признак этой самостоятельности: все видят, как тыходишь в нее и выходишь обратно.

Может быть, этот счастливый момент и не запомнился мне так хорошо и так подробно, если бы шло все своим чередом, и, как только я пришел из школы, мы бы отправились в библиотеку.

Увы! Мама была на работе, а у бабушки моей, маминой мамы, ясное дело, совсем другая, чем у меня фамилия, и кто же поверит, что она именно бабушка, а не первая встречная старушка или там какая-нибудь безответственная соседка.

Бывает вот так, к сожалению: умом-то человек все вроде бы понимает, а с чувствами сладить не в силах. Вот и я — все понимал, а хныкал, как дошкольник. Такая обида накатила, даже не знаю — на что, на кого. Я забился в угол, затираю рукавом слезы и тяжело сопел, а бабушка гремела кастрюлями в своем углу.

Так вот всегда заканчивались наши сражения: моим сопением и ее громоханием.

Досадно, конечно. Понимаешь, что никто не виноват, но ведь дело-то сорвалось! Завтра все придут в школу и начнут хвастаться библиотечными книгами, а мне придется отворачиваться, делать вид, что я глух и нем, или выдумывать какую-нибудь небывальщину.

Хорошо еще, мама сразу поняла, что я неспроста сижу тихий над тетрадкой и не могу решить два легусяньких примера по арифметике, быстро выяснила причину, светло рассмеялась, вырвала ли-

сток из чистой тетради и своим размашистым, летучим почерком написала поручительство.

Что правда, то правда, моя мама могла одним всего-навсего словом или вот как теперь — росчерком пера — сменить погоду на улице, переломить настроение, разгладить бабушкины морщины, а меня заставить глубоко вздохнуть и жить по-новому.

Противный ветер за окном стих, и в фиолетовых, почти чернильных сумерках вдруг повалили лохматые снежинки. Новый снег!

Дышать стало легче, и я освобожденно рассмеялся.

Чудесница эта мама!

А она достала из комода свой паспорт и сказала, обращаясь к бабушке:

— Сходите туда завтра вдвоем. Я-то поздно ведь прихожу. Объясни, люди же в этой библиотеке, поймут.

И завтра мы пошли.

Как любила бабушка, взявшись за руки, и я уже не рядился с ней, не спорил, не отстаивал самостоятельность, не думал о том, чем буду оправдывать свою девчачью послушность, если попадетесь знакомый народ. Я думал о том, как выглядит эта самая библиотека — ведь я уже был в ней и, представьте себе, не однажды.

Впрочем, тогда это была не библиотека вовсе — табачный магазин. И всякий раз я заходил туда с отцом, а он покупал себе папиросы в знаменитом на весь город и единственном табачном магазине.

Чем он был знаменит? Во-первых, тем, что о нем много говорили. Я то и дело слышал, как взрослые, даже женщины, спрашивали друг друга:

— Ты была в табачном магазине? Ах, какая прелесть!

Что может быть прелестного в магазине, да еще табачном, я не понимал, но потом мы с отцом шли откуда-то куда-то, и он сказал мне:

— Кончились папиросы. Давай-ка зайдем в знаменитый табачный магазин!

И мы зашли.

Да. Мы зашли, и всякий раз я попадал в этот магазин с отцом, а это означало, что в табачный магазин мы заходили до войны, и я не уставал удивляться, а в первый раз и вовсе онемел от замечательной красоты.

Дело в том, что есть такое вятское искусство — обработка капа или капокорня. Кап — это нарост на дереве. Будете в березовой роще, приглядывайтесь повнимательнее к деревьям, и обязательно, хоть на одном, да увидите такой овальный нарост, это и есть кап. Он и внизу нарастает, на самых корнях, это уже капокорень.

Березу, как всякое дерево, можно спилить, можно топором колоть, а кап никакой топор не берет, такой он твердый. Вятские мужики — неизвестно когда — научились все-таки кап пилить острыми и тонкими пилами, потом шлифовать, полировать до блеска и лаком покрывать. Получаются дощечки — от лака блестящие, прямо стекло, хотя и непрозрачное, ясное дело. Скажем так: будто сквозь стекло проступает береза, только не ствол ее, а завитки, узоры чудные, кружева. Это каповый нарост так древесную ткань свил. Из капа шкатулки делают, табакерки там, пудреницы, например, для женщин, мелкую, в общем, всячину, и никогда никто не знал, что можно из этих дощечек целую комнату сделать. Целый магазин!

Когда мы первый раз туда вошли, я прямо на пороге замер. Магазин небольшой был — комната

средней величины, меньше школьного класса раз в пять или в шесть — и стены как будто облиты прозрачным льдом, а за ним кружатся, растекаются необыкновенные разводы — то цветы, то облака, то просто неведомый, странный рисунок, и все это одного оттенка, коричневого и оттого теплого. Холодное стекло, даже лед — и теплый цвет. Да еще прилавки точно такие же.

Что такое кап и капокорень, я, конечно, уж потом узнал, много лет спустя, постарше или совсем взрослым, а тогда я стоял возле порога, таращился во все глаза, и день был ясный, послеобеденное солнце пробиралось по крышам, среди печных труб заглядывало в оба магазинных окна, отражалось в лаковых стенах, дробилось на зайчики, высвечивая зеленые коробки папирос с непонятным, но таинственным названием «Герцеговина Флор», силуэты всадников на коробках «Казбека», желтые шкатулки табака для морских, наверное, капитанов, потому что назывался он «Капитанский». Этот капитанский табак — одна коробка была распечатана — медово светился под витринным стеклом в окружении вее-ра черных и оттого торжественно прекрасных трубок с матовыми боками, и я подумал, как было бы здорово, если бы отец закурил трубку с таким табаком!

Вот выходим мы из магазинчика, он останавливается, не спеша раскуривает трубку, и мы шагаем с ним рядом, и все прохожие останавливаются: еще бы, в нашем городе никто не курит трубок. По крайней мере я ни разу не видел, чтобы по улице шел человек и курил себе трубку. Наверное, это потому, что наш город сухопутный и морских капитанов здесь не бывает.

Вот такие мысли пришли мне в голову, пока я стоял возле порога табачного магазина необыкновенной красоты и вдыхал опасные и в то же время прекрасные запахи, которые издавали все эти цветные коробки и пачки. Конечно, пахло табаком, но, смешиваясь, все эти запахи образовывали какую-то горьковатую, а оттого неприторную сладость.

Может, это была сладость взрослой мужской жизни? Не знаю, может быть. Я не успел в этом разобраться. Ведь это было до войны.

Все, что было до войны, казалось мне освещенным ясным и мягким светом незакатно-солнечного дня, того самого, когда мы с отцом зашли в табачный магазин.

Солнце не стояло над головой, оно брело по крышам, тени становились длиннее и чуточку темнее, и моя душа осязала прозрачность воздуха, бордовый цвет кирпича, от которого отстала штукатурка, и даже, кажется, невидимую дугу, след ласточки, размашистый ее полет в покое и сладкозвучной тишине.

Такой мне казалась жизнь до войны.

Там, до войны, мы были с отцом в табачном магазине, он купил «Беломор», три пачки с голубыми дугами над картой, и магазин сверкал древесными льдинами, но потом началась война, табак стали давать по карточкам, магазин закрылся, и вот туда переехала детская библиотека.

Чем жива человеческая память? Событиями и лицами, поступками и словами.

Однако, если даже с точностью выстроить их друг за дружкой, вспомнив, что следовало за чем, если даже по словечку вспомнить, что, кто и когда сказал, это окажется всего лишь навсего сухой перечень событий. События и лица, поступки и слова, давно ушедшие от тебя, вернутся снова, если их соединить памятью чувств.

Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог?

Сильную обиду, обделенность, обман. Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки.

Бабушка подошла к прилавку, вела там тихий, очень вежливый разговор, а я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, будто я ночью иду по пустой дороге. И ба-та мне все млился, папка — вот он там стоял, где бабушка, подальше, у самого края прилавка, время от времени поворачивался ко мне — покупал «Беломор», платил деньги, брал пачки, а сам так часто-часто на меня оглядывался, словно боялся, что я убегу, исчезну, и улыбка не сходила с его лица, а я ведь тогда таращился на красивые цветные коробки, на табак и собирался спросить отца, почему он не купит себе трубку — вот было бы здорово, — да так и не спросил.

И много чего другого не успел я сделать там, до войны, пока отец был так неправдоподобно близко — только руку протяни. Например, порыбачить не успел, сходить с ним на охоту.

Я вспомнил, как отец уходил с ружьем, яркой вспышкой озарило меня прошедшее, но не забытое мгновение, точнее, чувство: мы с мамой провожаем его до угла, где почтовый ящик, я обещаю не плакать, взрослые объясняют, что на охоту мне еще рано, и я как будто хорошо понимаю это, больше того, мне становится страшно, когда я представляю себе, как громко жажнет выстрел, — так вот, я обещаю не плакать, но не могу сдержаться и навзрыд плачу, когда отец, оглянувшись в последний раз, уходит от нас. Закатное солнце спит меня, борд-вое, зловещее, грозное солнце, на фоне которого раскачивается кепочка отца, вещевой мешок и ствол ружья, мне отчего-то душно, тяжело на душе, я боюсь за отца — почему он уходит от нас, зачем эта охота, пусть лучше вернется, мама берет мзю на руки, бегом несет домой, точно спасает от беды, и в глазах у нее я тоже вижу слезы.

Как приходит тревога в дом? Плачем малыша, которого напугало красное, словно налитое кровью закатное солнце, и вслед за ним заплакала мама, а через день вернулся расстроенный отец — охота не удалась, даже ни разу не выстрелил; ну хорошо, что же делать, а он хмурится и ломает спички, закуривая «Беломор».

Что это было? Предчувствие? Но война началась через год, и много было еще и смеха и слез до ее прихода, а я помнил тот вечер и чувствовал гу тревогу...

Почему она соединилась с новой?

Я оглядывал полки, за которыми лежали лохматые от старости книги, я вспоминал коробки с «Герцеговиной Флор» — что это имя значит? — с «Казбеком», с медовым табаком для морских капитанов, я вспоминал черные суровые трубки, чисто мужские вещи, и поражался холодному равнодушию блестящих витрин, которые так легко сменили свое содержание, так легко забыли, что лежало здесь раньше.

Я втягивал ноздрями воздух, надеясь услышать хотя бы напоминание о сладком запахе дзозенных табачков, но чувствовал только дух клея и старой бумаги.

Правда, он не был противным, этот новый запах.

Они смотрели на меня удивленно, бабушка и библиотечкарь, видно, окликнули не раз, пока я встретился и шагнул к витрине.

— Здравствуйте,— запоздало сказал я и стянул шапку.

— Нет, нет,— замотала головой старушка,— шапку не снимай.

— Полагается,— неуверенно запротестовала бабушка.

— Вот раздобудем дров, тогда будет полагаться,— ответила старушка библиотекарю.— А пока холодно.

Сама она была одета очень странно. На голове лохматая ушанка, вместо тесемок у которой настоящие ленты и ниже подбородка они завязаны в бант, каким девчонки завязывают волосы,— такой же широкий, похожий на бабочку. Сама шапка, правда, лохматая не вся, не целиком, кое-где выдраны целые клочки, будто эту шапку рвали злые собаки. А вот пальто на старушке совершенно необыкновенное, такого я еще не видал. Оно, кажется, бархатное, переливается, когда старушка шевелится, да еще сверху нависает пелерина, а на ней красивый светло-серый воротник.

Потом, когда мы выйдем на улицу, бабушка скажет то ли мне, то ли самой себе в задумчивости: «Такие пальто раньше барыни носили»,— а пока я разглядывал библиотекаршу во все глаза и едва сдерживался, чтобы не прыснуть. Этот ее величаво-печальный наряд завершали перчатки с отрезанными пальцами, чтобы удобней писать.

— Ну,— сказала старушка, выслушав бабушкины объяснения и разгладив бумажки, которые та подавала ей.— Как тебя зовут, фамилия?

Я произнес погромче свои скромные данные, ведь ушанка у нее была накрепко завязана таким широким бантом, что она, наверное, плохо слышала, но старушка, ничуть не обидевшись, улыбнулась:

— Кричать не надо, выбирай лучше книгу.

Я столько ждал этого мгновения, что — как это часто бывает — прозевал его.

— Выбирать? — переспросил я.

— Ну да,— сказала старушка,— чего ты хочешь прочитать?

Я топтался перед витриной, вглядываясь в потрепанные обложки, шевелил губами, читая незнакомые мне имена и названия, всматривался в стопу книг подале, за спиной у библиотекарши, и с каждым мгновением все ясней понимал, в какой я попал конфуз. Вздв я не знал, ну совершенно не знал, какую книгу хочу прочитать.

Теперь настала очередь старушки разглядывать меня. Может быть, я еще и поэтому потерялся — меня жег ее взгляд. Раз или два я, словно жулик, укравший что-то прямо на глазах у народа, мельком посмотрел на нее. Она улыбалась, надо же, какая веселая, и бабушка отпаривалась на мое спасение. Откашлявшись, подсказала мне:

— Сказки Пушкина?

Я помотал головой. Я не хотел признаться даже себе, что оказался такой маленький и беспомощный. Что, мечтая записаться в библиотеку, я, как последний остопоп, не знаю, чего бы мне почитать. Сказки Пушкина мне читала мама, когда я был совсем крохотным, да и по радио я их слышал десять раз, не меньше. Нет, я не хотел брать первую же книгу, какую мне подсказали.

— Он хорошо читает? — неожиданно спросила библиотекарша, обращаясь к бабушке поверх моей головы, и я, наверное, покраснел, словно мак. Обо мне спрашивали при мне, как спрашивают о самых маленьких, будто я сам не в состоянии ответить, — есть у взрослых такая обидная манера. А бабушка чего-то размышляла, то ли задумалась о чем-то

другом, то ли вопрос не поняла, молчала себе, разглядывая меня, точно не знает, как я читаю.

И я воскликнул не без отчаяния:

— Свободно!

— Свободно читает,— подтвердила бабушка, очнувшись.— По чтению пять.

Ну, хотя бы! Да, по чтению пять, несмотря на то, что это не самое лучшее доказательство.

Я все еще трепыхался, все еще отставив в душе свою серьезность, а библиотекарша протянула руку с обрезанными перчатками к полке и взяла толстенную книгу. Как она угадала? Я хотел бы почитать вот такую толстую, мохнатую, это значит зачитанную и оттого, бесспорно, интересную книгу.

— Вот,— сказала она.— Рекомендую именно тебе. Борис Житков. «Что я видел».

«Что я видел» — будто эхо, отозвался я сам в себе, совсем неосознанно, механически, то ли спрашивая, то ли утверждая, — что я видел-то, на самом деле?

— Эта книга,— сказала старушка, вдруг отвернувшись к окну,— про то, как люди жили до войны, и про то, как мальчик, вроде тебя, путешествовал на пароходе.

Я кивнул. Бабушка облегченно вздохнула.

Помнишь ли ты свою первую книгу?

Нет, не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе отчего-то хотелось плакать над каждой страницей, и не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно птенец, пробуя звуки собственного голоса, складывал из букв знакомые слова.

Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал — или тебе помогли выбрать — среди множества других, которую ты раскрыл дома, оставшись один, и которая навсегда запала в твою память чудесными мыслями, волнующими словами, чернотой отчетливых, красивых букв, рисунками, переплетом, прекрасным или вовсе неказистым, и даже запахом, резким запахом типографской краски, смешанной с клеем, или запахом какого-то другого дома, в котором, перед тем как оказаться у тебя, побывала эта книга.

Я помню очень хорошо.

Книга «Что я видел» была сразу большой и толстой. Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она вспухла от прикосновения многих рук, желтая картонная обложка обтерлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья, а внутри на некоторых страницах встречались следы стаканов неаккуратных читателей и даже чернильные кляксы. Но тем милей казалась эта книга!

Едва выучив уроки, я уселся за свой «десерт», за это лакомое блюдо. Герой книги плыл по реке на пароходе. Я представил себе, что это Волга, вместе с ним плыл я, но ведь все дело в том, что там, на Волге, еще зимой шла война. Каждое утро Анна Николаевна передвигала на карте в нашем классе красные флажки, и прошлой зимой там, на Волге, у самого Сталинграда, флажки словно застряли. Анна Николаевна приходила хмурая, можно было подумать, что она весь день останется такая, но учительница постепенно оживала, смеялась, даже смешила нас какими-нибудь шутками, а вот по утрам хмурилась, пока флажки на Волге вдруг зашевелились, двинулись вперед, к границе.

Потом она нам рассказывала, что знала про Сталинградскую битву, про то, как наши сперва защищались, как держались за каждый камень, а в это



время готовились силы, подходили к Волге новые войска и, наконец, наши окружили фашистов, захватили клещами, будто какой-нибудь ржавый гвоздь, да и выдернули его.

В кино тогда показывали пленных немцев: как идут они длинными колоннами, откуда-то из-за горизонта, а наши командиры в белых полубухах смотрят на них презрительно. И вокруг одни печи торчат вместо домов.

А в книжке, которая мне досталась, никакой войны нет, по Волге плывет пароход, похожий на льдину, такой он белый и чистый, и на нем плывет мальчик, который видит много всяких интересных вещей.

Первый раз в моей жизни прошлое не походило на настоящее и оттого было еще прекраснее.

Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое, время от времени вставал из-за стола и шел к бабушке, вспоминая, как мы записывались в библиотеку.

— Но почему ты сказала, что так раньше барыни одевались?

— До революции,— говорила бабушка.— Видать, приезжая, старушка-то!

— Откуда ты взяла? — смеясь, спрашивал я.

— Да я и сама не знаю, откуда,— улыбалась бабушка.

Я снова возвращался к книге, прочитывал еще одну главу и переспрашивал бабушку:

— Значит, через десять дней, если не прочитаю, надо вернуть?

— Не вернуть, а продлить,— поясняла бабушка.— И книгу можно не носить. Зайдешь, попросишь, чтобы продлили.

— Надо ее в газету обернуть,— говорил я.

— Да и корешок неплохо подклеить. Страницу какую, если порвана.

Так мы вспоминали строгие библиотечные правила, выполнять которые мне хотелось неукоснительно и с радостью.

— А вдруг она графиня? — спросил я бабушку уже перед сном.

— Кто? — испугалась бабушка.

— Ну, эта старушка? Библиотекарь?

Мама рассмеялась. Весь вечер она слушала, как мы, перебивая друг друга, говорили о библиотеке, о строгих читательских правилах, просила меня прочитать вслух главу-другую из библиотечной книги, хвалила за то, что читаю бойко, быстро, не спотыкаясь, громким голосом, с выражением. Рассказали мы и про старушку в барской шубе.

Мама рассмеялась, когда я задал дурацкий вопрос, а бабушка ничуть не удивилась.

— А что? — сказала она. — Все может быть.

Это же надо, к чему приводит неосторожное словцо. К настоящему скандалу! Почти к драке!

Сказанное мной накануне перед самым сном я никак больше не обдумывал. Стукнул кулаком в подушку, чтобы мягче была, повернулся на бок и провалился в сон, как в омут, ну, а утром не до размышлений — бегом к умывальнику, бегом к столу, потом бегом в школу. Пока за парту не усядешься, не затолкаешь в нее свой облупленный портфельчик, думать некогда.

Так что шестеренки, колесики, шурупчики, которые в голове крутятся, если думаешь, у меня в то утро еще стояли, еще не двигались, когда я, наспех переведя дыхание, брякнул снова, как вчера:

— А может, она бывшая графиня?

— Кто? — выдохнул Вовка. Все у него, как говорится, кругом пошло — и лицо, точно блин, и глаза, будто шарики, и уши, как кренделя.

— В библиотеку-то записался? — спросил я.

— Ну! — подтвердил он.

— Библиотекаря-то старушка была?

— Ну! — воскликнул он, уже догадываясь. — Она? Я кивнул.

— Откуда ты взял? — жарко шепнул мне Вовка, приблизившись.

— Да ниоткуда, — возмутился я. — Пальто у нее такое, вот и подумал.

Я еще только подумал, я всего лишь навсего предполагал, а Вовка уже прыгал между партами в проходе и орал на весь класс:

— Вы слышали? Старушка-то! В библиотеке-то! Графиня! Графиня!

Так рождаются слухи. И возникают нелепости, которые могут закончиться неприятностью и мордобоем. Напрасно на всех переменах того злополучного дня я подходил к людям из нашего класса и, взяв за пуговицу или даже за рукав, объяснял, что просто спросил, не графиня ли библиотекаря.

Мне показалось, говорил я, никаких фактов у меня нет, просто на ней очень странное пальто, до революции такие носили богатые барыни, но ничего объяснить было невозможно, народ словно сошел с ума: такое ясное дело, и никто не мог понять.

События того дня взбаламутились у меня в голове, поэтому я не мог вспомнить, кто именно мне отвечал, но вот сами ответы я помнил отлично, потому что они поражали до глубины души своей бестолковостью.

— Очень, очень! — сказал мне кто-то в ответ на мое объяснение.

— Что очень? — удивился я.

— Очень похожа на графиню, ты прав.

— Да я не знаю! Я просто спросил! Я подумал!

— Правильно подумал!

Фу ты! Я про одно, а они про другое.

— Да нет, это только такая мысль, — доказывал я другому.

— Чудак! Это здорово! — смеялся кто-то в ответ. — В нашем городе — и! — собственная! — графиня!

Сперва я всерьез стремился восстановить истину, потом меня смех разобрал от этой всеобщей бестолковости, а к концу дня едва сдерживался, чтобы не зареветь принародно.

Одна Нинка Правдина из всего класса справедливый диагноз поставила моей выдумке:

— Глупистика!

Но окончательно из себя вывел все тот же Вовка. На всех переменах, я заметил, он стремглав вылетал из класса, бегал по коридорам, разносил сплетню по этажам, а перед последним уроком, даже опоздав на него, он приблизил ко мне круглую, как шар, стриженую голову и прошептал торжественно:

— Еще и граф есты!

Я сорвался.

— Враль! Враль! — прошептал я Вовке с отчаянием, ухватился за парту и, навалившись на друга всем телом, скинул его в проход. Есть такой школьный прием.

Тут же, конечно, разразился скандал, потому что все захохотали, Анна Николаевна застучала по столу указкой, чтобы уgomонить народ, а нам с Вовкой велела выйти из-за парты и подойти к печке. Отдохнуть. Охолонуться, как выражалась она.

Какое счастье, что Анна Николаевна никогда не выясняла отношений между нами. Кто и что сделал, сказал, подумал. Просто предлагала выйти вперед, пред очи, как она выражалась, класса. Постоять минут пять или даже десять, а потом отпускала за парту. Помогало замечательно. Все-таки торчать на виду у всех мало кому нравилось. Если кто-то поначалу хорохорился, то через пять минут это проходило, и наступало уныние.

Конечно, вдвоем между партами, учительским столом и печкой стоять было легче, чем одному, но мы с Вовкой сопели и расстраивались оба, потому что никто не считал себя виноватым.

Нам бы, конечно, объясниться, хотя бы шепотом, хотя бы на уроке, когда мы, изрядно поспев, вернулись на свои места, но часто обида, будто маленькая и черная злобная собачка, бежит впереди понимания и мешает ему своим неслышным тьяканьем.

Уроки закончились, Вовка сорвался вместе со всеми, а я нарочно стал копаться в портфеле, чтобы не видеть его.

Не спеша я вышел на улицу.

Взбаламученность постепенно сменялась спокойствием, ясностью и тихой радостью: ведь дома меня ждала толстая книга. Это же надо! Я не успел ни рассказать про свою книгу, ни поспрашивать других — что им дали почитать. И все из-за одной глупой мысли — права все-таки эта великая отличница Нинка — из-за своей глупистики! Неужто все-таки отличники не зря самые умные? В душе я презирал отличников, а теперь выходило — ошибался.

Я брел по заснеженной улице, лаская себя мыслью о том, как накинута на плечи бабушкин платок — ведь никто меня не увидит, — придвинусь к печке, может, даже заберусь с ногами на стул и открою свою толстую книгу — есть ли наслаждение выше?

И вдруг увидел Вовку. Но если бы одного! Над Вовкой стоял паренек из четвертого класса, — я его встречал в школе, белобрысый такой, довольно упитанный пацан, с рыбьими, бесцветными глазами, — и держал Вовку за воротник. Другой рукой этот мальчишка крутил противогазную сумку с учебниками и повторял:

— Кэ-эк дам! Кэ-эк дам! — Но бить Вовку не решался, а спрашивал: — Будешь еще? Будешь?

Что бы там ни было между мной и Вовкой — это

наши личные дела. Во всем остальном мы были друзьями, и поэтому, не доходя шагов пяти, чтобы меня не достала противогазная сумка, я сказал большому парню:

— Эй, оставь! — И прибавил, как бы уточнил свою мысль: — Не имеешь права!

Раньше были популярными такие выражения о правах: имею право! не имеешь права! И даже такое, чуточку, видимо, хулиганское — качать права. «Ты чо, мол, права качаешь?», «Имею право!».

Ну вот. А этот, с рыбьими глазами, ясное дело, никаких прав не имел держать тут за шиворот Вовку и крутить противогазную сумку у него перед носом.

Впрочем, надо признаться честно, всякие эти разговоры о правах велись просто так, для понту — тоже хулиганское выражение, то есть для блезиру, понарошку, для видимости приличия, просто так, чтобы изобразить справедливость, потому что больше всех права качала всякая шпана, хулиганье проклятое, которому никакие права не требовались, такие разговоры велись перед драками или еще какой другой несправедливостью для отвода глаз, дескать, для правого дела. Так что вопрос свой я задал под барабанный грохот собственного сердца, сжав покрепче портфель и примериваясь, как я шандарахну им этого белоглазого с противогазной сумкой.

Драться я не любил, больше того, предпочитал ретироваться, если собиралась толпа, где обычно начинали двое, а потом шло побоище — двор на двор, улица на улицу, школа на школу, а то и просто так — одни против других, и уж тут не поймешь, кто кого и за что, пока кто-нибудь не на шутку, а всерьез, точно заколотый, заверещит. Бывало, и правда, ткнут шилом, хорошо еще если в мягкое место.

Сердце, словом, пошло ходуном, и я повторил как можно более нахальным тоном:

— Не имеешь права!

Белобрысый внимательно, с какой-то едва скрытой печалью посмотрел на меня и сказал не очень уверенно:

— Проходи! Тебя не касается! — И снова принялся крутить противогазную, довольно увесистую сумку перед Вовкиным носом. — Ну, будешь еще? Ты это выдумал? Про графиню?

Вот оно что! Про графиню? Ну, хорошо, даже если это и так, какое ему дело?

Я ему что-то вроде этого и сказал.

— Значит, есть дело! — ответил он, вновь взгляды в меня.

— Тогда отпусти его, — велел я. Отчего-то сердце успокоилось. Уже не гроыхало на всю улицу. — Это я придумал.

Вовка впервые взглянул на меня за все это время. Какой молодец, запоздало восхитился я им. Мог бы сразу сказать, что это не он, а я, но друг мой не из таких.

— Ты? — удивился парень.

Мгновение он стоял, все так же покручивая свою сумку, потом быстро шагнул ко мне и схватил за воротник — я даже отступить не успел.

— Кэ-эк дам! — сказал он мне. — Кэ-эк дам!

— Не имеешь права, — проговорил Вовка и замахнулся довоенным бухгалтерским портфелем на двух железных замках.

— Кэ-эк дам! — твердил свое рыбглазый, но только говорил, видать, боялся ударить: хоть мы и второклашки, зато нас двое.

Я все-таки нашелся. Придумал такие слова, которые все объяснили.

— За что? — воскликнул я, поворачиваясь к нему лицом. — Ну за что?

Он отцепился от моего воротника и ответил обиженно:

— А за то!

— Но ведь бьют за что-то! — произнес я с выражением, будто артист на сцене. — Все остальное — мм, — я помычал, отыскивая нужное, единственно убедительное слово и, к собственному удивлению, довольно быстро отыскал его, — варварство!

— А, по-твоему, не варварство — обзывать графией замечательного и даже знаменитого человека? Который ни в чем не виноват! И недавно приехал в ваш город!

Парень даже покраснел от злости, а мы с Вовкой стояли, разинув рты. Я лично ничего не понимал. Откуда этот пацан...

Он снова крутанул сумкой и сказал с отвращением, даже заикаясь от негодования:

— М-мелюзга!.. А то бы кэ-эк дал!

Белобрысый четвероклассник отвернулся от нас с Вовкой и пошел не оглядываясь.

— А ты, дурак, толкался! — сказал Вовка, явно обращаясь ко мне. — Это же он и есть!

— Кто? — обернулся я к нему.

— Граф!

— Граф? — Ну этот Вовка. Он просто отупел сегодня. Ничего не понимает. И я закричал на него: — Но я же только подумал, ты можешь сообразить? По-ду-мал!

— Что она графиня?

— Ну, вдруг!

— Вот я и говорю, — улыбнулся Вовка. — Значит, он граф, раз ее внук.

Теперь уже я схватил Вовку за воротник. Заглянул ему в глаза. Но ничегошеньки в них не увидел — ни капли сомнения, ни тени смущения. Глаза у него были ясные и невинные, будто у младенца. Нет, подумал я, толковать сейчас с Вовкой — только время терять. Будем считать, что сегодня он болен. Слегка очумел, например. Подождем до завтра.

Я кивнул своему дружку и сказал:

— Пока!

И побежал за белобрысым.

Он ушел недалеко, и я его легко догнал. Услышав шаги, парень обернулся и сказал:

— А, это ты!

Произнес таким тоном, словно сто лет меня знает и вовсе не он пять минут назад крутил сумкой перед моим носом. Но это хорошо, что он так сказал. Помог мне. Весь день меня мучила, доводила до отчаяния собственная оплошность. Хуже нет — несправедливо человека обидеть, пусть даже совершенно незнакомого, а тут ведь речь шла о старушке, которая дала мне книгу «Что я видел». Чем она виновата? Пальто у нее невиданное? Ну и что? Зато шапка какая — ободранная, щипаная такая, да и перчатки с обрезанными пальцами. Ведь холодно, а она нарочно обрезала перчатки, чтобы записывать удобнее, какую кому книжку выдала. Весь наш класс к ней в библиотеку записался, и весь же класс хохотал, когда я — надо же! — не сказал, а только предположил, что она графиня... Какая дикая несправедливость, и эта несправедливость, придуманная мной, можно сказать, моя собственная несправедливость мучила и терзала меня весь день, и больше всего на свете я хотел избавиться от своей несправедливости, от своей вины.

— Ты ее внук? — начал я с самого главного.

— Все мы чьи-нибудь внуки, — ответил мне парень

довольно сурово. Что-то быстро менялось у него настроение.

— Ну, старушки! Из библиотеки?

Парень покосился на меня и ответил:

— Допустим!

И я, захлебываясь, путаясь, повторяясь и, пожалуй, теряя оттого всякую убедительность, принялся объяснять этому внуку, как я записывался в библиотеку, как дали книгу и как я был потрясен удивительным, замечательным, неповторимым пальто его бабушки — таких не было ни у кого во всем нашем городе, а бабушка — моя бабушка! — сказала, что раньше, то есть до революции, так одевались только богатые барыни, вот я и подумал: а вдруг старушка из библиотеки — бывшая графиня?

Я испугался: еще бы, парень, отвернувшись от меня, остановился и начал тихо падать. Сперва он опустил голову, потом согнулся в животе, наконец у него сломались коленки, и он рухнул на снег. Да еще и заикался. Это уж потом, через минуту, я понял, что он так смеется Поикав, он захохотал. Валился по снегу и ржал, как помешанный. Будто какой-то с ним приступ.

Испуг у меня, конечно, прошел, но валиться от смеха в снегу рядом с этим парнем я не собирался. Что виноват, я понимаю, а хотеть у меня особых причин нет.

Это длилось минут пять. Уже толпа собиралась: две девочки, похоже, первоклассницы, шептались неподалеку. Какой-то красноносый дед с поднятым воротником еще не остановился, но уже замедлил шаг, качая головой, бормотал что-то в сивые усы. А самое главное — из-за угла появилась наша Анна Николаевна. Окинув нас зорким взглядом, она, конечно же, сразу узнала меня, но бежать, скрываться теперь было бы самым пустым и к тому же бесславным делом. Я топтался над парнем, который все еще хохотал, и умирал от неловкости. Днем столкнул с парты Вовку, отсепел с ним вахту возле печки, а теперь снова в каком-то дурацком положении. Не дай бог, еще подумает, что в снег этого парня свалил я, доказывая потом, объясняясь!

— Эй, вставай, — позвал я внука библиотекаря, — училка идет!

Насчет училки я, конечно, опять загнул. Никто нашу Анну Николаевну так не звал. И не только мы, ее ученики, а все, кто знал, что она учительница, даже народ из других школ, потому что есть такие люди, к которым никакие прозвища и обидные клички не пристаю. Они просто выше этих слов. Шагают себе, высоко подняв голову, и даже если услышат дрянное словцо, сказанное вслед, никогда его не заметят. И тогда у тех, кто такое слово выговорить способен, сама по себе отпадает охота их вспоминать.

Зато других называли, я слышал. Они останавливались, громко возмущались и потом добивались, чтобы тому-то и тому-то записали в журнал замечание и вызвали в школу родителей, а все равно не помогало.

Почему я назвал Анну Николаевну училкой? Хотел спасти свою шкуру — вот причина. Хотел чистеньким быть, чтобы она снова про меня плохого не подумала, как днем, в классе. Не хотел, чтобы она решила, будто я настоящий хулиган, здорового парня в снег свалил. Вот и брякнул, чтобы этот внук быстрее поднялся.

Она, конечно, была еще далеко и ничего не слышала, но разве только в этом дело?

Однако мое слово на белобрысого подействовало. Он вскочил, стал озирается, но, увидев Анну Николаевну, обернулся ко мне и сказал:

— Дурак! Какая это училка?

Учительница подошла уже близко и наверняка слышала эти слова. И, значит, поняла, кто назвал ее так вначале. Мало того, что я белобрысого в снег свалил, так он еще и благородный, а я...

— Что же ты весь в снегу, Артур? — спросила Анна Николаевна, подходя к нам и принимаясь отряхивать белобрысого.

Выходит, они знакомы, еще не хватало, и сейчас этот малый начнет рассказывать про то, как я придумал графиню. А наша учительница улыбалась парню из другого класса, вовсе не замечая меня, своего ученика.

— Решил испробовать первый снег? Ну и как?

— Хорошо, Анна Николаевна, — ответил он. — Пахнет, как.. как, — он заикался, но без всякого, впрочем, смущения, просто слово выбирал, — как чистое белье, когда оно с улицы.

— Только наоборот, — кивнула она. — Не снег пахнет бельем, а белье снегом, морозом, чистым воздухом. Ну, передай привет Татьяне Львовне.

Она сделала несколько неспешных шагов, будто раздумывала, идти ли ей, или поговорить еще немного с белобрысым парнем, который ей, похоже, очень нравился, и вдруг, совсем неожиданно, повернулась ко мне.

— А ты, Коля, — спросила она, внимательно разглядывая меня, — записался в библиотеку?

Я быстро кивнул.

Откуда она догадалась, как она узнала, что мне ужасно плохо? По моему лицу? По моей согбенной фигуре? А может, почувствовала, что я, по нечаянности обронив слово «училка», казнюсь теперь всей душой, и решила помочь мне, дать понять, что не сердится, зная мое настоящее отношение и к ней и ко всяким другим выражениям? Великий и тонкий человек была наша мудрая и любимая Анна Николаевна. Мне бы хватило для полного ликования и этой одной ее фразы, ее вопроса, интереса ко мне, чтобы не только слова, но и мысли глупой никогда не возникло по отношению к ней у меня, а одна только пламенная благодарная любовь. Да не любви она добивалась. Ее, нашей любви, было у Анны Николаевны через край. Нет, она про меня думала, обо мне печалась, о том, чтобы не давила никакая смутная печаль мою душу тяжелым камнем. И она не пошла дальше, не заторопилась, а спросила, улыбаясь:

— И какую же книгу ты взял?

— «Что я видел», — пролепетал я.

— Бориса Житкова? — уточнила она. И вздохнула. — Какие вы счастливые!

Счастливые? Почему?

И я и белобрысый парень смотрели на нее, не понимая, и тогда она легко рассмеялась:

— Конечно, счастливые! Ведь вы прочитаете столько чудесных книг! И все они еще впереди!

Доброе слово — будто крылышки за спиной. Идешь, ног не чуешь под собой, и словно ты выше, словно летишь. И мысли, надо сказать, тоже высокие. Например, ты вырос, стал взрослый и приходишь в школу с целой охапкой сирени. Анна Николаевна, конечно, не узнает тебя, охает, требует назвать имя и фамилию, а ты, допустим, только смеешься и сам в генеральской форме, это да! Или едешь в шикарном «ЗИСе», каких в нашем городе нет и быть не может, их только в кино показывают, они там по Красной площади проезжают, но ты тем не менее подъезжаешь вот в таком «ЗИСе» прямо к школе, конечно же, сам за рулем, нето-

ропливо выходишь, тут сбегается народ, уроки прерываются, возле автомобиля толпа учеников, а ты проходишь в учительскую, в этот раз можно, чтобы тебя и узнали, ничего, и ты просишь Анну Николаевну пройти с тобой, она спрашивает, куда да зачем, но ты сурово молчишь, потому что так надо, берешь ее под локоток, взрослым полагается, я видел, усаживаешь в машину, библикаешь протяжно и торжественно, народ расступается, а ты медленно везешь учительницу — машина должна быть открытой, чтобы все прохожие видели, кого и куда ты катишь, — прямо к театру, и там все уже сидят на местах, полный зал, вы входите, все хлопают и встают, и тогда ты поднимаешься на сцену, вместе с Анной Николаевной, понятное дело, и, когда народ стихает, объявляешь, что правительство наградило замечательную учительницу нашего города Золотой Звездой Героя всего Советского Союза. Вот так-то! Зал ахает и хлопает в ладоши изо всех сил, а ты сам же и прикрепляешь награду к белой кофточке Анны Николаевны. Все. Она тебя целует. И говорит шепотом: «Ох, я и не знала, какой у меня ученик. Ведь я же тебе даже двойки ставила, подумать только!»

И все в таком духе.

Но сколько бы человек ни парил в небесах, на землю все равно надо спускаться. Когда я приземлился, рядом все еще шел белокрысы. И я спросил, вспомнив, как называла его Анна Николаевна:

— Ты не русский?

— Это еще почему? — насторожился он.

— А тебя как зовут?

— Артур.

— Ну вот!

— Чудак! — удивился он моему невежеству. — Это имя иностранное, а сам я вполне русский. Родом из Ленинграда.

— Да ну! — восхитился я. Про Ленинград столько разговоров шло, там блокада была, и любого, кто из этого города, сильно уважали.

— Мы с бабушкой у вас в эвакуации. Приезжие. А ты тут всякие небылицы сочиняешь.

Похоже, Артур снова обиделся. А мне стало вдвойне неприятно: надо же, кого графиней обозвал, осел!

Я повесил голову — вот вляпался, не знаешь, как и выбраться из своего положения. И тут Артур хлопал меня по плечу.

— Но ты все-таки молодец, — сказал он совсем уж неожиданное.

Я острепнулся.

— Почуял, значит, в ней что-то необыкновенное, да?

Я кивнул, не зная, чего ждать, какой ловушки.

— Что-то такое нездешнее, а? — спрашивал Артур, точно подбадривал меня.

— Ну! — ответил я, совсем как Вовка.

— Пальто такое небывалое, да?

— Ага!

— Так ты недалеко от истины, — торжественно произнес Артур. — Она на самом деле не та, за кого себя выдает.

Мы остановились друг против друга, и я во все глаза таращился на этого странного, в общем, парня.

— Знаешь, она кто? — поддразнил он меня напоследок.

Я послушно помотал головой: откуда, мол, мне. Артур остался доволен.

— И никогда не узнаешь, если я не скажу, потому что она из-за своей скромности никому не признается.

Я уже совсем не дышал, а он все тянул.

— Так вот знай, — сказал он, когда терпение мое иссякло. — Она никакая не графиня. Но и никакая не библиотекарша. Она заслуженная артистка Республики. Балерина. Всю жизнь танцевала в Мариинке.

— Где?

— Такой театр в Питере! Старинный! Красивый, как... как... как сказка! Но балерины танцуют недолго, понимаешь? Пока молодые. Потом выходят на пенсию. И она, когда состарилась, стала библиотекарем.

— Дальше! — потребовал я.

— Вот и все. Началась война. Отец ушел на фронт, мама работает в Ленинграде, а нас отправили сюда.

— Ну, а пальто, пальто! — воскликнул я.

— Какой въедливый, — недовольно проворчал Артур. — Это пальто она в молодости носила. Когда танцевала. Ехали сюда, одежду брали. Побольше, чтобы продать, понимаешь?

Нет, я не понимал. Да и вид мой, наверное, выразил это.

— Никто его не покупает! Никто не решается в таком ходить! Бархатное! Дореволюционное! А сейчас война!

Я вздохнул. Наконец-то разобрался до самого конца.

— Все понял? — спросил Артур. Я кивнул. Он сказал: — Ну, иди.

— А ты? — не понял я.

— А я здесь живу.

Мы стояли возле двухэтажного дома, как говорили в нашем городе, «низ каменный, верх тесовый».

— Это тайна? — уточнил я.

— Какая же тайна? — ответил Артур вопросом. — Только про пальто не надо, — сказал он, подумав. И спросил: — Ты человек надежный?

Я быстро кивнул.

— А то кэ-эк дам, — засмеялся он.

Вовсе он не злой был, этот парень, и вовсе не собирался он бить ни Вовку, ни меня, просто грозился. Теперь вот сам же над собой смеялся.

— Кэ-эк дам! — передразнил я его.

Мы посмеялись.

— Ты тоже, — попросил я, — про графиню — того, не говори.

— А жаль, — сказал он. — Бабушка бы посмеялась.

— Ну, если так.

— Она не узнает, что это ты. Скажу, мол, ребята в школе. И все.

Теперь-то, много лет спустя, я думаю, что Артур тоже был малышом и, хоть казался он мне тогда старше своих лет, рассудительным и серьезным, его желание рассмешить бабушку было совершенно детским и нелогичным. Про пальто он не хотел напоминать ей, а вот о том, что ее прозвали графиней, — пожалуйста. Но ведь и мысль-то о том, что, может быть, она графиня, появилась не просто так, а из-за ее необыкновенного наряда.

Да, мы были детьми, а детям так свойственно ошибаться, не зная, что последует за шуткой...

— Ты, наверное, начитался всякого, а? — спросил я Артура. — Бабушка любую книгу даст?

— Кстати, — сказал он, что-то вспомнив, — ты не читал такой роман? Называется — «Янки при дворе короля Артура».

Сперва я опешил. Как со мной разговаривают, будто со взрослым! Я взял самую первую книгу, «Что я видел», а меня спрашивают про настоящий роман.

Но я ловко вывернулся.

— Ха-ха,— воскликнул я,— так ты, Артур, еще и король?

Он довольно рассмеялся, а я подбавил дров в огонь:

— Не какой-то там граф! Короли!

Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку и маму своим сообщением. Особенно ликовала мама. Бабушка просто охала и ахала на разные лады, а мама — я ее такой никогда не видел за всю войну — от восторга места себе не находила. Рассказывала по комнате, разводила руками, наигрывала губами какие-то знакомые мелодии и при этом рассказывала, как давно, в молодости, когда она училась в ФЗУ, на каникулы их повезли в Ленинград — чудесный, волшебный город — и там повели в театр, на балет, это была сказка «Щелкунчик» — какие изумительные костюмы, — а музыку исполнял огромный оркестр, наверное, человек сто одних музыкантов, а что за чудо занавес — малиновый, с золотыми узорами, да и сам театр — мраморные колонны, пол, по которому страшно ходить, потому что он похож на стеклянный и в него можно глядеться, как в зеркало, даже лестничные барьеры покрыты красным плюшем — этого не забудешь вовек, и все-таки главное — артисты, балерины в таких вот юбочках, — мама показывала, какие именно юбочки, — из газовой, прозрачной ткани, у них, этих юбочек, даже специальное название есть, пачки, ну и, конечно, танцоры в облегающих тело трико, но они маме не показались, потому что все больше стояли в тени и выскакивали оттуда, когда надо было поднять балерину и покружить ее.

— Как,— удивлялся я,— прямо в воздухе?

— Конечно! — радостно смеялась мама. — Прямо в воздухе.

И еще выяснилось, что балерины танцуют только на пальчиках, редко стоят на всей ступне, да и то очень изычно, вовсе не так, как делают это обычно люди, и мама показала, как стоят балерины: подтянулась, подобрала живот, даже, кажется, выше стала и одну ступню плотную приставила к другой, ровно посередине, так что получилась буква «Т». Тут мама одну руку вскинула — я даже испугался: вышло ведь очень неудобно, маму чуть покачивало, потому что ноги приставлены плотную, да и под углом — запросто можно упасть. А она еще, как нарочно, что-то такое тихонько замурлыкала, какую-то мелодию, и давай руками махать — одна вверх, другая вниз.

— Ладно, ладно! — рассмеялся я. — Расскажи лучше, как же они на пальцах танцуют.

— У них специальные такие тапочки, — успокоилась мама, — белые или розовые, представляешь!

— А не спадывают, тапочки-то? — вступила в разговор бабушка.

— Вот еще! — махнула рукой мама, оскорбившись за балерин.

— А ноги не ломают? — не унималась бабушка.

— Чего не знаю, того не знаю, — вздохнула мама, возвращаясь с довоенных небес обратно в нашу жизнь.

Она подошла к столу, разлила по тарелкам завариху, села, взяла за дюралевую ложку, зачерпнула ею еду и поднесла было ко рту, но вдруг кинула ложку обратно.

— Гады! Гады! Гады! — крикнула она отчаянно и заплакала.

Я даже вскочил: что еще случилось! С отцом?

Самое страшное, самое дикое, самое несправед-

ливое, чего мы боялись всю войну, — от первого дня, как он ушел воевать, и до его возвращения, — мысли, что с отцом случилась беда.

Ах, как я страшился этого! И разве только я? На что мы ни шли, лишь бы избежать несчастья, каким только не верили приметам! Нельзя было проходить под раздвоенным столбом, переходить дорогу перед белой лошадию, а встретив подводу с гробом, требовалось трижды плюнуть через левое плечо и скрестить средний и указательный пальцы на обеих руках. Суеверие множилось и росло в малом народе, и никакие взрослые угазоры не помогали — ни материнские, ни учительские. Да, я думаю, матери и учительницы наши дорогие сами с любым суеверием сто раз смирялись и до конца жизни, несмотря, скажем, на партийность или образованность, соглашались бы исполнять все правила примет да поверий, только хоть на шагок остановить беду, которая перла и перла из всех щелей — тифом, голодухой, похоронками.

Отойди, сгинь, несчастье! Изнемоги в лютости своей бескрайней! Дай людям вздохнуть, опаматоваться, вспомнить, что есть на белом свете цветы, книги и даже танцы в сказочно красивых, волшебных театрах!

Может, оттого люди говорили вроде потише у нас в тылу. Принижали голос, когда хотели сказать что-то твердое даже. Боялись испугать криком остальных. Потому что крик одно означал — беду.

А тут мама закричала. И я вскочил.

— Гады! — еще раз крикнула она. — Что теперь с театром-то? Вдруг разбомбили? Что же они творят, эти гады!

Грех, конечно, это был, но невинный, детский грех — ругнул я про себя маму. Подумаешь, сказал я про себя, театр. Кричит так, будто с отцом что случилось. Впрочем, а так ли велик был мой грех? Да и грех ли это — любить и жалеть отца больше, чем даже целый драгоценный театр?

Став взрослым, вроде бы легко разумеешь, что театр нельзя ставить напротив отца, что и живой человек и золотой дворец неповторимы, но одинаковая ли эта неповторимость — кто скажет... Нет, нет, только кажется, будто, став взрослым, легче жить и разбираться легче в разных сложных делах. Детство владеет клинком прямоты и справедливой однозначностью. Нет, я не пожалел театр, а испугался за отца, ругнул маму и облегченно сел на место.

— Фу, как ты меня напугала, — согласилась со мной бабушка, обращаясь к маме.

Она ничего не ответила. Ела завариху, вовсе не замечая еды, наверное, ушла обратно в свой чудесный театр, пусть, если ей так там нравится. Она устала, моя мама, она развеселилась первый раз за всю войну, пусть побудет еще немного в своей памяти, в золоченом дворце, где показывают балет. Ей недолго радоваться, минута, и она вернется назад.

Мама встряхнулась, возвратилась из воспоминаний и сказала, глядя на меня:

— Пойдем в библиотеку вместе. Хочу увидеть замечательную артистку. — И прибавила, помолчав: — Может, это она танцевала тогда, давным-давно?

Я читал свою толстую книгу очень долго — месяц или полтора.

Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. Иногда казалось, что война идет всегда, что

отец целую вечность на фронте. Не верилось только в одно — что это будет бесконечно. Надежда и ожидание — единственное, чем жили люди. Все, что происходило сейчас, казалось временным. Но затянувшаяся временность требовала хоть коротких прикосновений к постоянству. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жизни, что это было воспоминание о постоянстве? Может, я хотел подольше задержаться там, на мирной и тихой Волге, представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою? Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? Не помню. Помню, что я был бесконечно счастлив усаживаясь с книгой в руках поближе к печи и натянув — для уюта — старый и уже дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. Счастлив и просветлен.

Книга делала со мной чудо: она говорила со мной разными голосами детей и взрослых, я чувствовал, как подо мной покачивается палуба белоснежного парохода, видел всплески огромных рыб в тяжелых струях реки, слышал металлический грохот якорной цепи и команды капитана, хоть и не морского, речного, а все-таки с трубкой в зубах. Я ощущал прикосновения человеческих ладоней, чувствовал запахи дыма рыбацкого костра, который доносился с берега, слышал мерное чмокание волны о дебаркадер и наслаждался сахаристым вкусом астраханского арбуза. Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, раскрывая безмерные дали и вознося в облачные небеса.

Я теперь хорошо понимал маму, взрыв ее негодования, ведь у нее был свой мир ей только одной представимого прошлого. Она видела театр наяву, а я любил то, чего даже не видел, и это невиданное мною было прекрасно и удивительно.

Через десять дней я пошел в библиотеку, чтобы продлить срок своего чтения. Мама задерживалась в госпитале — то дежурство, то пригнали новый эшелон с ранеными, и тут уж она возвращалась поздним вечером, таким поздним, что я не выдерживал и засыпал, не дождавшись, когда она прижмется ко мне своей холодной, с мороза, щекой. Словом, на десятый день я отправился один в довоенный табачный магазинчик, который теперь оказался местом не менее замечательным: детской библиотекой!

Я всячески раздувал в себе праздничное настроение, даже немножко потрубил в охотничий рог, про себя, разумеется, и двадцатый раз мысленно пропетировал слова, которые я скажу старушке библиотечарю, бывшей, так сказать, графине, а ныне заслуженной артистке республики. Неудобно же в конце концов настоящей балерине говорить какие пошло пустячные слова.

Итак, я вхожу, снимаю шапку, пусть там даже мороз трескучий стоит, и говорю:

— Здравствуйте, Татьяна Львовна, я прошу продлить книгу Бориса Житкова «Что я видел» на десять дней, моя фамилия такая-то, читательский номер одна тысяча тринадцать!

О-о-ох! Я остановился, как будто врезался в стену. Меня, кажется, даже назад отшатило от такого удара. Что же я за растапа, как же я до сих пор не догадался: ведь в моем читательском номере есть цифра тринадцать! Чертова дюжина!

Как теперь быть? Ведь это же, это же... И я твердо решил — значит, так, сперва поздороваюсь, потом попрошу сменить номер.

Но это оказалось не так-то просто. Во-первых, народу в библиотеке собралось довольно много. С одной стороны помещения был прилавок для

младших, с другой — для старших, и старушка перебегала от прилавка к прилавку, едва поспевая записать книги.

Пришлось ждать. Но я так и не дождался. Народ приходил, уходил, а чтобы я остался один на один со старушкой, не получалось. Тогда я решил: будь что будет. Скажу при всех.

Не вышло у меня культурно, нет. Даже по имени-отчеству я ее не назвал, ведь я поздоровался, когда входил, а здороваться второй раз, да еще так вежливо, — явный подхалимаж, все, кто в библиотеке, сразу подумают, будто я хочу какую-нибудь особенную книжечку, и мне пришлось пробормотать что-то вроде этого:

— Мнепродлительчоявидел.

Прощамкал, как старик, будто кашу пожевал. Вышло очень невнятно, но старушка не переспросила, несмотря на завязанную шапку, быстрым и хитрым взглядом кольнула меня, вытащила бумажки, отметила в них что-то и вопросительно посмотрела на меня.

— Что еще?

— Мер лязя менить? — проговорил я, глотая почему-то начала слов и кляня свой деревянный язык.

Старушка, точно ворона, как-то боком поглядела в мою карточку, перевела непонимающий взгляд на меня, потом снова качнула голову к бумажке и вдруг довольно громко, так, что было слышно всем, сказала:

— Но ведь твой номер — одна тысяча тринадцать. А не тринадцать!

Народ, конечно, заржал, сначала тихо и неуверенно, потом посмелее.

— А еще книжки читает! — пропищала за спиной какая-то девчонка, видать, жуткая кляуза и подхалимка.

Но Татьяна Львовна будто не услышала этих слов.

— Номера тринадцать, — сказала она еще серьезнее, — в нашей картотеке нет! Я его своими руками выбрсила! Понимаешь? И твой номер — одна тысяча тринадцать.

Я весь взмок от этих переговоров, хотя каждое слово вылетало изо рта вместе с паром: такая холодина здесь стояла.

— А ты не боишься чертовой дюжины? — Татьяна Львовна подняла голову повыше, глядела из-под очков куда-то за мою спину.

Там возникло замешательство, опять послышался смех, только уже нестройный, неуверенный.

— Не боюсь, — лживым голосом ответил все тот же девчоночий голос, но я и сейчас не обернулся — плевать на эту врушу.

— Молодец! — сказала Татьяна Львовна. — А вот он, — она кивнула в мою сторону, — боится. Так зачем ему мешать?

За спиной засмеялись поувереннее.

— Ни мешать, ни помогать ему не надо, — сказала старушка. — Он сам решит, как быть, понимаешь? — И она проговорила еще одну фразу: — Человек сам освобождается от страха.

Но ее слышал только один я. Все остальные смеялись. Довольно дружно над тем, что она сказала раньше. И громче всех повизгивал девчачий голос.

Я повернулся и вышел, забыв попрощаться.

«Идиоты!» — ругал я про себя эту смешливую публику в библиотеке. Да я уверен, каждый из вас цифры тринадцать, как черта, боится, недаром чертова дюжина, каждый ждет не дождется, чтобы быстрой тринадцатое число прошло, да и вообще! А тут все хихикают, расхрабрились.

Эх, люди, неискренний народ. В толпе-то небось

веселые, а пусти вон черную кошку через дорогу, остановитесь как вкопанные, писанные храбрецы!

Но что-то мне, кроме этих издевательств, еще мешало. Что-то было не так в библиотеке, как в прошлый раз, что-то переменялось.

Бывает же: человеку втемяшится в голову какая-нибудь форменная ерунда — добро бы что-то серьезное — нет, чепуха какая-то, нечто неопределенное, неясное, может, даже пустое, и он всю ночь ворочается, уснуть не может или ходит неделю словно аршин проглотил, никак в себя не придет — хочет вспомнить, понять, да ничего как назло не получается.

Я дошел до одного угла сам не свой, до другого: нет, не могу. Остановился, чтобы прохожие чего лишнего не подумали, развернулся и назад к библиотеке — ничего особенного, тот народ уже весь разбежался, теперь другие собрались, а Татьяна Львовна?.. Да я взгляну туда в окно! Хорошо, что оно широкое, ведь магазинное.

Я сразу нашел, что искал. Действительно, изменилось. Сама старушка. Все та же шапка и то же пальто, только на нем нет пушистого серого воротника, и Татьяна Львовна в самом деле походит на ворону с голым, ошипанным горлом.

Ясно. Забыла дома или сняла. Не дай бог потеряла. Но вид совсем другой. Она стала строже и чуточку печальнее.

Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, ступить и то некуда, а иногда совершенно пуста — может быть, даже целыми часами? Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, Татьяна Львовна была совершенно одна и подметала веником пол между прилавками.

Забавное знакомство получилось у поклонницы балета с заслуженной артисткой. Мама выхватила у старушки веник и принялась умело им орудовать, отчитывая Татьяну Львовну:

— Что же это вы, а? Или девочки к вам сюда не ходят? Заставили бы! Попросили! Сейчас белоручек нет! И библиотека для них! Должны помочь!

Она взглянула на библиотекаршу, только когда разогнулась.

— Ой, а холодина-то! — Мама набрала в себя побольше воздуха и выдохнула длинную струю пара. — Как вы только работаете?

— А вот так, — сказала весело Татьяна Львовна и приставила одну ступню к другой, как в балете, — получилась буква «Т». Только на ногах у нее были не тапочки, а огромные, с мужской ноги, валенки в калошах.

Мама всплеснула руками, залилась колокольчиком, будто девчонка, и быстро, со значением взглянула на меня: мол, помнишь? А сама снова шумела:

— Но пальтишко-то ведь не греет?

Татьяна Львовна скользнула рукой за полу своего нарядного пальто, пошуршала там, отстегивая застежки, и движением, конечно же, артистическим, царским таким жестом, распахнула его, как плащ или там какую-нибудь накидку. Делала она все это очень серьезно: будто ее патруль остановил и проверяет, и из-за этой серьезности мы расхохотались вдвое веселее, когда под бархатом оказалась обыкновенная телогрейка, да еще подпоясанная блестящим ремешком.

Между тем я все-таки заметил, что на этот раз у Татьяны Львовны наряд опять неполный. Кроме воротника, исчезла пелерина.

— А вы что, — задиристо спросила старушка ма-

му, — из исполкома? Или просто так, сестра милосердия?

Мама не на шутку смутилась. Только что отчитывала библиотекаршу, пусть и шуточно, а тут заволновалась, даже заикаться стала.

— Да нет... Я родительница... Вот этого мальчика.

— Одна тысяча тринадцать. Коля... Коля...

Я подсказал фамилию. Пока Татьяна Львовна искала мою карточку, мама очень волновалась. Она, когда очень волнуется, всегда щелкает пальцами на руках.

— Не делайте этого, — неожиданно сказала Татьяна Львовна, не поднимая головы и продолжая писать. — Это вредно для суставов.

— Да! — Мама смутилась еще больше и, видно, передумала сказать то, что хотела. — Но так все же нельзя, — вернулась она к старой теме, в которой чувствовала себя увереннее. — Мы с Колей привезем вам немножко дров, уж не обижайтесь, что мало, несколько поленьев, и все-таки!

— Ой! — обрадовалась Татьяна Львовна. — Как я благодарна. Вы знаете, ведь меня обокрали! — Мама сделала испуганное лицо, но старушка замотала головой. — Нет, нет, не думайте ничего плохого, просто исполком привез мне дрова, их распилили, раскололи, все честь честью. Но я их оставила на улице. Во дворе. К утру ничего не осталось, понимаете? И больше пока не дают! А чернила замерзают. Видите, пишу карандашом?

— Что — чернила! Вы же тут целый день. Простынете!

— А дети? А книги?

Мама улыбнулась.

— Дети придут и уйдут, а книги не замерзнут.

— Да вы что! — вскричала Татьяна Львовна. — Книги страдают не меньше людей. Только сказать не могут, поверьте. Клей в корешках рассыпается, бумага пухнет, совсем как человек от голода, — ведь осенью здесь было сыро. И вообще! Как человек виноват перед ними! Мы в Ленинграде топили книгами печки, сердце кровью обливается, а что делать — ни еду сварить, ни согреться. Вот я и решила тут: в библиотеку, и непременно детскую, вы понимаете?

— А как же балет? — не выдержала мама.

— Тс-с! — Старушка смешно скорчила лицо, будто ей кисло стало. — Не надо, не надо, откуда вы узнали, сейчас не до него, и потом я стара!

Последние слова она произнесла, округлив глаза.

— В тридцатом, — сказала мама, волнуясь, но уже не щелкая пальцами, — я смотрела в Маринке «Щелкунчик»!

— Нет, нет, — замахала руками Татьяна Львовна, — я уже не танцевала и прошу вас — ни слова, ни слова! Не трогайте меня!

Мама извинилась, мы бочком отошли к двери. Татьяна Львовна сидела, нахохлившись, опустив голову в большой шапке, и не смотрела на нас.

— Обиделась, — сказала мама, когда мы вышли на улицу, и вздохнула. — А за что? Что я такого спросила? Сказала?

Кому она говорила? Мне? Но что я мог ей ответить, чем успокоить. Я ведь и сам не разобрался, за что вдруг обиделась Татьяна Львовна. Артур мне сказал, что тайны тут никакой нет, стоило ли вешать голову?

Нелегко понять этих взрослых! То смеются, шутят, а то сердятся без всякой причины.

А мама все вздыхала. Молчала и вздыхала.

Мы вернулись домой, мама сняла с гвоздя мои

санки — они висели на стене, чтобы не занимать лишнее место, — и мы принялись укладывать на них дрова.

— Бабушке не говори, — попросила мама. Бабушка куда-то ушла, сейчас не помню, одним словом, ее не было дома.

— Что ей, жалко? — спросил я. Ясное дело, бабушка бы не стала возражать, узнай, куда мы хотим отвезти санки дров из нашего не очень-то значительного запаса.

Мама промолчала, и, как всегда бывает, когда люди хотят что-нибудь утаить, сразу за калиткой мы столкнулись с бабушкой.

Мама неловко, стараясь не глядеть на нее, объяснила, куда и зачем мы собрались.

— Охо-хо! — вздохнула бабушка. — Без дров-то она еще сдюжит, а вот без еды...

— Сейчас все плохо живут, — ответила мама, думая, что бабушка это просто так говорит, вообще.

Бабушка хмыкнула.

— Все-то все, — ответила она, — да я вот сегодня поутру на рынке была. Вижу — библиотекаря свою перелину продает. Продала. Может, дезочке какой на юбчонку, может, еще на что — взяла одна колхозница.

— Выходит, с себя продает? — спросила мама.

— То-то и оно, — сказала бабушка.

И тут сообразил я.

— А помнишь, — спросил я бабушку, — еще воротник был? Так его нет.

— И воротник, значит. Скоро совсем разденется.

Она покачала головой, повздыхали обе.

— А может быть... — начала бабушка, но мама ее перебила:

— Нет, нет! Не примет. — И вздохнула. — Балерина ведь! Артистка! Гордая! И так обиделась, не знаю, за что.

Бабушка ушла домой, а мы, подгоняя друг друга, покатали санки к библиотеке, опасаясь, как бы она не закрылась.

Уже стемнело, фонари не горели по правилам военного времени, и только рассеянный свет снега помогал различить дорогу, окруженную черными силуэтами домов, в которых люди аккуратно соблюдали светомаскировку.

Окна в библиотеке тоже были черны, и я уже принялся ругать себя и маму за ненужную торопливость, но мама дернула ручку, и нас ослепил яркий свет.

— Скорее, — услышал я знакомый голос.

Но легко сказать, труднее сделать. Мы завозились в дверях, втаскивая санки, они за что-то зацепились, пришлось побарахтаться, а когда дверь за нами закрылась, мама решила необходимым объяснить:

— У нас светомаскировка не строгая, мы же в тылу.

Но Татьяна Львовна будто не слышала. Она стояла, опершись рукой о прилавок с книгами, одну половину ее лица скрывала густая тень от керосиновой лампы, вторая казалась очень желтой, пергаментной, иссеченной множеством неглубоких морщинок, и глаз — вспыхивал, подсвеченный сбоку, серого, даже стального цвета глаз, — другой только изредка мерцал во тьме.

Она точно и не прощалась с нами, а ждала нашего возвращения и приготовилась продолжить прерванный разговор.

— Хотите, — спросила она, едва мы втащили санки, — я прочту вам стихи?

Мы остановились — мама в старом бабушкином платке и довоенном драповом пальтишке и я в желтой шубейке с леопардовыми пятнами, получен-

ной по ордеру. Признаться честно, нам было не до стихов, потому что я еще не доучил уроки, а у мамы неспорный домашний забот, но мы будто по команде повернулись к старушке: уж очень необычный, даже, пожалуй, торжественный был у нее вид. К тому же пламя керосинки, отражаясь в полированных стенах, множилось десятками светящихся пятен — все это походило на какое-то таинственное священнодействие на молитву или на какой-то концерт, куда приглашены всего двое — мама и я.

В тиши, пронизанной клубками света, голос Татьяны Львовны вначале показался мне несколько скрипучим и чужим, но тут же я забыл об этом, потому что стихотворение завораживало неизвестными мне словами и жизнью, которая совсем не походила на мою.

Из рая детского житья

Вы мне привет прощальный шлете,

Неизменившие друзья

В потертом, красном переплете.

Чуть легкий выучен урок,

Бегу тотчас же к вам, бывало.

— Уж поздно! — Мама, десять строк!..

Но, к счастью, мама забывала.

Дрожат на люстрах огоньки...

Как хорошо за книгой дома!

Под Грига, Шумана, Кюи

Я узнавала судьбы Тома.

Темнеет... В воздухе свежо...

Там в счастье с Бэки полон веры.

Вот с факелом индеец Джо

Блуждает в сумраке пещеры...

Кладбище... Вещий крик совы...

[Мне страшно!] Вот летит чрез кочки

Приемыш чопорной вдовы,

Как Диоген, живущий в бочке.

Светлее солнца тронный зал,

Над стройным мальчиком — корона...

Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:

«Позвольте, я наследник трона!»

Ушел во тьму, кто в ней возник.

Британии печальны судьбы...

— О, почему средь красных книг

Опять за лампой не уснуть бы!

О, золотые времена,

Где взор смелей и сердце чище!

О, золотые имена:

Гек Финн, Том Соьер, Принц и Нищий!

Читать стихотворение Татьяна Львовна начала строго и торжественно, но, закончив, улыбнулась, и хотя я многое не понял, от сердца отлегло, а мама захлопала в ладоши.

— Bravo! — шепотом воскликнула она. — Bravo!

— Ну чего ж вы стоите? — проговорила старушка и сразу превратилась из таинственной и величавой в обыкновенную, похожую на ворону с голой шеей, библиотекаршу.

Мы восторжничали, я развязывал бечевку, которая стягивала поленья, чтобы они не свалились с санок, а мама принялась таскать их в маленькую каморку — она, как оказалось, была за полированную стеной. Там находилась и топка.

Мы сложили дрова, и мама заторопилась.

— Да, да, — сказала Татьяна Львовна, — мне тоже пора, а вы не обижайтесь, милая. — Она глядела на маму задумчиво и серьезно. — Понимаете, это такая профессия, что, уходя со сцены, как бы умираешь. Все в прошлом. А жить одними воспоминаниями — несусветная мука! Вот я и не хочу! Не хочу!

— Не волнуйтесь,— сказала мама и погладила ее по руке.— И простите.

— А где вы узнали про меня?— вдруг спохватилась Татьяна Львовна.— В старой энциклопедии?

Мама быстро кивнула. Молодец, находчивая.

— Я тоже читал,— соврал я поспешно не моргнув глазом.

— Ах, как все это далеко!— рассмеялась Татьяна Львовна.— А мы с вами в другой жизни. Война, холод, детские книги. Да, здесь не сцена, а— правда.

— Зачем нам,— проговорила мама, опустив голову,— такая правда?

— Ее не выбирают,— ответила старушка и прибавила:— Не унывай, все еще будет, и театр, и занавес, и музыка.

И она, точно маленькую, погладила маму по голове.

И вдруг библиотека закрылась.

Я заметил это не сразу, а лишь когда закончил читать свою лохматую книгу. Надо сказать, я ее не без помощи бабушки, конечно, слегка починил, поэтому, закончив читать ее раньше срока, дня два я еще истратил на ремонт: мы подклеили отпавшие листы, обернули книгу в газету, а сверху приделали кусочек чистой бумаги с красиво обрезанными углами, по краям которого я прочертил по линейке цветной рант, а в середину вписал имя автора и название.

Когда все было готово и для верности бабушка прошла по новой обложке горячим утюгом, чтобы было глаже и красивее, я отправился в библиотеку.

На дверях висел замок, а за стеклом большого окна, приклеенная с той стороны, белела записка: «Библиотека временно закрыта».

Я вернулся домой и тут же обнаружил: мне нечем заняться. Книга отнимала все мое свободное время, и я уже отвык без дела болтаться на улице.

Я потоптался по комнате, заглянул к бабушке за загородку, где она постукивала кастрюлями, полистал еще раз «Что я видел» и, помаявшись, присел у этажерки. Книги, которые были у нас, читал до войны отец, кажется, к ним не прикасались с тех пор, если не считать, что бабушка елозила по ним раз в неделю влажной тряпкой.

Я вытащил их, принялся перелистывать, но все они были учебниками с непонятными чертежами. Лишь одна показалась мне необыкновенной. Прежде всего своей толщиной. Таких толстых книг я еще не видел, и можно только удивляться этому обстоятельству— ведь она лежала тут, в моем доме, прямо под носом. Один ее корешок мог бы быть обложкой для целой книги, и весила она— ого!— наверное, несколько килограммов. Второе, что понравилось мне,— название. Может, этот роман и для взрослых, но явно, что про сокровища, ведь книга называлась «Капитал».

Я выложил ее на стол— сидеть с ней у печки было неудобно,— накинул на себя платок и открыл первую страницу.

Медленно, возвращаясь не один раз к началу каждого предложения, я прочитал первую страницу и ничего не понял. Однако эта непонятность успокаивала и, кажется, согревала. Я задумался, потом облокотился на книгу и незаметно уснул.

Проснулся я от взгляда. Напротив меня сидела мама, прямо в пальто, глядела на меня, а у самой из глаз слезы капали.

Я снова перепугался, спросонья еще больше, воскликнул:

— Что еще!

— Ничего, ничего,— успокоила меня мама, вытирая слезы,— вот гляжу на тебя и плачу, маленький ты мой. Чего читаешь-то?

Больше всего я не любил, когда меня называли маленьким. Или считали таким.

— Про сокровища!— строго ответил я.

Мама подошла ко мне, поцеловала в макушку, мягко отняла книгу и поставила на этажерку.

— Это читать тебе еще рано,— сказала она, стараясь говорить небылочно.— А вот то, что у нас книг дома нет, просто стыдно.

Пришла бабушка— в фартуке, с закатанными рукавами, сложила руки на груди, спросила, вдохнов:

— Где же их теперь возьмешь? Пока пусть ходит в библиотеку.

Чего они так всполошились, я не понял. Сказал, что, наверное, Татьяна Львовна заболела, библиотека на замке, надо будет спросить Артура.

Но назавтра Артура я не увидел. Переменки две просто разыскивал его, на третью подошел к первой встречной четверокласснице и спросил, где он. Я всегда предпочитал говорить с девчонками, если что-то хотел узнать: они отвечали всерьез, а мальчишки ввали напропалую или дурачились— выспросит такой сперва, что да почему, а потом скажет, не знаю, мол, слыхом не слыхивал. Только время потраتيش. В общем, выяснилось, что Артур болен.

— И, кажется, тяжело,— добавила девчонка.

Я задумался.

— А тебе он сам нужен,— девчонка и не собиравшись отходить,— или его бабушка?

— Хочу узнать, почему библиотека закрыта,— ответил я.

— Вот видишь,— укоризненно проговорила пионерка,— читать, так всем охота, а чтобы помочь, еще уговаривать надо.

Ничего я понять не мог. Спросил про Артура, а меня тут же корить начинают.

— Ты из какого класса?— не отставала девчонка.

Я ответил.

— А!— махнула она рукой.— Не подойдешь!

— Ты чего,— попробовал я обижаться, но она побежала по коридору и скрылась за дверью.

Однако это было только начало.

Сразу после перемены Анна Николаевна задала вопрос:

— Кто записался в библиотеку?

Руки подняли все.

— Чего читаешь-то?— тихо спросил я Вовку.

— «Маленький Мук»,— ответил он.

Я слышал эту сказку по радио и сразу засмеялся, сказав Крошкину, что Маленький Мук это он и есть. Вовка принялся сталкивать меня с парты, мы запыхтели.

— Да что это такое, все у вас миру нет,— не возмущалась, а удивилась Анна Николаевна. Очень ловко она умела стыдить.— Значит, Татьяну Львовну все знаете?— спросила она.

Класс радостно загалдел.

— И знаете, что библиотека закрыта?

Это знали не все.

— У Татьяны Львовны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для библиотеки привезут дрова. И она прислала записку. Просит помочь их убрать, потому что в прошлый раз дрова растащили.

Анна Николаевна ни к чему не призывала, ничего не требовала. Она просто смотрела на нас, и улыбка все отчетливее проступала на лице. Ее взгляд скользил по рядам, и, точно следуя пожеланию взгляда учительницы, мы поднимали руки.

— Я не сомневалась,— сказала Анна Николаевна,— но целый класс—это слишком много. Придут ведь и другие. Мальчики, давайте отпустим девочек.

— Ла-адно,— ответил за всех Маленький Мук,— так уж и быть.

Бедняга, он еще не знал, что уже живет с прозвищем.

Когда мы пришли с Анной Николаевной после уроков к библиотеке, там уже гудела целая толпа. На двери по-прежнему висел замок, в окне белела записка. Дров не было.

Тогда Анна Николаевна повела нас во двор. Там действительно лежали бревна, сброшенные, видать, с машины, как попало.

— Что ж,— сказала Анна Николаевна,— придется подождать. Наверно, сейчас подойдут пильщики.

Мы потоптались полчаса, никого не было. Толпа стала редеть. Среди самых старших я увидел девчонку, с которой разговаривал днем. Четвертый класс оказался, видно, не таким джентльменским, как наш, потому что девчонка очень нервно и все задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными ушами. Немного погодя она подошла к Анне Николаевне и сказала:

— Наши сейчас все в киношку удерут, что-то надо делать!

— Не страшно,— ответила Анна Николаевна,— зато останутся самые честные.

Она сказала это громко, чтобы слышали не только мы, но и все остальные, однако заволновалась.

— Давайте принесем пилы,— сказала девчонка,— я, например, рядом живу.

— Кто же пилить будет? — спросила все так же громко Анна Николаевна.

Заорали почти все мальчишки.

— И топоры принесем,— пообещал кто-то.

— А вот это не надо! — сказала Анна Николаевна. — Это пусть сделают взрослые. Топоры не для вас.

В общем, еще минут через двадцать такой во дворе скрип поднялся! Наверное, пил пять притащили. А чтобы дело быстрее шло, работать решили изо всех сил, и раз народу много, часто меняться. Один раз я попал в пару с той девчонкой в пушистой шапке. Она все повторяла:

— Вот здорово, правда? Увидел бы Артур! Вот Артур бы увидел!

Будто она для Артура старается. Я ее так и спросил. Она покраснела, словно из бани выскочила. Сказала мне довольно оскорбительно:

— А я тебя днем за серьезного человека приняла!

Я хмыкнул. Знаем мы такие разговорчики.

— Хотела даже пригласить в актив.

— Куда? — удивился я.

— В актив библиотеки.

Я умолк, размышляя. Что это еще такое? Выдумают же! Мне в общем-то нравилось, как себя вела эта девчонка — горячилась, пилу притащила, шапку на лоб подтягивала. Может, она в Артура влюбилась, вот и лезет из кожи вон.

— У вас там небось одни девчонки? — сказал я ей.

Она опять покраснела. Но разговаривать с ней все равно тяжело.

— Мы ремонтируем книги, приклеиваем кармашки, заполняем карточки, и у нас не одни девчонки, а вот ты, видать, из тех, кто на книгах всякие глупости пишет, да еще и рвет их! — выпалила она одним духом.

Я! Рву? Пишу глупости? Мне хотелось ответить ей, чтоб слышал весь двор. Да и! Да что она понимает?

Но тут на меня тихо накатила дурацкая обидчивость, я взглянул на девчонку с презрением,фыркнул и отошел в сторону.

Немного погодя во дворе появился крепкий, крижистый старик, оказалось, дед той девчонки, помогавший головой, поговорил с Анной Николаевной, исчез, потом вернулся снова, но уже с колуном и начал рубить дрова, да так, что только треск стоял. Ясное дело, энергичная девчонка, у которой вдруг обнаружилось имя — Светка, стала всеми командовать, всех организовывать и гонять. Но ведь все это было глупо, Татьяна Львовна рассказала нам с мамой, что ей уже привозили дрова, даже распилили и раскололи, а их взяли, да и уперли. Так что надо складывать не у стенок, а под замок, может, даже прямо в библиотеку.

Я подошел к Анне Николаевне и сказал про это, но поблизости, как назло, оказалась Светка.

— Дрова? — заверещала она. — В библиотеку? Ты соображаешь?

И все стали смеяться надо мной. Старик, правда, не слышал, и Анна Николаевна промолчала.

В общем, мы делали пустую работу, подарок жуликам, и немного погодя я опять сказал об этом Анне Николаевне. Теперь Светки не было поблизости, слава богу. Но учительница позвала ее.

— Ты знаешь, где живет Артур? — спросила Анна Николаевна.

Эта Светка все знала.

— Сходи и спроси Татьяну Львовну: что делать с дровами?

Светка исчезла. А через пятнадцать минут во двор ворвалась Татьяна Львовна. Я не сразу ее узнал. То есть шапку я узнал, но все остальное... Она была в одной телогрейке, без своего великолепного пальто.

— Мои золотые! — закричала она еще издали. — Мои бриллиантовые! Спасибо! Анна Николаевна, голубушка! Благодарствую вас!

Она запыхалась, едва перевела дух и, разобравшись в обстановке, велела нести дрова в комнатушку, где топка, и складывать возле стен.

— Как же? — удивилась Анна Николаевна.

— Украдут, украдут! — кричала Татьяна Львовна. — Этого нельзя допустить! Дети и книги не должны мерзнуть!

Мы принялись таскать поленья, возводя из них поленицу сперва в закутке, а потом прямо в библиотеке, возле стен. Татьяна Львовна и Анна Николаевна порывались работать с нами, но мы зароптали, и старик, Светкин дед, нас поддержал.

Мы входили и выходили, учительница и библиотекарь говорили между собой, и я слышал только обрывки их разговоров. Из них выяснилось, что Артуру уже лучше и Светка осталась возле него, пока Татьяна Львовна побежала сюда, и что в Ленинграде по-прежнему тяжело, хотя блокада прорвана и письма ходят теперь чаще.

— Те из них, которые не погибают, доходят, — сказала Татьяна Львовна. Я прислушался.

— Кто не погибает? — спросила, не поняв, Анна Николаевна.

— Письма. В грузовики с почтой кидают бомбы, думают, что там люди. И многие письма не доходят. Поэтому надо писать чаще. И повторять содержание. Из двух писем одно должно дойти.

Она вздохнула.

— Как там ваши? — спросила Анна Николаевна.

— Дочь перенесла дистрофию, но сейчас как будто поправляется, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, — ответила Татьяна Львовна, и я едва не рассмеялся. Выходит, она все-таки верит в приметы.

Может, и цифру тринадцать на самом деле выбросила из карточек?

— Татьяна Львовна! — попросила Анна Николаевна. — Наверное, сейчас вам трудно. Но когда снимут блокаду... Обещайте! Рассказать моим ребятам про Ленинград!

— Ох, но ведь надо подготовиться! — испугалась Татьяна Львовна.

— Вам? Готовиться? — засмеялась учительница. — Вы же там родились! Выросли! Стали знаменитой! — И старой! — сказала Татьяна Львовна.

Обо всем они говорили, о разных разностях, только Анна Николаевна не замечала самого главного — вида. Ее вида. А мне бархатное пальто не давало покоя. Неужто все-таки продала?

Я дождался, когда они умолкли, любовно разглядывая нас, таскающих поленья, подошел к ним и спросил. Наконец-то спросил, внятно и ясно, не глотая и не комкая слова:

— А где же ваше замечательное пальто, Татьяна Львовна?

— Я укрыла им Артура, — сказала она, — у него ведь жар. — Потом рассмеялась, обращаясь уже к учительнице. — И знаете, — сказала она ей слова, явно не предназначенные для моих ушей, — в одной телогрейке я себя чувствую, точно в театральном костюме, понимаете? Будто я не вполне одета!

И тут Татьяна Львовна сделала несколько маленьких шажков вперед, ловко вскинула ногу и повернулась вокруг себя в валенках с калошами. И поставила одну ступню к другой, как в балете. А еще она грациозно подняла вверх руку.

Анна Николаевна зааплодировала. А мы засмеялись.

Вот это балет, подумал я. Балерина в телогрейке и ободранной шапке с черным бантом под подбородком. Но балерину это ничуть не смутило.

Она сделала шагок назад и низко поклонилась.

Все дрова мы все-таки не распилили. Вошел Светкин дед и сказал: раз, дескать, так, то лучше остальные бревна не трогать, оставить целиком, бревно-то, пожалуй, не утащат, а в воскресенье эту работу завершить. Пусть бы, правда, еще родители подошли, может, есть какие мужчины, на колку дров, остальные ребята сделают, мол, все какие молодцы.

Татьяна Львовна снова заволновалась, закричала:

— Серебряные мои! Золотые! Бриллиантовые!

И объявила — вот молодчина! — все, кто работал, могут взять книжки домой, если, конечно, хотят. Даже по две.

— Даже, — спросил я, — если ты еще не принес?

— Даже! — сказала Татьяна Львовна и вдруг при всех пожала мне руку. — Спасибо, Коля, одна тысяча тринадцать. А какая у тебя замечательная мама! А какая прекрасная бабушка!

Я весь взмок от стыда. Будто что упер, надо же! А Татьяна Львовна, снова обращаясь ко мне одному, произнесла:

— Я приглашаю вас всех в актив нашей библиотеки. — И опять засмеялась. — Да вы уже и так мой актив!

Непривычное это словечко вначале внушало мне холодок и опаску. Необъяснимо для самого себя я предпочел бы другое, более простое слово или слова, не такие взрослые и строгие и, сам ни за что не хотел поначалу пользоваться им, всячески ухищряясь при этом. «Пора в библиотеку», — говорил я, к примеру, бабушке. «Пойду, поклею». Или просто: «Я к Татьяне Львовне». И бабушка уже знала, что я иду не просто обменять книгу, а помогать, что я задержу

суть не по детской неумелости правильно тратить свое время, а для полезного дела.

Бабушкина душа ликовала, когда я отправлялся в библиотеку. Она обожала мои превращения в тихую мышь.

Что это значило, спросите вы. Только одно: вечный страх за меня и отчаянная боязнь, что я могу попасть в дурную компанию, шляться по городу с утра до вечера, курить в подворотнях, а то, не дай бог, и воровать по наущению старших предводителей.

Ради справедливости надо заметить, что бабушкины опасения не были лишены оснований. Город в годы войны невидимо для глаза делился на участки, которые как бы принадлежали мальчишеским компаниям. Во двор или даже квартал, где была, к примеру, многочисленная и дружная шайка или сильный пахан, заходить было просто опасно и не только малолетним, но даже и не очень внушительным взрослым. К такому взрослому подбегали и начинали кланить папироску, а когда взрослый цыкал на них, возмущаясь, изо всех щелей выбирались пацаны постарше и совсем большие, замыкали противника в круг и принимались его «оттягивать». Ну чо, мол, дядя, маленьких обижаешь? Папироски жалко? Дак они ведь не для себя! У них старенькие дедушки без курева дома маются. Взрослый вытаскивал пачку папирос, приноравливался выдать папироску-другую, но специально тренированные малыши подлетали к нему, выхватывали все, и самое лучшее, что мог придумать взрослый, так это молча уйти, а то ведь, как известно, куча муравьев может победить большого жука.

Во всяком случае, я такое ограбление видел однажды собственными глазами, было это среди бела дня, и пожилой дядька с посережшим лицом прошагал мимо и даже зацепил меня локтем, так что меня отшатнуло. Локоть у него был, как бесчувственная оглобля, такой оглоблей можно крепко оглоушить противника, и вообще дядька не походил на трусливого слабака, но все-таки предпочел не связываться с хулиганской оравой. А уж про детей и говорить нечего!

Впрочем, малый народ быстрее взрослых определял границы между кварталами и дворами, между владениями и царствами, безошибочно отыскивая безопасные пути вдоль границ. Самая главная истина этих правил заключалась в следующем: не сокращать пути, не заходить в проходные дворы, в глубь кварталов.

Так что бабушка моя волновалась не напрасно, и главной мечтой ее было, чтобы я сидел дома, а по улице шел рядом с ней или мамой, и если куда уходил, так самое лучшее — в библиотеку, где, ясное дело, ничего плохого произойти не может.

И я жадно пользовался своей маленькой свободкой.

«Пора в библиотеку», — говорил я строго, и бабуля млела от моей серьезности. «Пойду, поклею», — откладывал я в сторону учебники. Или молча одевался и уже на пороге небрежно бросал: «Я к Татьяне Львовне». Неслыханная самостоятельность личности, возведенной в высокий ранг актива.

А в библиотечном закутке, в комнате, дверь в которую волшебным образом распахивалась прямо на полированной стене, хранилась особенная тишина, настоящая на сладковатом запахе старых книг.

Эта тишина казалась мне вкуснейшим блюдом, которое надо смаковать не торопясь, с наслаждением, однако всякая вкуснота требует приправы, например, перца или петрушки, и такой приправой к

блюду пряной тишины был звук щелкающих и рассыпающихся угольев в печке и приглушенный голос Татьяны Львовны за стеной.

На столе в комнатухе лежали драные-передранные книги, и мне надлежало, пользуясь клеем, пачкой папиросной бумаги, чистой тетрадкой, откуда разрешалось отрезать нужные полосы, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом оборачивать книгу в газету, на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией автора.

Одетую мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и я, уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновленный похвалой, свои образцы. Благоговейная тишина и запахи книг и клея оказывали на меня магическое действие. На моем счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои оживали, и не только! Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дому, когда у всякого человека есть множество способов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в тишине закутка, со счастливой охотой, точно играя в поддавки, зримо представляли передо мной яркие, расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев.

Кем я только не был!

И Филиппком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом замечательно и с выражением умел читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я с выражением шпарил все слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. Я улыбаясь — и въявь, и в своем воображении, будучи маленьким Филиппком, — утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке, и вообще поражал присутствующих.

Конечно, я представлял себя царевичем Гвидоном, сыном Салтана, и опять менял действие сказки Пушкина, потому как поступал, на мой взгляд, разумнее: таянув в нос или в щеку сватью бабу Баба-риху, я прилетал к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и доброму Салтану, что к чему в этой затянувшейся истории.

Или я был Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом вершине баррикады. Я отбивал чечетку на каком-то старом табурете, показывая нос врагам, а пули жужжали рядом, и ни одна из них не могла задеть меня, потому что этого не хотел я и меня не убивали, как Гавроша, нет, я отступал вместе с последними коммунарками, прятался в проходных дворах, потом садился на судно, которое шло в Ленинград, а дальше, поездом, ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотеке, точнее в библиотечном закутке, и от меня еще пахло порохом парижских сражений.

Исправляя известные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивленные взгляды, может, еще и рот у меня открывался, кто знает, и слюнка текла, — одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но еще и уходил из этой. И чтобы окружающие не таращились на меня, я предпочитал оставаться совершенно один, как тут, в закутке.

Если бы это всегда удавалось! Но нет, как назло и вечно не вовремя являлась Светка в сопровожде-

нии девчонок, и худшие мои опасения подтверждались: в активе собрались сплошные трещотки женского рода.

Боже, о чем они только не трещали! Про какие-то нитки и пуговицы, про разные способы вышивания, про неизвестных мне девчонок и мальчишек, про сестер и братьев, про старый кинофильм, о котором уже давно все всеми сказано, и про то, на каком жире лучше жарится картошка.

Правда, при этом девицы быстро и аккуратно ремонтировали книжки, но я был уверен, что они с таким же успехом чистили бы на кухне картошку: о прочитанном девчонки не говорили.

Когда Светка тараторила с подругами, подумать о чем-нибудь всерьез мне не удавалось. Единственное, что я мог, так это внимательно разглядывать картинки и вдыхать запахи потрепанных книг. Моя работа как-то сильно замедлялась, и я потихоньку убирался восвояси.

Мне казалось, девчонки приходят сюда посидеть просто так: тут тепло, и мухи не кусают.

Татьяна Львовна заглядывала «за кулисы» в двух случаях: когда библиотека пустовала и когда, напротив, народу было битком. Если в библиотеку набегала ребятня, книжки с прилавков точно ветром сметало — ведь их было не так уж и много, — и тогда Татьяна Львовна выбирала из горы, предназначенной для ремонта, или торопила нас с ремонтом:

— Ну? Готово? Давайте скорей.

Когда народ исчезал, она приходила просто посидеть, попить чаю.

На тумбочке за печкой стояла электроплитка с чайником, и Татьяна Львовна просила девчонок следить, чтобы в чайнике всегда была горячая вода. Ко мне она почему-то никогда не обращалась, не говорила, чтобы я следил за плиткой, и, если я сидел один, сама заходила и выходила время от времени, чтобы включить плитку или выключить ее.

Чай Татьяна Львовна пила гораздо реже, чем включала и выключала плитку. И что это был за чай!

Я не знаю, пил ли кто-нибудь во время войны настоящий, медового цвета, ароматный чай, ведь для этого требовалось много заварки, а ее не хватало, приходилось экономить, и все привыкли к жидкому чайку, но Татьяна Львовна превзошла всех.

Я видел, как она открывала железную баночку, на дне которой лежали чайники, осторожно брала двумя пальцами ничтожную щепотку, а потом принималась сбрасывать крупинки обратно. При этом она оборачивалась к лампочке, смешно поднимала руку и строго поглядывала на щепотку через очки, шевеля губами. Можно было подумать, что она считает чайники. Наконец заварка опускалась в фарфоровый чайник, заливалась водой, водружалась на дюралевый чайник, и Татьяна Львовна выходила.

Выходила — и забывала про свой чай. Через полчаса или минут сорок просовывала голову в закуток и просила:

— Девочки, включите плитку.

Девочки включали, чайник пыхтел, они сообщали Татьяне Львовне, что все готово, но наша старушенция не могла оторваться от своих дел, и мне, грешным делом, начинало казаться, что эта удивительная народная артистка греет чай вовсе не для себя, а для кого-то другого, кого она ждет каждую минуту, но не может дожидаться.

Эта мысль преследовала меня.

Ведь даже когда Татьяна Львовна наливала все-таки себе чай — угощая, конечно, и нас, — лицо ее все не выражало удовольствия, удовлетворения, по-

коя, каким должно быть у человека, отдыхающего за чаем. Напротив, Татьяна Львовна выглядела усталой, какой-то недовольной и вела себя очень нервно — прислушивалась к каждому стуку за стеной, вздрагивала и повторяла: «Ой, кто-то пришел!» Ясное дело, приходили читатели, но за прилавками на время чаепития библиотекарьше обычно сменяла Светка с подружками, и она могла бы сидеть тут спокойно, но Татьяна Львовна нервничала и никак-го удовольствия от чаепития не получала.

Да и никто не получал удовольствия от такого чая — ни я, ни девчонки. К несладкому чаю нас всех приучила военная пора, мы отлично знали, что такое сахарин — большие и подозрительно белые крупинцы, приторно сладкие, даже одной крупинки хватало, чтобы придать вкус стакану чая, и к жидкой заварке мы тоже привыкли, но у Татьяны Львовны получалась просто кипяченая вода, разбавленная почти прозрачной заваркой.

Да и жидкая заварка была половиной беды. Хуже всего, если в библиотеке предлагали морковный чай.

Тут уж Татьяна Львовна не отмеряла щепотки, основательно загружала фарфоровый чайник розовой сушеной морковью, и цвет заварки был плотным, коричневым, но вкус получался отвратительным — горячий жидкий компот или кисель, — отказаться неудобно, и единственное спасение — это чтобы чаек был погорячей. Когда обжигаетесь кипятком, вкус не так противен, а если морщишься, то непонятна причина.

В общем, если народу не было, Татьяна Львовна могла позволить себе посидеть в задней комнате за кружкой чая, забавно вытянув ноги. Попробуй я сидеть так дома, тотчас бы услышал ворчанье бабушки, а в школе бы наверняка схлопотал замечание Анны Николаевны. А тут сидела взрослая женщина, даже старушка.

Выглядело это вот как: голова почти на спинке стула, тело на самом краешке сиденья, а ноги вытянуты вперед, запнуться о них можно. Словом, человек не сидит, а лежит, только не на кровати, а на стуле. Вид очень даже неприличный, особенно на первый взгляд. Правда, Татьяна Львовна, прежде чем растягиваться на стуле, объясняла, что это балетный прием, так быстрее отдыхают ноги, и было бы еще лучше их задрать, желательнее выше головы, например поставить пятки на стол, тогда кровь отливает от ног. Однако задрать пятки выше головы она все-таки не решалась, видно, стеснялась нас. А растянувшись на стуле, сидела очень даже часто, прикрыв глаза, и вот так, с прикрытыми глазами, отхлебывала чай из дюралевой кружки.

Впрочем, всякие мысли о каком-то там неприличии мелькали на одно очень короткое мгновение. Не надо забывать, что Татьяна Львовна совершенно не походила на женщин, которые нас окружали, на наших матерей и бабушек, а потому должна была вести себя иначе, чем они. Одно ее бархатное пальто что значило! Поэтому я моментально согласился с ее привычкой, считая, что она имеет полное право на удивительное позеждение.

Больше того, мне доставляло радость глядеть, как Татьяна Львовна, запахнувшись в свое широкое бархатное пальто, вытягивается на стуле и превращается в кокон нездешней бабочки, у которой к тому же под шапкой торчат черный, всегда тщательно отглаженный бант. Кокоч пьет чай, молчит, кажется, даже спит, и вдруг произносит:

— **Выпьем чаю, о подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка!
Сердцу будет веселей.**

— Татьяна Львовна, — удивляется трещотка Светка, — а ведь про чай там не говорится.

Кокон прихлебывает чай и, похоже, ничего не слышит. Потом читает дальше:

— **Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.**

Неожиданно Татьяна Львовна вскакивает, размахивая широкими рукавами, в одно мгновение превращается из кокона в бабочку и спрашивает:

— Ну? Кто помнит, как дальше? Давайте вместе! Хором. — И дирижирует себе и девчонкам:

— **Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя...
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка!
Сердцу будет веселей!**

Молчу только один я, потому что хоть и слышал это стихотворение по радио, но слов не знаю.

— А что же ты? — спрашивает Татьяна Львовна.

Я заливаюсь краской, униженно чувствуя себя малым по сравнению с этими девчонками, и говорю потупясь:

— Мы Пушкина пока не учили. Только сказки читали.

Татьяна Львовна становится совершенно не похожей на себя. Как только что превратилась она из кокона в бабочку, так и теперь мгновенно превращается из забавной и странной старухи в строгую учительницу, перед взглядом которой чувствуешь себя неуютно.

— Запомни! — говорит она. — Пушкина нельзя учить. Его надо любить. К Пушкину надо спешить. Как на свидание! Понимаешь? И тогда! Тогда...

Я быстро даю себе слово, что больше ни за какие коврижки не приду сюда. Вот уж не ожидал! За что меня стыдить, если мы на самом деле, тьфу ты, если нам на самом деле не задавали это стихотворение Пушкина? И вот, надо же, при девчонках — стыдить меня. За что?

Я опустил голову, прикусив губу: не хватало еще разрезаться тут. А Татьяна Львовна воскликнула:

— Друзья мои! Мой замечательный актив! А давайте-ка мы устроим городской конкурс! Юные тещи Пушкина! Как прекрасно звучит! И как это важно нынче!

Девчонки во главе со Светкой что-то трещали, но я не слушал. Я поднялся и стал натягивать свое пальто, американский подарок.

Я надеялся исчезнуть в суете, раствориться в этом зале, чтобы больше не появляться за закутке с вечно кипящим чайником, но вдруг почувствовал на своем плече руку.

Татьяна Львовна как-то тихо зашла мне за спину, повернула лицом к девчонкам и теперь держала меня за плечо.

В другой руке у нее была толстенная книга в зеленом переплете и золотыми буквами на нем.

— Вот Пушкин, — сказала она изменившимся, дрогнувшим голосом. — У него необыкновенная судьба. Он эвакуирован из Ленинграда. Эвакуировался вместе со мной. — Татьяна Львовна закашлялась, точно поперхнулась. Потом произнесла еще тише: — Пушкин, Лермонтов и Гоголь, три великих писателя. Я не могла представить себя без них. Возьми, Коля, эвакуированного Александра Сергеевича. Почитай с бабушкой и мамой. Лучше всего



вслух. Это собрание сочинений в одном томе. Издание Вольфа. Книга моей юности.

Я протянул руку, но Татьяна Львовна отдала книгу не сразу. Она быстро глянула на меня, улыбка скользнула по ее лицу. Татьяна Львовна передавала мне огромный красивый том так, чтобы я не сразу, а постепенно почувствовал его тяжесть. Я протянул вторую руку, — конечно, я мог держать такую громадную книгу только двумя руками, да и то изо всех сил, — и тогда библиотекарьша наконец отпустила том.

Кажется, я даже покачнулся, и принял Пушкина к себе.

Вышло так, что мы обнялись с великим поэтом. Вернее, это я обнял его.

Конец того вечера получился странно необыкновенным. Потом я даже думал, что мой сон начался еще там, в библиотеке, и что путь домой в совершенно неприличном сопровождении девчонок под предводительством Светки тоже был частью сна. А ведь это я сам попросил девчонок проводить меня,

можно ли выдумать такое? Да, попросил. И они не засмеялись надо мною, наоборот, сразу и вполне серьезно согласились, завернув предварительно замечательную книгу в газету.

Не каждому встречному объяснишь, что это значит, когда ты шагаешь в девчоночьей толпе, в самой ее середине, прижимая к животу огромный сверток — кирпич в газете, слиток золота? — да, как известно, чем меньше ты хочешь, чтобы тебя видели, особенно знакомые, тем больше шансов с кем-нибудь встретиться.

Меня увидел Вовка. Похоже, он шел в библиотеку, из-под мышки у него торчали книги, но, заметив меня, он как настоящий друг побежал рядом со мной и с моей охраной.

— Коль, — крикнул он, — куда это тебя ведут?

— Да нет! — ответил я не очень понятно. — Я сам!

— Врешь! — взволнованно крикнул Вовка и толкнул плечом Светку, пытаясь вырвать меня из окружения.

Но Светка оказалась крепче, чем думал Вовка, и он чуть не упал.

— Врешь! — снова крикнул мой друг, и я, чтобы

урезонить его, чтобы он без всяких разговоров поверил мне, ответил ему самыми серьезными словами, какие слышал из уст паханов возле проходных дворов:

— Падла буду!

На Вовку и правда это подействовало, зато девчачий конвой колыхнулся от возмущения, готовый, кажется, разбежаться, но по Светкиному возгласу тут же сомкнулся вновь.

— И он ходит в библиотеку! — воскликнула она. — И ему дали такого Пушкина!

Я подумал, что девчонки, пожалуй, могут отнять у меня книгу, и крепче прижал ее к себе. Еще чего! Не они давали, не им отнимать! А Вовке сказал:

— Приходи ко мне! Узнаешь!

Я похвалил себя. Хорошая мысль — позвать Вовку. Хотя эти девчонки и шагают рядом со мной, чтобы у меня не отняли Пушкина, ничегошеньки это еще не означает. Они сами по себе, и я сам по себе, а никакой не девчатник. Мало ли что может взбрыст в голову тому же Вовке. Так что пусть придет и сам убедится: они нужны мне только для дела.

Словом, это глупо и неблагодарно, но вместо благодарности я девчонкам нахамил возле своих дверей. Поклонился им и сказал, построив примитивную логическую цепь:

— Спасибо, дорогие янки!

— Какие еще янки? — фыркнула Светка.

— Вы разве не читали? — ехидно проговорил я. — Янки при дворе короля Артура!

Одни девчонки рассмеялись, другие хлопали глазами, не понимая юмора, а Светка покраснела.

— И этому человеку доверили Пушкина! — опять воскликнула она.

Но теперь же восклицание совершенно меня не зделало.

Вовка примчался через десять минут. На моем столе лежал раскрытый Пушкин, поэтому объяснять ничего не пришлось. Такую толстенную книгу Вовка никогда не видал, за это можно было ручаться. Каждому ясно, что главное во всякой книге — слова, но в этой книжище было еще полно картинок, штук сто, не меньше, и я пролистал только треть, внимательно разглядывая животных и лица людей. Когда появился Вовка, мы начали листать том с самого начала. Бабушка куда-то ушла, никто нас не сковывал, не мешал нам вслух восторгаться и охать от страха. Как тут не охнешь, если на картинке, например, мертвец или летают черти и под картинкой написаны такие слова: «Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине...»

— Давай почитаем! — торопился Вовка.

— Досмотрим картинки! — предлагал я, и Вовка охотно соглашался, потому что ведь и картинки, особенно страшные, смотреть интересно.

Слова, напечатанные под картинками, мы читали тут же по очереди. Например, какая-то восточная спальня, женщина в ненашенских одеждах стоит на коленях перед другой, а внизу слова: «И молит: «Сжалься надо мной, не отвергай моих молитий!..»

Мы оба хмыкаем, таких слов нет в нашей жизни — сжалься, молитий, — но торжественные выражения не отталкивают от книги, а, наоборот, притягивают к ней. «Пред бедной девой с невинным взглядом Он холодный потупляет взор». Тут уж, кроме слова «он», мы ни одного слова не употребляем, надо же, как интересно. А еще ангел с мечом в руке перед стариком с клюкой. «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился».

— Ты знаешь, какой это Пушкин? — спросил я Вовку.

— Ясное дело, какой, — с достоинством ответил он. — Александр Сергеевич.

— Эвакуированный, понимаешь? Его библиотекарьша из блокады спасла.

Мой друг откинулся, чтобы, верно, лучше видеть мое лицо, вздохнул с сожалением и постучал по своему лбу. Звук получился громкий и какой-то выразительный.

— Думать надо, — проговорил он, — Пушкина же давно убили. Какой-то фриц, на дуэли.

— Француз, кажется, — попытался поправить я, но Вовка даже не расслышал меня. — Она не Пушкина эвакуировала, а книгу Пушкина. Если бы можно было Пушкина спасти — эге-ге.

— Чего «эге-ге»-то?

— А чего впустую болтать! Он жил давно, мы — теперь. Я вот все удивляюсь, неужто у него корешей настоящих не было? Чтобы тому фрицу отомстить. Взять бы автомат и — тр-р-р. — Вовка дал очередь от живота и долго еще не мог успокоиться, хотя я и твердил ему, что тогда автоматов-то и в помине не было. — Ну ладно, — сказал он, вздохнув, — давай теперь почитаем.

Как мы читали Пушкина! Первый раз — самостоятельно, без руководства взрослых, пусть даже очень хороших и мудрых, как захлебывались мы радостью познания неизвестных доселе слов и чувств — точно подкрались к благодатному источнику, который за чем-то прятали от нас прежде, давая из него лишь по глоточку отфильтрованной влаги, и вот мы пьем без всяких помех, и нам ломит зубы студеность и новизна, и мы полны восторга, еще не умея выразить то, что переполняет нас до самого края, а только слушая себя, свое сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг душу какая-то волна, и как обрывается все внутри, когда волна эта бросает вниз, словно испытывая нашу прочность.

Мы многого не понимали, потому что, как сказала бабушка, это не для нас, но на книгах не пишут: «Детям до 16 лет читать не разрешается», — и мы с Вовкой по очереди декламировали друг другу стихи, удивительно волнуясь, хотя как будто никаких оснований для волнения не было. Мы еще не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что волнуют нас образы и видения, слаемые из слов, и что мы переживаем одно из самых счастливых мгновений, которые даруются человеку.

Прекрасно, когда взрослый советует, что надо прочитать ученику, без этого не обойтись, как не обойтись без помощи родителей, когда человек делает первые шаги. Но как надобно вовремя отступить, дать самостоятельность, если малыш уже твердо ходит, так следует безбоязненно отпустить человека к великим, когда он умеет читать и учиться мыслить. К Пушкину прежде всего.

И не надо бояться, наоборот. Возвышенное, а может, и сложное, прежде чем осознать, надо вначале почувствовать, ощутить. Без спотыканий на незнакомой территории нельзя понять, что это и есть твоя родная земля!

Первым, полистав книгу, прочитал я:

— В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почую безмятежный,

**Пока дохнет веселый день
И двинется ночная тень.**

Вовкин выбор оказался попроще и повеселее. Он нарочно встал и прочитал стихотворение, обращаясь ко мне. Слозно это он мне говорит, а никакой не Пушкин:

**Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смиришь:
День веселья, верь, настанет.**

**Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.**

Тогда, как бы в ответ Вовке, мне досталась «Вакхическая песня». Я громко и с выражением читал эти стихи, и меня не покидало чувство, будто я слышал их.

**— Что смолкнул веселия глас!
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно,
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума!
Да здравствует солнце, да скроется тьма!**

— Здорово,— выдохнул Вовка. И стал лихорадочно листать том, вполголоса прочитывая первые строчки.

А я подумал, что среди незнакомых пушкинских слов все же есть такие, которые ни за какие коврижки просто так не выговоришь. «Юные жены!», «Нежные девы!», «Да здравствуют музы!». Скажи что-нибудь из этого в школе, тебя просто обсмеют, ну и сам ты обхохочешься, если, например, тот же Вовка такое брякнет. Но тут, в пушкинских стихах, нет никаких стыдных и неловких слов, наоборот, эти слова делают человека торжественней, что ли, возвышенней — вот как. Может быть, даже лучше.

— Вот! — воскликнул Вовка и, протянув руку ко мне, прочитал:

**— Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!**

Разве мог бы Вовка взять да и ляпнуть мне такое: «Мой первый друг!» — А тут — сказал.

Это Пушкин Вовке помог, сказал Вовкиным голосом необыкновенные слова.

Я уснул, предварительно выяснив у мамы, что лобзания — это поцелуи, но мой сон оказался продолжением жизни, будто я просто перешел с одной

стороны улицы на другую, вот и все, и слова мне слышались те же, точно я повторял еще раз стихи, которые мы прочитали, как бы соревнуясь друг с другом.

«На звонкое дно, В густое вино Заветные кольца бросайте!» — слышал я, и, как эхо, отзывалось вокруг: дно! вино!

А потом выплывали новые слова, тоже совершенно замечательные: «Душа тобой уязвлена...» Это надо же! Уязвлена!

«В крови горит огонь желанья!», «Что смолкнул веселия глас?»

Мы идем с Вовкой по улице, неподалеку от библиотеки, перебрасываемся, слозно цветными мячами, этими прекрасными выражениями и только торжественно улыбаемся друг другу, но не смеемся — смеяться нельзя, это грех, бесстыдство, над такими словами невозможно смеяться, им можно лишь приветливо улыбаться, как цветам, как уважаемым старшим друзьям, и тут я чувствую чей-то взгляд. Мне не по себе.

Кто-то глядит на меня, очень пристально смотрит, а я, как пришитый к Вовке, не могу отвернуться от него, талдычу: «Да голос мой душе твоей дарует то же утешенье!» Вот так-то, мой первый друг, мой друг бесценный! Но Вовкины глаза округляются, будто фары газогенераторки, он глядит куда-то за мою спину, и я наконец с трудом останавливаюсь и поворачиваю голову.

Боже! Скрестив руки, у стены стоит Пушкин в одном фраке, и на голове ничего нет. А на улице же зима, подывает ветер, снежная крупа сыплется в кудрявые волосы.

Мы с Вовкой замираем, у меня нет сил даже спросить Александра Сергеевича о чем-нибудь очень важном, достойном такого удивительного момента, — я просто таращусь на него, а он усмехается и тоже молчит.

Молчать глупо, знаю я, надо поскорее завязать разговор, чтобы он не обиделся на такое негостеприимство, и я наконец говорю:

— Вам не холодно?

Он не отвечает, но мотает головой: не холодно. Странно, ведь зима.

— Александр Сергеевич, — прошу я, — почитайте стихи.

Но Пушкин отворачивается, недовольно косит на меня глазом.

— Почитайте! — прошу я.

А вокруг между тем собралась целая толпа, все, приблизившись к нам, останавливаются, никто не проходит мимо, и выглядит это не очень здорово, потому что все одеты, все в шубах и шапках, а возле стены раздетый Пушкин, будто его шпана ограбила.

И тогда мне приходит в голову отличная мысль. Я делаю шаг к великому поэту, снимаю с себя шапку и прошу его:

— Наденьте! Вам холодно!

Я готов снять и свою леопардовую шубу, американский подарок детям заснеженной России, но Пушкин делает такой жест рукой, который означает, что ему не нужна ни шапка, ни тем более американская шуба.

— Тогда почитайте! — прошу я, и вся огромная толпа канючит вместе со мной:

— Почитайте стихи, почитайте!

И Пушкин наконец говорит. Нет, нет, он не говорит, он просто шевелит губами, голоса не слышно, но я понимаю, что он вполне язвенно отвечает на просьбу толпы:

— Теперь, — узнаю я по губам, — ваше время.
«Теперь ваше время!»

Но что это значит? Конечно, наше, какое же еще! И на улице зима. И где-то там, далеко от нас, гремят бои. Идет Великая Отечественная война.

И вдруг я слышу Вовкин голос.

Пушкин смотрит, улыбаясь, на моего первого друга, и все поворачиваются к Вовке, а он с выражением, как заслуженный артист республики, читает стихи, которые отыскал еще вчера:

— Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Все хлопают, и Александр Сергеевич тоже, он улыбается Вовке, а тот резко опускает голову, потом плавно поднимает ее и снова будто бросает вниз, я знаю, так кланяются артисты, и вдруг слышу голос Татьяны Львовны у себя под ухом.

— Вот видишь, — говорит она, — а ты хотел его учить.

— Кого? — спрашиваю я недоуменно.

— Пушкина, — отвечает балерина и делает реверанс. Это такой глубокий поклон. Одна нога отставлена вперед, совершенно прямая, а на другой приседают и одновременно кланяются залу.

Но тут кланяются одному мне.

Давным-давно став взрослым и даже седым, я до сих пор совершенно убежден, что Александр Сергеевич Пушкин приходит к людям, искренне любящим его. Не подумайте, что достаточно загадать, достаточно выучить одно стихотворение, достаточно слегка удивиться, прочитав, например, повесть «Гробовщик», и великий поэт тут же, как по щучьему велению, благодарно явится вам во сне. Не такой человек Александр Сергеевич! Он не принимает приглашений и приходит только тогда, когда ты по-настоящему взволнован, когда что-то необыкновенное произошло в твоей жизни — действительно важное, а не какой-то там пустяк. Ну, допустим, твой товарищ без лишних слов доказал, что он не просто товарищ, а настоящий друг. Или, напротив, тот, кого ты считал другом, оказался обыкновенным знакомцем, способным на гадость. Или однажды ты посмотрел на низкое звездное небо, на тихо мерцающее бесконечное полотно и впервые поразился этому необычайному величию, и вдруг сравнил себя с пространствами, которые окружают тебя, и спросил: для чего, зачем я? И есть ли смысл жить, если твоя жизнь похожа на краткую вспышку спички во тьме? И тебе потребовалась помощь, чтобы понять это непонимаемое, тебе стал просто необходим человек, который если и не знает окончательного и точного, как в математике, ответа, то бережет слова, способные утешить. Или ты победил в чем-то важном, в каком-то споре. Или, напротив, в этом споре проиграл. Или задался в первый раз сложным — и простым! — вопросом: что такое честь? совесть? стыд? любовь?

Вот если произошло что-то такое, выходящее за пределы твоей обычной жизни и обыкновенных рассуждений, если в тебе бушует буря или восторг, — вот тогда без всякого приглашения тебя может посетить Пушкин. И вовсе не обязательно, чтобы он сказал хоть что-нибудь, нет. Он может просто появиться. Он может напомнить тебе знакомое слово. Или подать мысль.

Он, наконец, может улыбнуться и этой улыбкой обещать надежду, успокоить, дать понять таким образом, что все образуется, все будет хорошо, не надо торопиться с выводами, не надо спешить выносить приговоры.

А наутро, после встречи, тебе на память вдруг придут хорошие, хоть и не всегда, понятные слова: «И виждь и внешне», например. Или: «Духовной жаждою томим...»

Открой книгу Пушкина, любую, на твой выбор, почитай всего полминуты хорошо знакомые или хорошо забытые строки, и ты поймешь, что ищешь!

Всегда! Всегда!

Самое потрясающее в этой истории то, что Александр Сергеевич явился не ко мне одному, оказывается, но и к Вовке, вот чудо!

Мой первый друг рассказал про свой сон во всех подробностях, но за давностью лет я уже не помню этот рассказ. Хорошо знаю только, что сперва Вовка меня немного разочаровал, потому что у него был совсем другой сон, другая сцена и напрочь отсутствовала Татьяна Львовна. Да ведь главное не это. Главное все-таки, что Пушкин посетил не одного меня. Выходит, он заметил нас обоих. И это совпадение поразило нас настолько, что мы, совершенно не уговариваясь, как бы причислили Александра Сергеевича к богам. Да еще к таким, о существовании которых мы с Вовкой знаем только вдвоем. Хотя ведь все, даже, кажется, младенцы, знают великого поэта.

Отныне, встречаясь, мы с Вовкой вели странные речи, в которых незримо присутствовал Александр Сергеевич. Ну, например, я спрашивал своего друга:

— Как ты вчера до дому довлечился? В обитель дальнюю?

А Вовка отвечал:

— Поздно уже прикандыбал. Почти что пред ясным восходом зари.

Или Вовка спрашивал меня:

— Ну что, бесценный, какие сегодня у нас уроки?

И я отвечал:

— Что пройдет, то будет мило.

Говоря друг другу эти слова, мы, конечно, шутили, но не так чтобы очень. Наши речи скорее походили на какие-то упражнения. На какую-то подготовку, не без улыбки, ясное дело, и все же репетиции наши сулили что-то серьезное. Мы не думали так. Мы только чувствовали. Спроси нас в ту пору со взрослой строгостью в голосе, чего это мы так по-дурацки шутим, мы бы, наверное, смутились и перестали вставлять в свою речь пушкинские слова, но мы ведь переговаривались негромко, едва ли не на ухо говорили друг другу свои замечательные тирады, по крайней мере никому другому знаний своих не демонстрировали.

Лишь однажды Вовка сорвался. Но не сильно. Другие даже не поняли. Кроме Анны Николаевны. Но она ничего не сказала. Только посмотрела очень выразительно.

Дело все в том, что книжищу Пушкина, целое собрание сочинений в одном томе, Татьяна Львовна дала ведь мне без всяких условий. Это была ее личная, а не государственная, не библиотечная книга. И когда я спросил ее раз или два, к какому числу надо вернуть том, она ответила:

— Читай, наслаждайся!

И я наслаждался. Ясное дело, что не один, а с Вовкой.

Самый лучший способ читать Пушкина мы открыли в первый день, скорее всего случайно, но теперь уже и представить не могли, что можно узна-

вать классика русской литературы еще каким-то другим образом. Во всяком случае, читать про себя стихи Пушкина ни мне, ни Вовке не нравилось, и мы делали это вслух, чередуясь, как и первый раз, но теперь уже не вырывали стихотворения то из начала, то из середины, то из конца, а шпарили все подряд. И разучили таким образом много новых слов и замечательных выражений.

Так уж выходило, что слова эти и выражения легко и радостно впитывала наша память, похожая на губку, да ведь еще мы и упражнялись, вставляя в свои речи пушкинские обороты, поэтому Вовку было трудно судить за раскрытие тайны, когда он вдруг сжал кулак и крикнул:

— Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!

Это было в начале последнего урока. Анна Николаевна рассказывала про последние известия с фронта, а Вовка — такая у него была почетная обязанность — передвигал флажки на карте под руководством учительницы.

Наши били фрицев, флажки двигались каждый день, и в тот день скакнули здорово вперед. Вот Вовка и не выдержал.

Все засмеялись его необыкновенным словам — все, кроме меня и Анны Николаевны. Учительница же заглянула Вовке прямо в глаза, а потом долго смотрела ему вслед, пока мой друг шел к парте, усаживался, лез зачем-то в портфель.

— М-мда! — задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы объявила, что у нас в классе состоится конкурс на лучшего юного исполнителя стихотворений Пушкина и что это совпадает с рассказом заведующей детской библиотекой Татьяны Львовны про прекрасный город Ленинград.

О, это был замечательный конкурс!

Впрочем, может быть, это только кажется мне из моей сегодняшней жизни — ведь все, что бывает в детстве, кажется замечательным и неповторимым потом, много лет спустя, но ты уже безвозвратно изгнан временем из далекой и счастливой поры.

Маленький человек всегда норовит поскорее стать взрослым, и это ему удается. Но вернуться назад не дано никому. Только вот память — таинственная и волшебная пряха, протянутая из настоящего в прошлое, золотая нить воспоминаний — способна соединить времена и повернуться лицом назад, лишь одна она...

А память мне подсказывает: да, это был замечательный и небывалый конкурс. Ведь стихи Пушкина читали вслух не только отличники, но и двоечники, не только образцово-показательные девочки, но и самые хулиганистые пацаны, не только те, кто уже успел полюбить Александра Сергеевича, но и те, кто впервые произносил вслух строки великого поэта.

Потому что в пушкинском конкурсе были обязательны участвовать абсолютно все, начиная со второго класса.

Все-все-все!

Правда, это не означало, что каждый ученик каждого класса должен был выучить и прочитать совершенно новое стихотворение. Например, у нас репертуар состоял всего из четырех или пяти, да и то потому, что мы с Вовкой разучили разные стихотворения по толстой книге Татьяны Львовны, да еще Нинка Правдина, как обычно, чем-то необыкновенным удивила. Остальные шпарили одно и то же — «Зимнее утро» — «Пора, красавица, проснись», — зато уж читали все до единого, без исключения.

Татьяна Львовна — незнаваемо изменившаяся, в зеленом, с блестками, платье, к которому был при-

делан какой-то зверек, с глазками, носом и белым мехом, точно совсем живой, надо же, — ходила из класса в класс и, я думаю, из школы в школу и отбирала юные таланты на заключительный тур.

Целый урок она просидела и у нас, неожиданно напугав меня и поразив остальных, захопала сначала мне за «Ариона» — «Нас было много на челне», — а потом Вовке за стихотворение, которое начинается словами: «Роняет лес багряный свой убор». Конечно, мы целую неделю учили их, проверяя друг дружку, старались произносить слова с выражением, будто мы из театра, но, как я понимаю теперь, обрадовали Татьяну Львовну не исполнением, а тем, что выучили стихи, которые не проходили в нашем классе.

Наверное, за старание мы попали на общешкольный конкурс, но уж дальше Татьяна Львовна ценила только искусство. Тоже, правда, со странностями.

Лучше всех стихи прочитал ее родной внук Артур, но премию дали не ему, а этой зануде Светке. Надо же, а я думал, она об одних пустяках трещать может, о пуговицах и нитках, о мальчишках и девочках и о том, на каком жире лучше жарить картошку.

Светка получила приз, если память не изменяет, альбом для рисования, была командирована дальше, на городские состязания юных чтецов Пушкина, но там провалилась, а чемпионом стал какой-то большой пацан из чужой школы, которого я так никогда и не видел, потому что он учился не то в восьмом, не то в девятом классе и в детскую библиотеку уже не ходил. Да разве в нем дело!

Поражение нас с Вовкой не обидело и не разочаровало, напротив, мы все читали и читали Пушкина. Правда, грешным делом, порой приходилось отступать, «Евгения Онегина», к примеру, нам одолеть не удалось, а из прозы во втором классе мы прочитали только «Повести Белкина», более всего поразившись «Гробовщику». Однако и «Евгений Онегин», и «Пиковая дама», и все остальное не исчезло, не пропало, а настигло нас в свое время. Любовь же к Пушкину, удивление и восторг, не ограниченные христоматиями и детскими книгами, подарила странная старуха, бывшая артистка, знаменитость, необыкновенный человек нашего города, Татьяна Львовна.

Точно вчера мы с ней расстались: зеленое платье с белым зверьком вокруг шеи и широкими рукавами с блестками, какие не носят обычные женщины, черное бархатное пальто, которое под Новый год покрывалось серебряными звездами, вырезанными из бумаги, — Татьяна Львовна превращалась в волшебницу, в звездочета, в необыкновенность маленькой библиотеки.

Как же мерзла, думаю я теперь, она в те холодные дни, ведь шапку со своим смешным бантом она снимала, а на голову натягивала черный картонный колпак, как и пальто, оклеенный звездами, — старушка не отступала от своей роли ни в чем, а дрова кончались, приходилось экономить и топить через день.

И хотя два этих наряда Татьяны Львовны, два облика ее вечно перед моими глазами, как бы далеко ни уходил я от собственного детства, есть одно воспоминание в моей памяти, еще один ее портрет, самый драматичный из всех.

Только сначала я должен сказать, что чем ближе был конец войны, чем чаще мы слышали московский салют в черных тарелках репродукторов, тем лучше было настроение у всех, и это понятно.

Однако надо пояснить: настроение — это одно, а жизнь — другое. Настроение делалось все лучше и

радостней, но жизнь меняется не легко и не просто.

Страна двигалась к победе с великим напряжением и — нет, не легче доставалась ей каждая новая победа. Наоборот, с огромным трудом давался всякий новый шаг. Так что салюты гремели и женщины плакали от радости и печали, а жизнь не становилась легче, и все так же холодно и голодно жилось в наших домах.

Начало этих событий врезалось в мою память очень отчетливо. Еще бы! Я вошел в библиотеку, а там стоял настоящий гвалт. Пространство между прилавками забито народом, и все уже не сдерживаясь, громко разговаривают, пищат, смеются, а Татьяна Львовна нет, и девчонок не видно, никто ее не заменяет. Отчаянно работая локтями, точно переплывая бурную речку, я пробрался к потайной двери, открыл ее и увидел, что Татьяна Львовна плачет. Сидит одна возле стола, положила на него руки и прямо трясется.

Я прикрыл поскорее дверь за собой и встал, как истукан. Ни разу в жизни мне еще не приходилось оставаться один на один с женщиной, которая плачет, пусть она старушка, и я даже вообразить не мог, что теперь надо делать.

Положить руку ей на плечо? Подать стакан воды? Сказать утешающие слова?

— Что случилось? — выдавил я из себя.

Татьяна Львовна подняла голову, но отвернула от меня лицо, чтобы я ее не видел.

Всхлипывая и задыхаясь, она проговорила:

— Помогите мне! Пойдите туда!

Я? Но ведь я никогда не был за прилавком, никогда не выдавал книг, каждую же надо записать, и я ни за что не управлюсь. Однако бывают в жизни мгновения, когда надо поступать так, как велит обстоятельства. Не мог же я, на самом деле, отказать Татьяне Львовне, сказать ей, мол, я не сумею, дескать, лучше вытрите слезы и ступайте сами. Хорошо еще, что времени не было для рассуждений — ведь за тонкой дверцей гудела толпа.

Я повернулся, чтобы идти, а Татьяна Львовна вдруг простонала, протянув ко мне руки, будто я мог ее спасти.

— Артур опять заболел!

Из-за этого она так убивалась? Я улыбнулся и утешил:

— Так поправится же! Все болеют!

— Тяжело заболел!

Я минуточку подумал и решил на отчаянное:

— Так вы идите к нему. Я побуду.

Она качнула головой. Теперь Татьяна Львовна не скрывала от меня своего лица, и я поразился: какая же она глубокая старуха. Гораздо старше моей бабушки!

— Он в больнице, — сказала она и опять заплакала. — Это я, я! Не углядела!

Плечи ее тряслись, она снова уронила голову на руки, а я потихоньку разделся и вышел за дверь.

Сперва, пока, видно, открывалась дверь, стало тихо, народ подумал, что выходит Татьяна Львовна, и примолк, но, увидев меня, загудел еще пуще. А когда я встал за прилавком, тут уж ребята совсем распоясались.

Передо мной скакали и корчились разнообразные рожи — рыжие, белые, черные головы, карие и серые глаза, ощеренные в смехе зубы, оттопыренные уши, косички, челки. Мне даже показалось, что части ребячьих лиц отделились от их хозяев, сорвались со своих мест и беснуются в сумасшедшей пляске.

Я тряхнул головой. Носы, уши, губы и даже целые головы вернулись на свои места, но шум не умолкал. Напротив, я теперь различал отдельные слова и фразы, конечно, все до единого обращенные ко мне.

— Ну ты, библиотекарь, давай кор роче!

— Прохессор, не тяни резину!

— Пацан, а ты грамоту-то секешь?

Боже, как далеко была эта речь от волшебных слов Пушкина! И еще, совсем по-взрослому, я подумал о том, какой же разный мы народ, ученики разных классов и школ. И как, наверное нелегко разобраться в каждом из нас Татьяне Львовне.

Мне хотелось крикнуть в лицо этой одичавшей толпе, брякнуть несколько непущинских слов, чтобы разинули рты от неожиданности, хоть на минутку умолкли, и я бы объявил им тогда, что залез сюда, за прилавком, не по собственному хотению, а из-за Татьяны Львовны, из-за того, что она не может сейчас работать и заменить ее кому-то, кроме меня, что, наконец, должны же быть людьми одуревшие посетители такого благородного заведения, как библиотека.

Но мне не хватило ни возраста, ни сил. Я вздохнул, взял книжки у того, кто стоял ближе, и спросил читательский номер.

Никто еще не учил меня этому — как доставать карточку из кармашка, как вписывать в формуляр название книги и ее библиотечный номер, я ведь еще только готовился к этому — а, может быть, можно обойтись, сидеть себе тихо в задней комнате, подклеивать старые книги, рассматривать картинки и воображать самого себя в самых разных литературных обликах, — но делать нечего, пришлось действовать без ученья, и — надо же! — у меня все получалось. То есть, конечно, не было быстроты, и я возился, будто крот, но зато все делал правильно.

Вот когда я оценил Светку! И ее девчонок!

Нет, не зря говорится, что друзья познаются в беде. В беде познаются не только друзья, но и вообще люди. Не зря все-таки народ, который орал в библиотеке, показавшись мне даже не масками, а носами, ушами, глазами, летающими в воздухе отдельно от лиц. И ведь никакого зла я не сделал этим ребятам. Просто они сорвались. Просто превратились в толпу, в такую массу, без головы и хвоста, в кучу-малу, в свалку.

Ах, Светка! Где ты ходишь-бродишь? Нет чтобы тебе появиться в дверях, да и помочь мне. Я же ведь зашиваюсь, разве не понятно? Все делаю правильно, но это полдела, оказывается. Хорошо работать — это означает не только выполнять дело правильно, но еще и быстро.

Светка быстро трещала, но ведь и быстро чинила книги. И быстро записывала книги в формуляры.

— Ну ты, пентюх!

— Эй, копуша!

— Дай мне вон ту книгу, а то в лоб получишь!

Нет, в лоб я все-таки не получил, хотя угроза была совершенно реальной, но вот взмок весь до последней нитки, до трусишек.

Боже! Светка явилась в дверном проеме, и мне она померещилась шестикрылым серафимом. Молча, но решительно она протолкалась сквозь толпу прямо ко мне, совершенно непедagogично какой-то толстой книгой, вроде Житкова, трахнула по одной челке, по другой, крикнула, чтобы все становились в очередь, и отправила меня к малышовому прилавку. Это было легче. Малыши были покорнее и тише.

Я благословлял Светку на все лады.

В тот же день я узнал от нее, что Артур забо-

лел туберкулезом и что ему теперь требуется усиленное питание.

Еще через некоторое время бабушка сказала нам с мамой, что Татьяна Львовна каждое утро, видно, до открытия библиотеки, стоит на рынке с зеленым платьем на плечиках.

— Будто дежурит,— вздохнула бабушка, но я не понял.— Стоит на одном месте,— пояснила она,— но ничего у нее не выходит. Никто у нее это платье не покупает и не меняет. Уж очень непрактичное. Никуда в нем не пойдешь.

Я вздыхал. Ясное дело. Всего две вещи остались у Татьяны Львовны — платье и бархатное пальто. Но вот беда, они такие красивые, что их никто не покупает. Все ведь ищут, что носить можно, а не чем любоваться.

Шел день за днем. Жизнь шагала вперед торопливой походкой, но каждую неделю я бывал в библиотеке, и не часто теперь мы с Вовкой собирались почитать вслух Пушкина, но про Артура, про беду Татьяны Львовны говорили все время.

— Стоит? — спрашивал я бабушку.

— Стоит,— отвечала она, вздыхая.

А я делился в школе этим печальным известием с Вовкой или Светкой.

Однажды вечером, раскрыв Пушкина, чтобы поглядеть перед сном прекрасные картинки, я почувствовал, что мама очень осторожно положила мне на плечо руку.

— Сынок,— вкрадчиво сказала она.— Отнеси-ка ты эту книгу Татьяне Львовне.

— Почему? — поразился я.

Ведь мы еще не прочитали ее. Ведь Татьяна Львовна сказала мне, и не раз: читай, мол, наслаждайся. И я еще не наслаждался.

Примерно все это я и изложил маме, очень удивленный ее предложением. Все мне казалось совершенно убедительным в моих словах.

Но мама сказала:

— Представь себе, что Артур захочет почитать эту книгу. А ее нет. Она у тебя. И Татьяне Львовне неудобно просить ее назад.— Мама села напротив меня и очень внимательно заглянула в мои глаза.— Ты видишь,— сказала она, точно взрослому,— какой деликатный человек Татьяна Львовна. И ты будь таким же — в ответ.

Если бы мама стала меня уговаривать или, хуже того, приказывать, я бы, конечно же, воспротивился. Но со мной разговаривали на равных.

Сперва я расстроился, но перед сном, уже в постели, решил, что так и сделаю. Во-первых, книгу рано или поздно придется вернуть, она же не моя. А во-вторых, если Татьяна Львовна подумала обо мне, почему же мне не подумать об Артуре. Да еще когда он в больнице.

Утром я рассказал Вовке о своем решении. Он помолчал — ему тоже было жаль расставаться с такой книгой, — но кивнул.

— Теперь Пушкин ему нужнее,— сказал он.

И после уроков мы отправились ко мне, наперебой вздыхая, выгрузили все учебники и тетрадки из моего портфеля и поместили вместо них собранные сочинения в одном томе.

Мы шли в библиотеку нарочно медленно, передавая портфель из рук в руки. Не потому, что было тяжело, хотя, конечно, том нелегкий, а потому, что несли дорогой нам груз.

Нэт, нет, это слово решительно не подходит!

Мы несли Александра Сергеевича, эвакуированного из Ленинграда в наш город замечательной старушкой, мы познакомились с великим поэтом са-

ми, без всяких подсказок, и было горько идти, обвиняя его в последний раз и зная, что мы расстаемся.

Даже комок стоял в горле, будто перед слезами.

Татьяна Львовна изменилась с тех пор, как я увидел ее плачущей. Раньше она радовала нас своей непохожестью на остальных женщин, на наших мам и бабушек, и эта непохожесть была, конечно, прежде всего в одежде, но и не только — теперь я понимал это.

Татьяна Львовна отличалась от всех своей одеждой, это верно, но и еще своей беззаботностью, вот чем, неумением — а, может быть, нежеланием! — унывать.

Теперь она ничем не отличалась от наших родных. Ее лицо сморщилось и усохло, она стояла, ничего не видя перед собой, и была очень немногословна. Точно находилась совсем в другом месте.

Мы с Вовкой зашли в закуток, я велел ему обождать, вновь вышел в библиотеку и сказал Татьяне Львовне, что мне надо поговорить с ней. Она открыла дверь закутка, и я протянул ей Пушкина.

— Ах, вот он где,— сказала она рассеянно,— а я совсем забыла! Ищу, ищу его, нигде нет.

Неужели? Не может быть!

Я никак не мог поверить, что Татьяна Львовна забыла, где ее любимый Пушкин. Ведь она говорила, что он всегда с ней, что она представить себя не может без Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Татьяна Львовна сидела на краешке стула, гладила тисненый переплет и смотрела куда-то мимо нас. Потом сказала:

— Все — война!

Мы молчали, не очень поняв ее.

— Все война виновата. Говорят, они сожгли Царское Село.

Мы опять ничего не понимали. Таращились, наконец, на нее, а еще друзья Пушкина. И вдруг я понял, что Татьяна Львовна нигде не отсутствует, а очень внимательно смотрит на нас, переводя взгляд с Вовки на меня и обратно.

— В Царском Селе — лицей,— сказала она,— такая школа, где учился Пушкин.

Я кивнул. Мы ведь действительно читали стихи про лицей.

— Лицей сожгли фашисты,— вздохнула Татьяна Львовна,— и могилу в Михайловском...— Она помолчала, выбирая слово, добавила: — Осквернили. Варвары.— Она улыбнулась, но это было лишь слабое подобие ее прежних улыбок.— Ну, вы побродили по Пушкину? Почувствовали его? Услышали его сердце?

Мы, улыбаясь, кивали.

— Это такое счастье! — сказала она и кивнула нам.— Поздравляю вас. Поздравляю с этим счастьем.

Пора было или уходить, или, напротив, оставаться, чтобы поработать, поклеить старые книги, но Татьяна Львовна не хотела заканчивать этот разговор. Точнее, она все сидела, и мы стояли перед ней, своим видом показывая, что она может не беспокоиться, а вести себя так, как захочет.

— Я думала, мы спаслись, когда приехали из Ленинграда,— сказала она горячо, словно оправдываясь.— Главное — Артур, но он простыл раз, другой... Это я не доглядела.

— Поправится! — быстро сказал я.

— Поправится! — подтвердил Вовка.

Но такие уговоры, видать, она слышала уже не раз. Татьяна Львовна тихо улыбнулась, глаза ее наполнились слезами, и вдруг — мы просто обалдели.

Татьяна Львовна, заслуженная артистка в бархат-

ном небывалом пальто, сползла со стула на колени — перекрестилась.

— Господи,— воскликнула она,— если ты все-таки действительно есть, спаси Артура!

Она сгорбилась, превратилась в черный холмик, плечи ее опять задрожали.

Мы кинулись ее поднимать.

Она встала, обтерла щеки тыльной стороной ладони, сказала, успокаиваясь:

— Мальчики, простите меня! Я ведь старая, в гимназии закон божий учила. Да и вообще полжизни при царз прожила, старая перечница. Простите! Артуру плохо!

Мы не ушли после этого. Побыли еще с Татьяной Львовной. Мне пришлось встать к прилавку и выдать несколько книг. Вовка оставался с ней.

Когда я вернулся, он декламировал Татьяне Львовне пушкинские стихи по книге.

— А знаете,— сказала она,— если бы мы не уехали из Ленинграда, эту книгу пришлось сжечь.

Мы молчали, пораженные.

— На книгах варили суп. Ими обогревались. Знаете, какое ужасное чувство? Будто предаешь друга!

Недели через две Татьяна Львовна разделалась с зеленым, концертным, как я теперь понимаю, платьем.

Настала очередь бархатного пальто.

Опять бабушка рассказала, как Татьяна Львовна продает его. Приходит на рынок прямо в пальто, там же прилюдно раздевается, накидывает его на плечо и стоит в телогрейке на холодном ветру.

— Сперва мы с ней раскланивались,— сказала бабушка,— да я вижу, что ей неудобно. Стала обходить.

Но пальто не покупали. И вот в один печальный день бабушка встретила меня возгласом:

— Пушкина продает!

Я не понимал, о чем она толкует. Да бабушка, видать, и сама знала, что требуется разъяснение, и торопилась, захлебываясь словами:

— Я поначалу-то даже обмерла. Думаю, образок продает. Ну, икону. Блестит, а тут еще солнце выглянуло. Потом пригляделась — нет. Хоть и неудобно, дай, думаю, подойду. А как поближе-то стала, меня и осенило. На плече — бархатное пальто, а в руках — Пушкин. И держит его, ровно на крестный ход собралась.

Будто что-то оборвалось во мне. Оборвалось и ухнуло вниз. Я тяжело бухнулся на сундук.

Потом встрепенулся. Нужно немедленно побежать и увидеть, подумал я, бабушка, конечно, не выдумывает, зачем ей, но я должен убедиться собственными глазами во всем этом.

Нет, что-то тут не сходится. Ведь Татьяна Львовна вместе с ним эвакуировалась. Ведь это же книга ее юности, как сказала она.

Она говорила, что сжечь книгу очень тяжело! Такое чувство, будто предаешь друга. А продать — чем это лучше? Разве же это не предательство, продать Пушкина? Будто в рабство!

Я вскочил, потом снова сел. Сообразил, что сейчас идти без толку. Татьяна Львовна в библиотеке. Надо утром. Она ходит на рынок с утра, перед работой.

Отчаянные планы вертелись в моей голове. Кинуться, например, сейчас к Вовке, и обежать всех, кого только знаешь, по рублю, по два собрать деньги и завтра ошарашить Татьяну Львовну. Подойти к ней и купить у нее Пушкина.

Или, если уже поздно, разузнать, кто купил его, догнать этого денежного дядьку и упросить его,

чтобы он продал нам, потому что это наша книга.

Пушкиных много — есть тонкие книжечки, есть потолще, но том в издании Вольфа — совершенно необыкновенном, эта книга почти как человек, как сам Александр Сергеевич, и он должен всегда жить с теми, кто его давно полюбил.

Конечно! Выкупить Пушкина было бы самым правильным делом. Но бежать к Вовке бессмысленно, уж кто-кто, а я-то хорошо знал, как бедовали в его доме. Да и где не бедовали?

Я ждал маму.

Ждал ее с таким нетерпением, какого не знал еще до сих пор. Наконец она пришла из госпиталю, озябшая, даже позеленевшая от холода.

Я надеялся на нее. Верил, что мама придумает справедливый выход. Может быть, у нее припрятаны деньги на черный день, мы часто повторяли эти недобрые слова — «черный день», и я понимал, что к черному дню надо готовиться, что черный день настанет неожиданно, приходит бедой и горем, и лучше всего, если к черному дню будет хоть малый запас еды или денег.

Но как только мама возникла на пороге, озябшая и зеленая, я понял, что надежды мои наивны. Что мы ничуть не богаче других. И что купить Пушкина, который, конечно же, стоит немало, мне не удастся.

Что я не спасу великого поэта.

Был конец зимы, неуверенным шагом приближался апрель, то отступая под ледяными, пронзительными порывами ветра, то наступая, и тогда на наш заснувший город обваливалось слепящее небо в белых, по-летнему кудрявых облаках.

То раннее утро удалось на славу, словно нарочно подчеркивая, что природа и состояние души вовсе не обязательно должны быть в согласии, что красота природы вовсе не означает красоту жизни, и что, запомнив эту простую истину, мне еще не раз придется удостовериться в несправедливости такого несоответствия.

Да, все непросто в этом мире, и вовсе не природа правит человеческой душой, как не душа правит природой, а только люди могут понять друг друга и друг другу помочь.

Я увидел ее сразу.

Татьяна Львовна не уходила в глубь рынка, стояла почти у входа, и все было так, как обрисовала бабушка.

На левом плече, задевая землю, висело бархатное пальто, а обеими руками, будто и в самом деле икону, она держала Пушкина, бережно прижимая его к груди.

Несмотря на ясное утро, ветерок поддувал знобкий, и Татьяна Львовна постукивала друг о дружку валенками в резиновых калошах. Однако сама она оставалась неподвижной, словно оледенелой, не то, что остальные продавцы, которые переговаривались между собой, часто крутились на месте, некоторые толкались весело для сгреву, словом, были оживлены и даже возбуждены.

Покупатели к Татьяне Львовне подходили даже чаще, чем к другим, всех интересовало необыкновенное бархатное пальто, а на книгу никто почти не смотрел. Но и пальто не покупали, все только щупали его да посмеивались. Ну и цену спрашивали — так, из любопытства.

Я стоял за спиной у Татьяны Львовны и в упор глядел на ее затылок. И чем дольше глядел, тем больше жалел старуху в ватнике, подпоясанном нарядным лакированным пояском, и пальто ее необыкновенное, из той поры, когда она была артист-



кой, и книгу ее юности, и Пушкина Александра Сергеевича, и себя жалел, и Вовку, и библиотеку, где до войны был табачный магазин, и этих продавцов, которые тут толкнутся из-за нужды, и весь этот рынок жалел, и холодный наш городок.

Слезы навернулись на глаза, мир, окружавший меня, стал расплывчатым, и в это время Татьяна Львовна повернулась ко мне.

Я не хотел, чтобы она увидела меня таким, моргнул и стер слезы.

— Ну что ты? — сказала она дрогнувшим голосом и заплакала сама.

Я думал, что переполнен словами, я думал, сумею уговорить Татьяну Львовну не делать этого, но оказалось, что никаких слов у меня нету.

Ни единого, даже самого завалящего словечка.

Я глядел на нее, и губы у меня тряслись. Пушкин! Бедный Пушкин!

— Какая прелесть! — услышал я мужской рокошующий голос. — Мечта моего детства, издание Вольфа! Наконец-то!

Я повернулся.

Перед Татьяной Львовной стоял еще совсем не

старый капитан первого ранга — три звезды на черном морском погоне, а левая рука на перевязи. Он жадно взял Пушкина здоровой рукой, неудобно примостил его возле повязки, казалось, еще немного, и он уронит книгу.

— Сколько? — спросил моряк.

— Триста.

— Не дорого?

— Килограмм топленого масла, — ответила Татьяна Львовна. И добавила: — Больному.

Капитан отдал деньги, схватил книгу и быстро пошел к выходу. У самых ворот он обернулся и пристально посмотрел на нас — на старуху в ватнике и мальчика. Потом опустил голову и торопливо зашагал прочь.

Татьяна Львовна глядела туда, где только что был капитан, побелевшими, мертвыми глазами. Повернулась ко мне. Губы ее тряслись. Она что-то хотела сказать, но так и не сказала.

Такой я запомнил нашу библиотекаршу навсегда — в телогрейке с блестящим пояском. А на плече бархатные пальто.

Последний ее портрет в моей памяти.

...Я успокаивал себя тем, что, может быть, Пушкин спасет Артура. Но даже великий Пушкин оказался не всемогущим.

Артур умер.

Да, да...

И эта смерть больно ударила всех нас — и меня, и Вовку, и Светку, и ее девчонок.

Тогда я не мог объяснить этого потрясения, мне просто было страшно глядеть на пожелтевшего Артура в маленьком детском гробу. Сейчас я думаю, что мы ясно ощутили, как на нас налетела тугая волна, как обдал наши души ветер, поднятый крыльями страшной птицы — птицы беды. Она пролетела совсем рядом. Теперь мы знали: на войне погибают не только взрослые. Артур оказался первым в моем, едва родившемся поколении. Выстрел пришелся по нему.

И мы услышали близкий грохот.

Анна Николаевна каким-то чудом собрала библиотечный актив. Были каникулы, лето, почти все разъехались, кто в лагерь, кто в деревню, но меня и Светку разыскал Вовка, принесший жуткую весть. На кладбище мы с Вовкой неумело, сбиваясь, били в барабаны, а какой-то пацан, неизвестный мне до сих пор, хрипло дудел в пионерский горн.

Татьяну Львовну поддерживала женщина, похожая на нее, и я подумал, что это, возможно, ее сестра — такая же старая, ну чуть помоложе, худая, черная. И лишь позже, в конце лета, меня осенило, что я видел мать Артура.

Как, когда сумела она приехать так быстро из Ленинграда, это осталось для меня загадкой...

Наша Анна Николаевна сказала речь, из которой я запомнил одну только простую мысль, что война не щадит никого.

Татьяна Львовна едва стояла на ногах.

— Это я, — повторяла она глухо, — это я!

Остальные молчали.

Потом в лагерь уехал и я, а когда вернулся, в школе ходил слух, что Татьяна Львовна уехала обратно в Ленинград, ведь блокада закончилась. Во всяком случае, осенью, после каникул, нас встретила в библиотеке молоденькая женщина. Потом библиотека закрылась, довольно надолго, и открылась снова через полгода, не раньше, совсем в другом месте.

Тут было просторно, коридор, вешалка с гардеробщицей, читальный зал, абонементы — отдельно для младшего, отдельно для среднего возраста.

После некоторого замешательства я опять попал в актив, потому что много читал — часы напролет сидел в читальном зале.

Удивительный и счастливый мир открывался передо мной все шире. Великие мастера открывали в него все новые окна.

Классе в пятом настала пора Дюма. Например, «Десять лет спустя» и «Графа Монте-Кристо», единственные экземпляры которых были в читалке, мы захватывали наперегонки в прямом смысле этого слова, бегом минуя кварталы от школы до библиотеки — кто кого?

Потом пришел Толстой, «Спартак» Джозаньоли, Николай Островский, «Овод» Этель Лилиан Войнич, восторг и слезы — самые чистые слезы всех наших лет.

Может быть, я плакал над Артуром из «Овода» потому, что знал еще одного Артура? И его чудесную бабушку?

Светка тоже ходила в библиотеку.

Но в активе больше не числилась.

Я хотел было позвать ее, поговорить с ней, но, подумав, не решился.

Она становилась на глазах какой-то очень уж взрослой и молчаливо опасной.

Новые книги входили в мою жизнь, и я подрастал вместе с ними.

Но такой, какую встретил однажды, больше уже не встречал.

Пушкина, собрание сочинений в одном томе, издание Вольфа.

Куда же делась та книга? Или следы ее потеряны навсегда?

Нет!

Капитан первого ранга оказался ленинградцем, он лежал после ранения в военно-медицинской академии, тоже эвакуированной из Ленинграда к нам, а когда война кончилась, вернулся в свой город.

Он жил на стрелке Васильевского острова, и из окон его квартиры было видно Адмиралтейство и его золотой шпиль с парусным золоченым фрегатом наверху.

Старинный том стоял на полке напротив окна, и Александр Сергеевич хорошо видел заветный корабль, воспетый им.

Пушкин замечательной артистки вернулся в родной город.

Жаль только, что он не встретился больше с Татьяной Львовной.

Впрочем, хочу признаться, что историю про возвращение капитана я выдумал.

Я так хочу!

Ведь Пушкин должен был вернуться из эвакуации. Вернуться из войны. И остаться всегда живым. Поэты и книги — бессмертны.

ВАСИЛИЙ ВОЛКОВ



Василию Волкову 27 лет. После десятилетки он работал в лесничестве, на заводе, плавал на судах. Окончил Московское высшее пограничное училище. Во время военной службы получил тяжелое ранение. После увольнения в отставку окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Как я стал дядей Васей

Когда я был еще рабом
ребячьих игр,
не буду хвастать,
я познакомился с трудом —
а было мне уже тринадцать!
Я лес валил, крепил плоты
и с шуткою не расставался.
И в благодарность за труды
меня прозвали «дядей Васей».
В кармане спрятав хлеба ком,
о сучья в спешке раня пальцы,
я неся в горы босиком,
как будто в клуб спешил на танцы.
А после радостной работы,
пропахнув крепкою смолой,
я осторожно
брел домой,
чтоб не спугнуть в спине лому.

☆☆☆

Е. Г. Марковой

Я забреп на это поле,
душу издрав.
Здравствуй, поле,
шерстяное
от густящих трав.
Здравствуй, поле,
голубое
от небесных нив.
Я люблю играть с тобою,
горю изменив.
Я хочу звенеть цветами,
заглушив бурьян.

и глотать хочу горстями
полевой дурман.
Я люблю
скакать по полю,
хвост задрав трубой...
И скучать люблю в неволе
думы полевой.

Глоток юности

Остались же в памяти те вечера,
когда, намахавшись до усталы,
я тут же валился
вдали от костра,
чтоб снять рукавицы. Не шутка ли!
Они прилипали к водянкам.
С трудом
я сдергивал эти верхонки!..
В тот миг, чуть не плача,
я думал о том,
что неженка я и девчонка.
Но утром,
топорик опробовав свой,
я вновь удивлялся той удали...
И только под вечер,
довольный собой,
валился на землю от усталы.
Вот так бы прижаться
к шершавой земле,
чтоб снова вернуть себе силы.
Вот так бы измазаться в вязкой смоле,
глотнуть свежий запах осины.

Преодоление

Как много предстоит
преодолеть,
чтоб дело сделать,
выстрадать суметь,
быть может, даже...
даже умереть,
чтоб вновь родиться
и не раз,
успеть
стихи ядренные сложить
и спеть,
разбиться вдребезги,—
и все же уцелеть,
чтоб многое успеть
преодолеть!

☆☆☆

Я обошел полмира.
Видел свет белый —
живут...
Даже на черном
был я
несколько долгих минут.
Мне бы цыганом
родиться.
Мне бы мир весь обойти.
Мне бы с костром породниться,
с песней вольной в пути...
Я бы пошел на край света,—
хоть его нет,
ну и пусть,—
лишь бы сказать всем:
— Нету
места привольней, чем Русь!

ТАТЬЯНА
КУЗОВЛЕВА



Веселый юноша

Веселый юноша,
Высокий и худой,
Приходит к нам,
Шурша плащом из черной кожи.
И пахнет снегом, пахнет талою водой,
И пахнет мартом в нашей маленькой прихожей.

Веселый юноша
Все высмеять не прочь.
Оспорить все, что заподозрит в постоянстве,
К нему навстречу
Выбегает наша дочь —
Так, словно к ней он возвратился
После странствий.

Она не прячет от него счастливых глаз.
А мы от зависти
С тобой сгораем рядом:
Когда бы нас она с тобой
Хотя бы раз
Вдруг одарила вот таким счастливым взглядом!

Так непривычно чаепитье вчетвером...
Веселый юноша болтает возбужденно..
А мы на улицу выходим перед сном,
И ночью мартовской нам дышится студено.

И мы бредем вдоль засыпающих домов.
И, не сговариваясь, возле перекрестка
Ты так обиженно бросаешь:
— Пустослов! —
Я так растерянно роняю:
— Вертихвостка!..

☆☆☆

Я о лете — я не о тебе.
Я о травах в росистой крупе,
Я о первой в лесу паутине.
Я о месяце, тонкой скобой
Зацепившем шатер голубой,—
Кто посмеет разъять их отныне!

Я о радуге — я не о том,
Что творится на сердце моем,
Никому до него нету дела.
Я о вишне, упавшей в саду.
Что написано мне на роду,
Тем я честно с рожденья владела.

Не хитрила. Не помнила зла.
И чужого вовек не брала.
И свое безоглядно дарила.
Слишком редко сходила с ума,
Слишком часто твердила: «Сама!» —
Слишком круто питье заварила.

А казалось — питье на меду.
Буду пить — всю беду отведу,
Хоть бы каплю испить, хоть одну бы...
А недавно стерпеть не смогла,
Полный ковшик к губам поднесла —
И от горечи дрогнули губы.

Охотник

Ты охотник.
Твой выстрел рассчитан.
Зорек глаз и не дрогнет рука.
Я хочу удержать под защитой
Эту птицу, что дышит пока.

Эту птицу, летящую вольно,—
Крестик сердца,
Угольники крыл.
Ты с восхода к ней крался окольно,
Пулю скользкую заговорил.

Заглушил в себе все человечесь,
Хоронясь за прибрежный ивняк.
И горит у тебя на предплечье
От ружейной отдачи синяк.

Лег на губы твои и ресницы
Дым азарта,
И дрогнул зенит.
Но взгляды же:
Летит эта птица,
Хоть убита тобой, а летит!

Над тобою летит,
За тобою,
И зрачок ее мутен и ал.
Что же ты побледнел, как от боли?
Или ты эту птицу узнал!

Или это любви твоей символ —
Крестик сердца,
Угольники крыл!
Или, может,
Жестоким и сильным
Вид воскресшей добычи не мил?

Или, думаешь, все это снится!
Но летит, не пугаясь ружья,
Над тобой,
За тобой эта птица,
Жертва вечная — совесть твоя.

Черемуха

Черемуха,
Откликнись, закружись,
Меня метелью одурмань слепою.
Черемуха,
Как быстро тает жизнь,
Как все обманно, что зовут судьбою!

Я ль нити дружб в своих руках держу,
Меня ли держат дружб тугие нити!
Я в их клубке скольжу по выражу
И неприметных и больших событий.

Встречаю день и провожаю год.
Иду в толпе по улице столичной...
Черемуха,
Твоих снегов приход
Смешал все то,
Что было так привычно.

И я смотрю в случайные черты
Так жадно,
Словно мне без них не выжить.
И жду шаги из прошлого —
Но ты,
Черемуха,
Не дай мне их услышать!

Шуми на майском солнечном ветру,
Неси на ветках облачные купы.
Я все равно расслышу, разберу
И крик сдержу, прикрыв ладонью губы.

Себе признаюсь —
К своему стыду,—
Инертность вековую проклиная,
Что на Земле его я не найду,
А вне Земли его я не узнаю.

А и увижу — нареку:
Порок.
И обойду и пропаду безвестно;
Не размотаю долгих дружб клубок,
Шаг не замедлю и не ринусь в бездну...

☆☆☆

То ли это промелькнула птица
Поперек оконного стекла,
То ль махнула выюга рукавицей,
То ли тень твоей любви прошла.

В вешнем небе облако качнулось,
Нежною порошею звеня.
Тень твоей любви не обернулась —
Не узнала, видимо, меня.

Поперек окна скользнула мимо,
Память растревожила мою,
Облаком прошла неударимо
У большого неба на краю.

Сердце заметалось и забилося,
К облаку ли, к птице устремилось,
Чашу неба переполнив всклень.
...Только тень —
А небо осветилось.
Только миг —
А стал длиннее день.

Поэзия

ОЛЕГ АМИТРИЕВ



На крыше

Я любил сидеть на крыше
Больше всех других потех
Не затем, чтоб быть всех выше,—
Чтобы видеть дальше всех!
Птица пела. Крыша грелась.
Вниз сползал мой силуэт.
Может, мне летать хотелось!
Я не помню, вроде нет.
Топот дворника услышу —
Юрк в чердачное окно!
Только вечером на крышу
Я залезу все равно.
Почему таким проказам
В детстве я привержен был,
Ведь не стал я скалолазом,
Сердцем гор не полюбил!!

Но сейчас глаза закрою —
Закружится голова:
Ведь один я над Москвою!
Подо мною вся Москва!
То глаза мои забыли,
Как доской чердак забили,
Как у лестницы пожарной
Отпилили метра три...
Тем мгновеньям благодарный,
Я шепчу себе: «Смотри!»
Все так близко, так знакомо:
Пять дворов родного дома,
Военторг и дом Пашкова,
Зданья МГУ, Манеж,
Древний Кремль — всему основа!
Так открылась с полуслова
Тайна сердца городского.
Пофартило в детстве мне ж!

☆☆☆

К старости в памяти чаще провалы,
Но почему-то все выпуклей в ней
Бомбоубежища, полуподвалы,
Жерла воронок
Мальчишеских дней.

Память их очень легко воскрешает,
 Снова приводит из дальней дали.
 Что же она
 Над землей возвышает
 То, что таилось в глубинах земли?
 Вот средь лежащих иду осторожно
 В бомбоубежище —
 Что-то несусь.
 Вот из подвала лишь ноги прохожих
 Видятся мне, как деревья в лесу.
 Вот я на Брянщине в старой землянке,
 Влажные корни висят надо мной.
 В пыльной, с краями отбитыми склянке
 Тихо мерцает огарок свечной.
 Бомбоубежища, полуподвалы
 В Чкалове, после в подземке Москвы —
 Так нас земля от войны укрывала!
 Предоставляла землянки и рвы
 Там, где шумели леса и дубравы,
 В летнюю пору
 На радость одну —
 Там пионерские наши оравы
 Неутомимо играли в войну...

Привязанность

Мы расстались —
 Год второй...
 Встреча вновь не суждена.
 Все равно гляжу порой
 Я из твоего окна.
 И во сне и наяву
 С поднебесной высоты
 Озираю я Москву —
 Рельсы, фабрики, мосты,
 Вижу церкви и дома.
 Вот блестит реки струна...
 Там и осень и зима,
 Там и лето и весна.
 Я уже почти забыл
 Твоего лица черты.
 Свеж и ярк,
 Как и был,
 Вид с небесной высоты!
 Ладно, думай о своем.
 Ты живи, встречай зарю,
 Утром, вечером и днем
 Я в окно твое смотрю,
 Только, слушай, дело в том:
 Не вовнутрь смотрю,
 Не в дом —
 Взгляд летит из дома вон!
 В милый город —
 В явь и в сон.

Весть

Памяти И. С. Бобровой¹

Никто б не дал тогда ей сорок лет,
 Хотя меж нами двадцать лет лежало...
 Мы с ней делили узкий кабинет
 В редакции столичного журнала.
 Она сидела, голову склонив,
 Над писем нескончаемым потоком,
 Наш небольшой в ту пору коллектив
 Был очень к ней привязан.
 Ненароком
 Я любовался ею,

¹ Ирина Сергеевна Боброва работала в «Юности» со дня основания журнала, возглавляла отдел писем.

От стола
 Глаза на полмгновенья отрывая,
 Но звали вновь заботы и дела,
 Текучка журналистская живая.
 Никто б не дал тогда ей сорок лет —
 Была она такая молодая
 И излучала тихий тайный свет...
 Да в этом мало понимал тогда я!

Меня звала огромная страна,
 За двадцать лет объехал я полсвета.
 Какое счастье, что была она,
 Та женщина, в мои молодые лета!
 Редакционный плен не навсегда.
 Мы все пошли дорогою своею,
 Но, слава богу, в юные года
 Я навсегда
 Налюбовался ею.

И вот в газете весть — ее уж нет.
 Окончилась стезя ее земная.
 Но те, что между нами, двадцать лет
 Хочу прожить, ее не забывая!
 Та злая весть из черного числа
 Внезапно, как неведомая сила,
 Вернула юность, сердце обожгла,
 И ясный свет зажгла,
 И тьму сгустила...

Московские землепроходцы

Вот он —
 Назовем его «некто» —
 Всю жизнь лопутает хитро:
 Он дарит приезжим проспекты,
 Овальные залы метро,
 И ЦУМы, и ГУМы, и парки,
 Огромную ВДНХ...
 А сам под какие-то арки,
 Во дворик, где крик петуха
 Еще раздаётся на зорьке,
 В стенной неширокий проем,
 А там уж овражки, пригорки,
 Где дом налезают на дом...

Вот так — с залихватской ухваткой
 Идет от угла до угла.
 Москва лабиринтом, загадкой
 Ему отродясь не была!

Идет, на себя лишь надеясь,
 Любой разрешая вопрос,—
 В Москве он — как в джунглях индеец,
 Как в тундре раздрызганной ненец,
 Как в огненных льдах эскимос!

Вот так мне сегодня придется
 Представить всем добрым гостям
 Московского землепроходца,
 Сказавшего им:
 «Это — вам!
 Внемлите великому чуду,
 Поверьте, что все наяву,
 А я уж мешать вам не буду.
 Так милости просим в Москву!»

Мы — братья по духу и сердцу:
 С проспекта спешит он за мной
 В проулок, в зеленую дверцу.
 Там двор:
 Не простой — проходной.

АРКАДИЙ
АДАМОВ

ИДЕТ РОЗЫСК

РОМАН



тот день пришлось изрядно поволноваться Вале Денисову.

Исчез Глинский. Он вместе со всеми уехал с дачи, но в Москву не вернулся. Он даже не выехал на шоссе. Проезд двух других машин был зафиксирован, а машина Глинского мимо поста ГАИ не прошла. Однако поиски ее начались не сразу, ибо полагали, что она всего лишь задержалась: из поселка имелся только один автомобильный выезд — к шоссе. И не было, казалось, у Глинского оснований искать другой путь: никакой тревоги после ночного «отъезда» Смолякова и Шанина не возникло, бегство Лены вообще никто всерьез не принял, хотя Глинский был обозлен, а Нина заметно расстроилась. Гости покидали утром дачу вполне спокойно.

Что же случилось с Глинским, куда он делся? А ведь в его машине находились еще Коменков и Рая. Да и Коменков, видно, в Москву не вернулся: ни дома, ни на работе его не было.

Все эти тревожные факты были уже установлены к тому времени, когда Денисов получил приказ задержать Глинского.

Специалисты обследовали путь машин от дачи через поселок и грейдер к шоссе. К сожалению, все три машины были одной марки и модели, следы их колес перепутались, да и продолжавшийся все утро дождь следы эти почти размыл. Вторая группа сотрудников осмотрела поселок. Это тоже была непростая работа, ибо дач в поселке оказалось много. К концу дня выяснили, что ни в одной из дач посторонние люди не появлялись. Наконец, третья группа работала в Москве, по уже установленным связям Глинского и Коменкова: нельзя все же было бесповоротно отменить версию, что каким-то образом Глинскому удалось незаметно проскочить пост ГАИ и очутиться в Москве. Однако и это направление поиска пока не дало результатов. Впрочем, далеко не все связи Глинского и Коменкова были выявлены.

Оставался еще один путь для поиска. Это неведомая пока Рая, приблизительный адрес которой был, однако, известен. Если к тому же учесть, что плохая, разбитая и давно заброшенная проселочная дорога из дачного поселка в направлении прямо противоположном шоссе все же была обнаружена и машина Глинского хотя и с трудом, но могла по ней проехать, то версия «Рая» требовала отработки.

К концу дня выяснилось, что и Рая домой не возвращалась.

Вечером расстроенный и вконец измотанный Денисов докладывал о своих неудачах Цветкову, который его выслушал, не перебивая, и огорченно сказал:

— М-да... Бывает и так, милый ты мой, бывает. Что-то, выходит, мы не учли. Или еще не узнали.

...А случилось самое простое и в то же время неожиданное. Не успел Глинский выбраться на машине из дачного поселка, как внезапно мотор заглох. Никакие попытки снова его завести не помогли. Видимо, засорился карбюратор. Сам Глинский, а тем более Коменков в этих делах ничего не понимали, помощи искать было негде, все дачи вокруг оказались пустыми. В конце концов машину пришлось толкать, чтобы спрятать за кустами.

Потом они пешеходной дорожкой отправились к станции.

В Москве решено было неприятное происшествие сгладить обедом в ресторане. Затем развеселившийся Коменков потащил всех к какому-то приятелю.

— А у меня деловой разговор к Раечке, — упрямо, хотя и не очень твердо объявил Глинский. — Ей-богу, деловой. Правда, Раечка?

— Нет вопроса! — бодро откликнулся Коменков. — Генка вернется только в семь, после работы. Ключи тут. — Он похлопал себя по карману и лукаво подмигнул. — А у меня есть тоже деловой разговор, только в другом месте. Так что на время расстаемся, и все дела. Принято?

Лишь последней электричкой Рая уехала из Москвы, а сильно подвыпивший Глинский, подхватив такси, направился к себе, по дороге пытаясь сообразить, как ему завтра доставить в Москву собственную «тачку».



Рисунки
П. П. Караченцева

Окончание. Начало см. в №№ 6 и 7 за 1985 г.

В подъезде дома его размышления были не очень вежливо прерваны. Глинский попытался было сопротивляться. В результате, слегка помятый, он очутился уже в совсем другой машине и был доставлен на Петровку.

А утром злой, невыспавшийся, но вполне трезвеющий, Глинский предстал перед Лосевым. Под глазом у него растекался фиолетовый с желтыми подпалинами синяк.

— Так-так,— насмешливо сказал Виталий.— Что-то неважный у вас вид, Глинский. Плохо спалось после всех попок?

— Не ваше дело,— отрезал Глинский.— На каком основании меня задержали, извольте сообщить.

— Вас арестовали, а не задержали. На основании санкции прокурора. Отвечать на вопросы будете?

— Спрашивайте, спрашивайте,— снисходительно разрешил Глинский.— По мере сил буду отвечать.

— Что ж, попробуем,— согласился Лосев.— И для начала очертим круг ваших знакомых. Даже два круга. Вот первый. Маргариту Евсеевну знаете?

— Ну, допустим, знаю. Что из этого?

— Веру тоже знаете, Хрисанову?

— Знаю.

— А Раю?

— Вы что,— насмешливо поинтересовался Глинский,— по моим амурным делам специализируетесь? С кем, значит, спал, да? А я, знаете, джентльмен и на такие вопросы...

— Какой вы джентльмен, я знаю,— невольно сорвавшись, угрожающе сказал Лосев и, досадуя на себя, уже ровным тоном переспросил: — Так Раю знаете?

Глинский бросил на него настороженный взгляд.

— Знаю,— коротко ответил он.

— Пока все,— заключил Лосев.— По первому кругу знакомств. Теперь второй круг. Шанина Диму знаете?

— Представьте себе, знаю,— с вызовом ответил Глинский.

— Бобрикова?

— Также знаю.

— Нину Сергеевну?

— Знаю.

С каждым новым именем настроение Глинского все больше портилось. Он начинал злиться и трустить тоже. Лосев делал вид, что ничего не замечает, и все так же спокойно и ровно продолжал спрашивать.

— А Льва Константиновича знаете?

— Знаю...— В голосе Глинского впервые мелькнула неуверенность.

— Виктора Коменкова?

— Ну, и этого знаю. Что из того?

— А вы не догадываетесь?

— Даже не собираюсь догадываться. И вообще...— Глинский все больше начинал нервничать.— Бросьте ваши дурацкие вопросы. Я вам могу еще сотню знакомых назвать.

— Не надо. Пока хватит,— возразил Лосев.— Это ведь не только круг ваших знакомых, но и круг известных нам дел, точнее, преступлений. И вы все прекрасно уловили, не притворяйтесь.

— Вы мне лучше загадки не загадывайте,— угрожающе произнес Глинский.— А то я вообще больше слова не скажу, увидите.

— Ладно,— покладисто, даже охотно согласился Лосев.— Не буду загадывать загадок.— И, неожиданно вынув из папки изготовленную Глинским доверенность, резко спросил: — Вы писали?

Глинский бросил взгляд на бланк, секунду помед-

лил, потом нахально посмотрел Виталию в глаза и с вызовом сказал:

— Ну, допустим, я.

Лосев вынул вторую доверенность.

— А эту?

— Ого! Какая коллекция! Ну, и эту писал.

— Такое признание делает вам честь, Глинский,— усмехнулся Виталий.— Выходит, сообразили, что отпираться бесполезно?

— Что я сообразил, вас не касается.

— Ладно. Так кто же вам платил за эту работу?

— Никто. Так, знаете, баловался,— насмешливо ответил Глинский.

— Ну, побаловались и кому отдали?

— Выбросил. И кто-то, видимо, подобрал.

— Так. Значит, на вопросы отвечать не желаете?

— А вы это только что сообразили?

— А вы сообразили, почему прокурор дал санкцию на ваш арест?

Это был для Лосева тот редчайший случай, когда человек оказался до такой степени враждебен и ненавистен ему, внутренне неприемлем, что контакт с ним никак не возникал, просто не мог возникнуть. И Виталий сам начинал злиться и нервничать.

— Скажите, Глинский, почему вы работаете вахтером?

— К вашему сведению, у нас любой труд почетен.

— А какое у вас образование?

— Вас не касается. Впрочем... Кончил педагогический. Так сказать, учитель.

— Почему же стали вахтером, интересно?

— Почему вахтером? — снисходительно переспросил Глинский.— Пожелал. Больше, знаете, свободного времени.. для самообразования. И вообще, — он пожал плечами, — я устроен так, что карьеру депать не хочу. У меня другие радости в жизни. Вот, например, женщины. Это прекрасно!

— И деньги?

— И деньги.— охотно согласился Глинский, ежидно блестя глазами.— Вам это, конечно, чуждо, я понимаю.

— Почему же? Но вахтер получает мало.

— Зато остается время для приработков.

— И вы своей жизнью довольны?

— Вполне. Только оставьте меня в покое.

— Исключается. Самой вашей жизнью. Входит, так сказать, в условие. И при таких условиях жизнь ваша не так уж привлекательна, мне кажется. Скажите, у вас еще не было судимости? Мы не успели проверить.

— Можете не проверять. Не было.

— Тогда понятно. Жизнь этой стороной к вам просто еще не повернулась. Но учитывать это вы должны были как умный человек. Порок-то ведь всегда наказывается. Это еще, кажется, в библии сказано. Ну, допустим, получили вы от Льва Константиновича какую-нибудь жалкую тысячу рублей...

— Ну, знаете! Вы меня...

— Пожалуйста,— оборвал его Виталий, словно его интересовали не факты, а сам спор о жизни.— Допустим, вы получили даже пять процентов от...

— Десять! — в свою очередь, запальчиво оборвал его Глинский.— Десять, не меньше!

— Пусть даже десять. Но сегодня он их вам вручил, а завтра...

— При чем тут завтра? Я сегодня же на них куплю, что хотите, любую машину, пол-«Березки», любую женщину, наконец! Согласитесь, здесь стоит рискнуть, черт возьми!

Глинский зло стукнул кулаком по колену.

— Это не риск,— возразил Лосев.— Это всегда в конечном счете проигрыш. Катастрофа. Об этом Лев

Константинович вас, конечно, не предупредил, когда пригласил, а точнее, заманил...

— Условия ставил я! Можете у него самого спросить.

— И спросим.

— Вот-вот. И спросите. И у Нинки можете спросить.

— А не скажут они, что организатор всего этого вы? Что, допустим, тот же Лев Константинович вообще в этом не замешан? В самом деле, вы смотрите, что получается. Вы изготовили фальшивые доверенности, вы через ту же Маргариту Евсеевну нашли подходящего фондодержателя и через Веру тоже. Затем вручили эту доверенность, скажем, Шанину, и тот со Смоляковым, это шофер...

— Да знаю я его,— отмахнулся неожиданно встревожившийся Глинский.

— ...Так вот, Шанин со Смоляковым получили после этого товар и отвезли, предположим, в цех к Свиридову, в Лялюшки — есть, знаете, такая...

— Знаю,— вновь напряженно оборвал его Глинский.

— ...Вот они и отвезли. И все. При чем здесь Лев Константинович, спрашивается?

— При чем? — слегка обескураженно переспросил Глинский. — А идея чья? А кто, извините, всех нашел, дал задания?

— А он разве письменные указания какие-нибудь давал вам? Или свидетели тут были? Да вы просто хотите утопить невинного человека, вы и, скажем, тот же Шанин, если он такие же показания даст. Хотите снять с себя дополнительную ответственность как главарь. Это все любой адвокат докажет. Вот вам и ваша распрекрасная жизнь. Ведь хищения-то колоссальные, Глинский. И соответствующая статья по такому случаю...

— Стойте, стойте! — прервал Глинский. — Вы куда поворачиваете? Также в его адвокаты записались?

— Да нет. Сама ситуация так поворачивается, не заметили разве?

— Бросьте! Шантажируете, да? Запугиваете? — дрожа от волнения и ярости прошипел Глинский: — Не пройдет!

— А зачем мне вас шантажировать и запугивать? — недобро усмехнулся Лосев. — Мне от вас ничего не требуется. Вина ваша доказана. А вот вы подумайте и над вашей распрекрасной жизнью и над ситуацией, которую я вам обрисовал. Защищаться Лев Константинович будет отчаянно, сами понимаете. И тут лучшей версии он не придумает.

— Ладно,— нервно ответил Глинский,— я тоже, знаете, не христосик, чтобы чужие грехи на себя брать.

— Да уж до христосика вам далеко,— согласился Виталий. — С вами поговоришь, так мыть руки тянет. Большой вы подлец, Глинский. Большой,— не сдержавшись, добавил он. — Это я так, неофициально вам говорю.

— А я в вашей аттестации не нуждаюсь,— огрызнулся Глинский. — И кое-что придумаю еще, будьте уверены.

— Что ж, дайте тогда знать. А пока все, на первый раз.

...В тот же день Лена позвонила Липе.

— Леночка, миленькая, родненькая, как хорошо, что вы позвонили! — заверещала Липа. — Я так волновалась, так переживала, кошмар просто! Мне Ниночка утром звонила сама не своя. Этот Сева! Он такой неводержанный, такой страстный! А он вас запер? Это же надо! Ласточка, бедненькая моя...

Липа говорила не останавливаясь, искренне взволнованная и расстроенная всем происшедшим.

— Но вы бы знали, как меня обидела Нина,— сердито сказала Лена. — Она меня просто предала. Я это забыть не могу.

— Ой, что вы, что вы! Это все неожиданно случилось. Она и не думала даже. Ниночка такой человек! И она сейчас ужас как переживает. Леночка, душечка вы моя, родненькая, вы на нее не обижайтесь, умоляю. Ну, ни при чем она тут, клянусь вам! Она сама вам все объяснит. Вы не заглянете ко мне, ну, хотя бы сегодня вечером? Ласточка моя, миленькая, приходите. Надо же объясниться. Я сама, знаете, так страдаю, так вас обоих люблю, передать просто не могу. Так придете?

— Пожалуй... — неуверенно согласилась Лена, давая понять, что все еще не остыла от обиды. — Если освобожусь.

— Нет, нет, непременно! Я... Мы будем ждать.

Было ясно, что предложение исходит от Нины. Кажется, она тоже стремилась к примирению. Это было странно. Зачем после всего случившегося Нина решила восстановить отношения? Ни о каких личных симпатиях речи быть не могло. Обе ощущали взаимную неприязнь. Лена чувствовала, что тут ей Нину обмануть не удалось. Может быть, привлекло ее мнимое место работы? Ведь Нина тогда сказала: «У вас там большие возможности». А может быть, встреча требовалась не для восстановления, а для выяснения отношений? Лена-то исчезла довольно загадочно. А фокус с Шухминым мог понадобиться не только Глинскому. Не исключено, что ее собирались проверить или втянуть, но Глинский спутал все карты. А что если проговорился этот бородатый Вова, хозяин дачи?

Все эти соображения Лена и выложила Цветкову. Тот некоторое время молчал, обдумывая ее слова, и потом, вздохнув, сказал:

— Идти, милая моя, так и так надо.

И «милая моя» прозвучало как знак дружбы и доверия, как свидетельство, что Лена в глазах Цветкова стала окончательно своей, близкой, как все ребята из его отдела, и верит он ей теперь так же, как им.

— Надо идти,— повторил он. — Вы для них человек, конечно, случайный, чужой. Так и надо. Но при этом следует все же добиться их доверия или заставить проговориться. Главное сейчас — путь к этому самому Льву Константиновичу. Главарь-то он, конечно, главарь, но вот какая у него конкретная роль, мне не ясно. За что его можно ухватить. Но пока главное — путь, путь к нему.

И вечером Лена поехала к Липе.

Перед этим она, правда, не удержалась и позвонила Откаленко. Весь день думала о нем, с того момента, как на утренней оперативке увидела его лицо со следами ушибов и, как ей показалось, его очень грустные, совсем больные глаза.

— Как дела, капитан? — с наигранной бодростью спросила Лена.

— Нормально,— скупо ответил Игорь. — Ты-то как?

— Я тоже нормально, капитан,— все так же бодро ответила она. — Как ушибы, болят? Тебе что велели делать?

— Терпеть. А ты что делаешь?

— Еду к подружке Липе.

— Ну, ясно,— с неудовольствием ответил Игорь.

— Привет, капитан.

— Привет.

Вздохнув, Лена повесила трубку. «Что же это такое? — невесело подумала она. — Долго это будет продолжаться? И чем он недоволен?»

Когда Лена приехала к Липе, Нина была уже там. Они встретились вполне дружелюбно, даже расцеловались. Лена, правда, изображала обиду, она

была холодновата и сдержанна. А Нина... изображала раскаяние. И обе чувствовали, что идет игра, и были полны взаимной неприязни, настороженности и при этом очевидного желания снова наладить отношения, хотя цель каждой оставалась для другой неясной.

Липа всего этого не замечала, она была переполнена радостью и нежностью к обоим своим подругам и не переставала болтать.

Все уселись пить чай.

— Ой, я так виновата перед тобой, дорогая,— сказала Нина, осторожно откусывая печенье.— Но я даже не могла подумать, что он настолько обнаглел. Ну, и выпил, конечно. Его, между прочим, можно понять,— Нина лукаво улыбнулась,— ты же прелесть.

— Наглец,— ответила Лена, тоже, но принужденно улыбаясь.— Я люблю таких проучить.

— А разве у вас ничего не было?

— Кое-что было,— усмехнулась Лена.— Например, я ему чуть не сломала плечо. Он взвыл и убежал. Но успел меня все же запереть.

— Какой ужас! — всплеснула руками Липа.

— Как же ты выбралась? — поинтересовалась Нина.— Представляешь, под утро Севка спускается туда... Ой, правда, у него плечо все время болело. Сказал, что ударился. Но как же ты все-таки выбралась?

— Топор нашла. Нажала им на замок, он и отскокил.

— Ну, и вернулась бы к нам.

— Что ты! После этого? Схватила пальто и бежать. Прямо на станцию. Еле нашла.

Некоторое время разговор вертелся вокруг пустяков — моды, тряпки, сплетни об общих знакомых. Но вот Нина, уловив момент, когда Липа вышла зачем-то на кухню, многозначительно сказала:

— Тебя хочет видеть Лев Константинович.

Лена недоверчиво усмехнулась:

— Мне казалось, он хочет видеть только тебя.

— Не говори глупости, у него деловой разговор.

Липа появилась с горячими пирожками, и снова завязался общий разговор. Гости наперебой расхваливали пирожки.

— Леночка, ты мне скажи свой рабочий телефон,— попросила Нина.— Я тебе на днях непременно позвоню.

— Пожалуйста,— охотно согласилась Лена.— Пиши. Это обстоятельство было предусмотрено заранее. Больше разговор никаких опасных тем не касался. И вечер кончился вполне дружески. На прощание Липа расцеловала обеих подруг.

...Нина позвонила на следующий день под вечер.

Но до этого произошел один странный случай.

Инне Уманской позвонил ее брат.

— Инка, помощь нужна. С работой. Твоя Лена еще в милиции работает или ушла уже?

— С чего ты взял? — удивилась Инна.— Конечно, работает.

— В ОБХСС?

— Нет. Она в МУРе.

— Эх, жаль. Тут, понимаешь, толчок один нужен. Воляныт, дьяволы!

— А ты в суд на них подай. Раз тебя оправдали, пусть...

— Тут лучше неофициально,— досадливо возразил Николай.— А у Ленки нет знакомых в ОБХСС?

— Не знаю. Во всяком случае, просить ее я ни о чем не буду.— Инна рассердилась.

— Ну, тогда ладно. Считай, что этого разговора у нас не было,— обиделся Николай и бросил трубку.

А на следующий день Нина позвонила Лене. К счастью, та была на месте.

— Леночка,— торопливо и встревоженно сказала

Нина.— Очень надо усидеться. Я заеду за тобой. Вы где находитесь?

— Ой, мне сейчас надо с начальством ехать на точку,— ответила Лена, лукаво улыбнувшись сотруднику, который позвонил ей к телефону.— А откуда я к Инне обещала заехать. Может, отложим до завтра?

— Нет, нет. А если я тебя на этой точке перехвачу?

— Неудобно. Давай тогда так условимся. Через... — Лена посмотрела на часы.— К шести у Инны. Ладно?

— К ней заходить не хотелось бы. Я тебя лучше возле ее дома подожду. В машине. Давай адрес.

Лена продиктовала адрес и повесила трубку.

— Почему-то очень спешит,— сказала она.— И волнуется.

В этот момент в комнату вошел Откаленко. Наклейку с лица он снял, но под глазом остался бурый рубец. Тем не менее Игорь был бодр, энергичен и даже на свой манер скупно улыбался.

Лена удивленно спросила:

— Ты зачем пришел? Тебе лежать надо.

— Я может, я по тебе соскучился?

— Ого! — еще больше удивилась Лена и сказала сидевшему тут же сотруднику: — А ведь он болен серьезнее, чем мы думали.

— Да-а,— шутливо согласился тот.— На голову перекинулось.

Откаленко с напускной строгостью сказал:

— Шуточки? На работе находитесь, товарищи.— И обратился к Лене: — Кто спешит и кто волнуется?

— Уважаемая Нина Сергеевна.

— Ладно. Идем к Кузьмичу. Там решим.

По дороге он сказал Лене сердито:

— Я тебя больше ни на шаг одну не отпущу. Все.

— Посмотрим,— независимо ответила Лена, но сердце у нее на миг замерло от волнения.

Спустя час Лена подходила к дому, где жила Инна, и уже издали увидела поджидавшие ее «Жигули».

Нина сказала торопливо:

— Поехали скорей. Нас ждут.

Машина сорвалась с места. Видно было, как Нина нервничает.

Довольно быстро они оказались в одном из кри-вых переулочков Замоскворечья, возле старого трех-этажного дома с облупленной штукатуркой по фасаду и ржавыми балкончиками. Нина заехала во двор и остановилась возле темного подъезда. Чуть не на ошупь, держась за перила, поднялись на второй этаж. На лестнице пахло кошками и подгоревшей едой.

Нина позвонила.

Дверь открыл сам Лев Константинович, одетый вовсе не по-домашнему, в темном костюме и при галстуке. Глянцено бритые тугие щеки даже поблескивали в тусклом свете одинокой лампочки, седая щеточка усов воинственно топорщилась под широким носом.

— Прошу,— церемонно сказал он чуть в нос и помог обоим женщинам снять пальто, потом снова повторил: — Прошу. Вот сюда.

Они зашли в скудно обставленную, мрачноватую комнату. Маленькая квартира эта была как бы выгорожена из большой. Лена даже подумала, что и входная дверь в нее была тоже вроде бы лишней на лестничной площадке.

— Ниночка, чайку бы нам,— барственно и спокойно распорядился Лев Константинович, потирая руки, и указал Лене на стул возле покрытого пестрой скатертью квадратного стола на толстых резных нож-

ках, над которым свисал оранжевый замызганный абажур.— Присаживайтесь. Сейчас мы свет зажжем. Где это он тут включается? Ага...

Казалось, он и сам незадолго до них впервые пришел в этот дом.

Лев Константинович подошел к двери и щелкнул выключателем. Вспыхнули две лампочки под стареньким абажуром, и в комнате сразу стало светло. Лев Константинович вернулся к столу. Его широкое крепкое лицо с седыми усиками, с маленькими, живыми глазами-буровичками под нависшими, удивительно черными бровями из сурового вдруг стало неожиданно грустным, когда он посмотрел на Лену, посмотрел внимательно и сочувственно.

— Что вы на меня так смотрите, Лев Константинович? — улыбнулась Лена.

— Жалко вас, милочка. Ведь я вам должен сообщить пренеприятнейшую для вас вещь. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Златова, не так ли?

— Так, — как можно спокойнее ответила Лена. — Что из этого?

Однако это открытие ее обеспокоило.

— Вы, очевидно, неприятно удивлены? — усмехнулся Лев Константинович. — А между тем все очень просто. Фамилию сообщила ваша подруга Инна.

— Кому сообщила? — совсем простодушно поинтересовалась Лена.

— Нам. Она связана с некоторыми нашими людьми.

— Неправда!

— Правда, правда. И вы, кстати, тоже связаны. Вам ведь известен некий Николай Уманский?

— Он ни в чем не виноват! — вырвалось у Лены.

— Ошибаетесь. Просто мы ему помогли выбрать-ся из этого дела. Он нам нужен. Но Николай, увы, остался под подозрением, большим подозрением. Так что сами понимаете...

Лев Константинович вздохнул и сожалеюще развел руками.

Лену охватил страх. Что же теперь будет?

— Но это только половина того, что я должен вам сообщить, — все с той же изысканной вежливостью продолжал Лев Константинович, не спуская глаз с Лены. — Вторая половина посерьезнее. Почему вы нас обманули? Вы же в милиции работаете, не так ли?

— Вы с ума сошли! — воскликнула Лена.

Но получилось у нее это не очень уверенно. Лена растерялась.

— Нет. Никто с ума не сошел. Никто, — сочувственно покачал головой Лев Константинович. — Просто не надо других считать глупее себя.

В это время вошла Нина с подносом в руках. На нем стояли большой цветастый заварочный чайник, чашки, блюдца, розетки с вареньем, горка печенья на тарелке, еще что-то. Нина с какой-то неопределенной усмешкой быстро и молча расставила все на столе. Потом прямо из заварочного чайника налила всем чай.

— Отлично. Попьем чаю, — деловито распорядился Лев Константинович и придвинул к себе чашку. — Так и беседа пойдет легче.

Лена к своей чашке не прикоснулась. Она сидела ошеломленная, не в силах собраться с мыслями. Все произошло чересчур неожиданно и выглядело слишком страшно.

Лев Константинович громко отхлебнул чай и посмотрел на Лену.

— Вам, милочка, — сказал он, — придется все нам рассказать. Все. Ничего тут теперь не поделаешь. Придется.

Лена сделала невольное движение, и Лев Константинович, уловив его, насмешливо хмыкнул.

— Не бойтесь. Мы вас не будем пытаться, бить и прочие глупости. Вы все нам расскажете сами. Ведь вы за это получили большие деньги.

— Я?!

— Конечно. Как-никак, пять тысяч.

— Вы с ума сошли! Какие пять тысяч?

Лену начала бить мелкая, противная дрожь. Теперь она уже боялась взять в руки чашку, чтобы не выдать себя, не расплескать. А во рту у нее вдруг все пересохло.

— Ну опять, — поморщился Лев Константинович, отхлебывая чай. — Это не разговор. Деньги на вашей сберкнижке лежат, и мы можем в любую минуту это доказать, если потребуется. И тогда... Ну, вы сами понимаете, что тогда. Вот почему вам придется все нам рассказать. Между прочим, самое интересное, — он снова не спеша отхлебнул чай, — вы не сможете больше никого арестовать. Ну, Севочку Глинского вы взяли. Верно. А кого еще?

Лена молчала.

— Так, — констатировал как бы даже удовлетворенно Лев Константинович. — Пока ничего говорить не хотите. Что ж, я терпелив. И еще кое-что вам скажу. Да вы пейте чай, пейте. И ты пей, — кивнул он Нине. — У нас, как видите, вполне мирная беседа. Леночка, надеюсь, все взвесит. Иначе... Между прочим, вам теперь, полагаю, ясно, как мы узнали место вашей истинной работы? МУР, не так ли? Кстати, почему МУР, а не ОБХСС?

— За вами еще и убийство, — глухо сказала Лена.

— Ну-ну, убийство не за нами. Убийство... Впрочем, теперь понятно. Вот что значит связываться с уголовником, дорогая, — обратился Лев Константинович к Нине. — Фи! Мразь!.. Ну да ладно. Так вот, — он снова повернулся к Лене. — Вы, если хотите знать, вызвали у меня подозрение с самого начала. Ваша ошибка: вы слишком активно шли на сближение с Ниночкой. Не заметили? И она не заметила. И никто из наших не заметил. Заметил я, — самодовольно ухмыльнулся Лев Константинович.

— Она тоже активно шла на сближение, — сказала Лена.

— А это уже по моему совету. Ведь началось шевеление и вокруг Севочки. Вот, кстати, ваша сберкнижка. — Лев Константинович достал бумажник, вынул оттуда новенькую сберкнижку и помахал ею в воздухе. — На нее внесено пять тысяч. Три дня назад. Вот, полюбуитесь.

Он раскрыл книжку и показал Лене сначала первый листик с ее фамилией, прикрыв при этом номер сберкассы, потом следующую страницу, где значилась внесенная сумма — пять тысяч, потом так же неторопливо спрятал книжку в бумажник.

— Все-таки я бы на вашем месте эти деньги взял, — вздохнув, сказал Лев Константинович. — И никто же не узнает, имейте в виду, ни одна душа. А мы с Ниночкой молчать умеем. Тем более что это и в наших интересах. А такой суммой, знаете, не бросаются.

— Вы бросаетесь, — сказала Лена и откашлялась.

— Не-ет, — усмехнулся Лев Константинович. — В крайнем случае одним работником МУРа будет меньше. — И внезапно спросил: — Шанин арестован? — Да, — вырвалось у Лены почти непроизвольно, и она испугалась.

— Ну, вот, — кивнул Лев Константинович. — Видите? Вам же ничего не стоит заработать эти деньги. Что у вас есть против Севочки?

— Он негодяй, ваш Севочка.

— Ну, это само собой, — махнул рукой Лев Константинович. — Но за попытку к изнасилованию вы его привлекать не собираетесь, надеюсь?

— За ним есть кое-что еще.



— Что же? Ведь он не совершил убийство. Он там просто не был. И соответственно кислоту не вывозил. Так ведь? Это сделал Димочка — вам известно, полагаю?

— Известно...

Лена не знала, что делать, как себя вести. Просто молчать? Но нервы не выдерживали молчания. Ей хотелось заставить этих негодяев, этих наглецов тоже испугаться, хотелось показать, что она их не боится, что презирует их, что провокация ничего им не даст. Она сразу же все сообщит Федору Кузьмичу... Но такие деньги... На ее имя... Разве эти люди будут рисковать деньгами просто так? Они сообщат об этих деньгах не Цветкову, конечно, не генералу даже, а еще выше. Там Лене не знают. Там назначат служебное расследование, а пока отстранят ее от работы, и кто знает... Ведь ко всему прибавится еще и Николай. Получается, что она скрыла знакомство с ним. У Лены все похолодело внутри. Кто знает, чем это все кончится... Кто знает... Что же делать? Как себя сейчас вести с ними, чтобы... Чтобы вырваться отсюда. Они так просто не отпустят ее...

— Тогда что же предъявляется Севочке? — снова повторил вопрос Лев Константинович. — Говорите. Вы же начали. Продолжайте.

— Он подделывал доверенности, ваш Севочка.

— Ах, вот вы до чего докопались. И знакомился с нужными людьми?

— Да.

— Так, так... — Лев Константинович подумал с минуту и неожиданно с вызовом спросил: — Вы знаете, куда делась кислота?

— Допустим.

— Очень хорошо.

— Ничего хорошего, — вдруг вставила Нина, все время напряженно слушавшая их разговор. — Удушила бы я тебя, — повернулась она к Лене. — Жаль, что Севка тебя не покалечил.

— Ну-ну. Не надо так, — примиряюще сказал Лев Константинович. — Это ничего не дает, Ниночка. А разговор у нас получается превосходный. Если его передать начальству в МУРе, то станет ясно, за что она получила деньги. — Лев Константинович даже потер руки от удовольствия и уже деловым тоном, нахмурившись, спросил у Лены:



— У вас там есть такой... Лосев. Он случайно не занимается нашим делом?

— Откуда вы его знаете? — почему-то испугалась Лена.

— Откуда знаю? Наслышан, — неопределенно ответил Лев Константинович. — От коллег. Значит, занимается... Это плохо. — Он забарабанил пальцами по столу. — А мы ведь с ним встречались, представьте.

— И снова встретитесь.

— Вы так полагаете? — язвительно спросил Лев Константинович. — Что, у него не бывает неудач?

Лене вдруг стало невыносимо горько и так обидно, что задрожал подбородок, и она, еле справившись с собой, сказала:

— Вы его плохо знаете. Он...

— Ладно, — властно перебил ее Лев Константинович. — Оставим воспоминания. У нас есть вопросы поважнее. И раз уж наше сотрудничество началось, надо... вам что, плохо?

Лена сидела бледная и, попробовав взять чашку, поспешно опустила ее на блюдце, громко звякнув о его край.

— Ничего мне не плохо.

— Нет, плохо, — посочувствовал Лев Константинович. — Очень плохо. Что ж, тогда на сегодня, пожалуй, хватит. И запомните, вы столько наговорили нам и мы так щедро вам заплатили, что не советую развязывать язык в другом месте. И выходить из игры. Ниночка, вези ее... Куда попросит.

— Я сама...

Когда Лена очутилась на темной лестнице и за ней захлопнулась дверь, она без сил прислонилась к стене и судорожно сглотнула подступивший к горлу комок.

— Я пропала... — прошептала Лена. — Пропала...

Она начала медленно спускаться по лестнице, держась за шаткие перила.

...В это время в кабинете Цветкова шел важный разговор. Докладывал Лосев. Кроме них, в кабинете никого не было.

— Информационный центр выдал справку, Федор Кузьмич. Смоляков отбывал наказание с неким Зарубиным Иваном. Освободились одновременно. Зарубин сейчас живет в Крыму, в Ялте. Работает в санатории «Южный берег». Садовником. Женат. Жену

зовут Марина. Видно, та самая. Работает в этом же санатории, официанткой.

— Как Зарубин характеризуется?

— Нормально. Ничего за ним сейчас нет.

— По какой статье судили?

— Сто сорок пятая, часть вторая. Грабеж. Четыре года получил. Со Смоляковым познакомился в колонии.

— Так-так. А поссорились, выходит, из-за этой Марины. И Смоляков не забыл. Да-а, рванет он теперь туда, и жди беды.— Цветков задумчиво покрутил сложенные очки и посмотрел на Виталия.— Вот что, милый мой, кому-то надо лететь туда.

— Давайте я слетаю.

— Ты здесь нужен. У тебя с Шаниным контакт наметился. Он думать начал, сам говоришь. Да и Глинский... Нет, ты здесь нужен. А в Крыму дело может получиться серьезное, тоже не всякому доверишь.— И Цветков решительно заключил: — Полетит Откаленко, вот так. Как он появится, заходите вместе и не медля. Ясно?

...Откаленко появился только через час. Он вошел в комнату, хмуро посмотрел на читавшего бумаги Лосева, снял пальто и, молча усевшись за свой стол, придвинул к себе телефон.

— Ну, как? — не утерпев, спросил Виталий.— Лена где?

— Сейчас будет.

— Зачем Нина ее вызывала?

— Встреча была. Со Львом Константиновичем.

— Да? — насторожился Лосев.— И что?

— Сама доложит. От дела придется отстранять. И вообще...

— Ты толком можешь сказать? — спросил встревоженный Лосев.— Ключами из тебя каждое слово тянуть надо. Что «вообще»?

— Хватит ей у нас крутиться. Женюсь, вот что.

— Ну да? — изумился Лосев.— Неужели решил? А она?

— Что «она»? Дала согласие.

— А почему «хватит крутиться»?

— Ты бы свою Светку пустил сюда?

— Здравствуйте. У нее же другая профессия.

— Вот и у Ленки будет другая.

— На это она тоже согласие дала?

— Слушай,— вспыхнул Игорь.— Ты дурака-то не валяй. Сам все прекрасно понимаешь. Нервов у меня на двоих не хватит, ясно тебе?

— Да-а...— протянул Виталий,— понимаю.— И с новой тревогой спросил: — А почему ее от дела придется отстранить?

— Провокацию устроили. По-крупному. Она сама не своя. Кузьмич у себя?

— Ждет нас. Тебе лететь придется.

— А, ладно,— раздраженно сказал Откаленко.— Давай Лену дождемся, вместе и пойдем.

Оба замолчали.

Пришла Лена. На бледном лице ее блуждала неуверенная улыбка. Она оглядела молчавших друзей и спросила:

— Ну что, пойдем?

— Пошли,— поднимаясь из-за стола, сказал Игорь.

Все трое вышли в коридор.

В кабинете Цветкова Лена, не дожидаясь приглашения, опустилась на стул. Откаленко и Лосев удрученно глядели в пол.

Федор Кузьмич дописал какую-то бумагу, вложил ее в папку, потом поверх очков оглядел вошедших и с неудовольствием спросил:

— Вы что, милые мои, с похорон явились? Что случилось-то?

Тут Лена, не сдержавшись, громко всхлинула и совсем по-детски вытерла кулаком слезы.

Глава VII. Что посеешь...

Улетел Откаленко в тот же день вечерним рейсом.

Провожал его Лосев.

До регистрации билетов оставалось еще полчаса, и друзья не спеша прогуливались по шумному залу ожидания Внуковского аэропорта.

— Лена почему не приехала? — спросил Виталий.

— Не велел,— коротко ответил Игорь.— Хватит с нее.

— Рапорт она написала?

— Написала.

— И что Кузьмич?

— Доложит генералу.

— Скорей бы ухватить за жабры этого Льва Константиновича. Нащупать бы...

— Нащупаем и ухватим. Не мы, так Эдик. Где он сейчас, кстати?

— В моих дорогих Лялюшках.— Виталий невольно вздохнул.— Хорошие там люди живут, я тебе скажу. Просто отличные люди. Вот Гриша поправится, женится на своей Лиле. Меня на свадьбу пригласил. И поеду. А что? И Светку возьму.— Лосев радостно улыбнулся.

— Он и меня приглашал.

— Ты когда у него в госпитале был?

— Сегодня. В пятницу его выписывают.

— Ну вот. Ты давай там, в Ялте, побыстрее управляйся. Сразу две свадьбы и сыграем. И поаккуратней, смотри. Смоляков не Лев Константинович, он беседы с тобой водить не будет. У него для беседы нож имеется.

Опять Игорь летел в командировку. Которая это была по счету? Как-то они с Виталием подсчитали, и получилось, что вместе уже облетели земной шар. А если прибавить, сколько он налетал один? Впрочем, теперь он воспринимал эти дальние, трудные свои командировки совсем, можно сказать, буднично. Задача ведь все та же: отыскать и задержать. А действовать по обстановке.

В Симферополе Игоря встречали ребята из уголовного розыска, один был давним знакомым — Никита Роцин, он когда-то работал в Свердловске и вот теперь в Ялте.

В Ялту приехали поздно вечером. У Игоря слипались глаза: тяжелый день выдался сегодня. В гостинице уже ждал номер, и Игорь еле добрался до постели.

Наутро состоялось короткое совещание в управлении. Кроме Рощина и начальника отдела угрозыска майора Савчука, присутствовал и участковый инспектор Болотный, на территории которого находился санаторий «Южный берег».

— Ну, Зарубин известен. Глаз с него не спускаю,— пробурчал Болотный.— У меня, знаете ли, особо не побалуешься.

— У вас не проходил? — спросил Игорь.

— Не-а,— покрутил головой Роцин.— Вот и Олег Филиппович тебе то же скажет. Верно, Олег Филиппович?

Савчук казался человеком невзрачным и молчаливым. И именно этой своей незаметностью и скупостью на слова особенно понравился Игорю. «Сыщик»,— уважительно подумал он.

— Не проходил,— подтвердил Савчук, помедлив, добавил: — Однако знаю его. И жену тоже. Молодая совсем. Веселая. Поет, танцует.

— А он?

— Он парень ревнивый.

— Во-во,— вмешался Болотный.— Она танцует, а он ревнует. Начнешь говорить с ним — молчит. Будто какое замыкание у него.

— А друзья у Зарубина есть? — поинтересовался Игорь.

— Друзья-то? Друзей вроде нет. Но вот, вы говорите, один прибыть должен?

— Какой он друг, это мы еще посмотрим,— ответил Откаленко.— Всякое тут может случиться. Скорей всего недруг придет — и жди беды... Как бы мне с Зарубиным для начала познакомиться? Но чтобы его самого не взволновать, не потревожить.

— А может, наоборот, насторожить его? — предложил Рощин.— Раз не с добром придет к нему этот Смоляков.

— Спугнуть я его боюсь. Вдруг да подхватит свою Марину и айда отсюда.

— Нет. Он не испугается,— сказал Савчук.

— Но зато готов будет,— настаивал Рощин.

Болотный засомневался:

— А вдруг да сговорятся?

— Марина между ними,— возразил Игорь.— Зол Смоляков на них обоих. И вспыльчив, реактивен. Как он машину свою на старика рванул тогда, в Москве,— никто опомниться не успел. Нет, мне надо познакомиться с Зарубиным, немедленно.

...Час спустя Откаленко приехал в санаторий «Южный берег». Невысокие, белоснежные его корпуса, поднимавшиеся вверх по склону, тонули в зелени кустов и деревьев. Ранняя и буйная весна уже стояла в Крыму. Было совсем тепло, а на солнце даже жарко.

Игорь оставил пальто в гостинице и сейчас шел по аллее парка в одном пиджаке, галстук он тоже снял и расстегнул ворот рубахи, с наслаждением вдыхая напоенный густым ароматом воздух.

Зарубина он отыскал на другом конце парка, в большом темноватом сарае, где хранился всякий садовничий инвентарь, удобрения в полиэтиленовых мешках, ящики с землей и какой-то рассадой. Парень оказался длинный, спокойный с виду, жилистый и загорелый, с крупными грубыми чертами лица и хмурыми глазами. На нем были старые, испачканные в земле брюки и расстегнутая чуть не до пояса, вылинявшая рубашка с закатанными рукавами. На голове красовался сделанный из газеты колпак. Зарубин поднял голову, настороженно посмотрел на остановившегося в дверях сарая Откаленко.

— Здравствуй, Иван,— сказал Игорь деловито и просто.— Давай познакомимся. Мне тут какое-то время работать придется. Капитан Откаленко. Это по форме если.

Игорь протянул руку.

Подошедший Зарубин неохотно и вяло ее пожал.

— Насвистели на меня, выходит? — хмуро спросил он.

— У меня, Иван, на такой художественный свист слуха нет,— возразил Откаленко.— Мне надо свое мнение о человеке иметь. Вот и о тебе тоже. Для того, между прочим, и пришел.

Игорь говорил спокойно и доброжелательно, не пытаясь, однако, подкупить этим тоном Зарубина.

Они вышли из сарая и уселись невдалеке на скамье.

— О судимости твоей я знаю,— напрямик начал разговор Игорь.— Но об этом как-нибудь потом. А то и вовсе вспоминать не будем. Как сейчас живешь, скажи?

— Ничего вроде. Живу...

— Доволен?

— Доволен...

— Я понимаю, Иван, душу раскрывать ты перед

каждым встречным не собираешься. И правильно. Но тут, понимаешь, дело особое. Я ведь в некотором роде ну как доктор, что ли. А докторам приходится все рассказывать, понимаешь?

— Меня уже ваши доктора лечили. Знаком,— не поднимая головы, насмешливо ответил Зарубин.— Полагал, хватит.

— Что, обида осталась?

— А ты думал? Не в санатории лечили.

— Ну, так ведь по справедливости все получилось?

— Так-то оно так...

— Вот и дальше все справедливо должно быть, я считаю. Друзьями-то обзавелся?

— Сыт друзьями.

— Старыми? — Игорь усмехнулся.— О них забыть пора.

— Не забываются.

— Что, напоминают?

— Пока бог миловал.

— И то хорошо. А ждешь? Ты с кем освобождался?

— Можешь справку навести.

— А самому вспоминать неохота?

— Придется, так вспомню.

Впервые в равнодушном тоне Зарубина мелькнула угроза.

— Значит, не по-доброму расстались?

— Не по-доброму.

Зарубин поднял голову и посмотрел на Игоря, что-то, видимо, собираясь спросить, но передумал и снова опустил глаза. Сидел он, согнувшись, опираясь локтями о колени.

— Да-а. По-разному, конечно, люди расстаются,— вздохнув, согласился Игорь.— И вина тут порой бывает обоюдная. Ты человек, и он человек.

— Это когда человек...

— А тут?

— А тут зверь! — с вызовом произнес Зарубин.— Ты бы видел! Он ее бил, издевался. И уйти не давал, гад.

Видимо, болела, саднила в душе история его женитьбы и ссоры со Смоляковым. Ни тот, ни другой не могли ее забыть, хотя и по разным причинам.

— Ты начал жизнь по-новому,— задумчиво сказал Игорь.— Это правильно. Так и надо дальше жить. Не сорвись, если что.

— Если придет?

— Вот именно.

— Убью,— глухо сказал Зарубин.

— Нет. Доверься мне. Не ошибешься.

И столько в словах, в тоне Игоря было властной решимости, что Зарубин внимательно посмотрел Игорю в глаза и, на этот раз решившись, спросил:

— Знаешь его?

— Знаю.

— Понятно...

— Нет. Не все тебе понятно, Иван. Спрашивай дальше.

Первое, зыбкое, ненадежное еще доверие возникло между ними, это чувствовали оба.

— Ну, спрашивай, чего же ты? — повторил Игорь.

— Ты... за ним приехал?

— За ним.

— Натворил чего-нибудь?

— Да. За ним длинный хвост и... кровавый.

— Выходит, конец ему?

— Должен быть конец.

— Должен быть... А почему ты ко мне приехал?

— Потому что он скорей всего к тебе заскочит, Иван. Он ничего не забыл. И ни от чего не отказался.

— Ты о Марине?

- Да.
- И мне хочет отплатить?
- Да.

Эти два коротких «да» заставили Зарубина нахмуриться. Он стиснул зубы.

— Она к нему не вернется.

— Я тоже так думаю. Теперь, Иван, ответь мне: согласен помочь?

— Не знаю.

— Почему не знаешь? Прямо говори.

— А я криво говорить не умею. За свои дела надо самому и платить, я так понимаю. Каждый за себя. И потом, милиции я еще никогда не помогал против... ну, как сказать? Одним словом, сам понимаешь.

— Против своих — так, что ли?

— Какой он мне свой, ты что? Но тут ведь без обмана не обойдется, так? А я это не признаю. Он ко мне без обмана придет.

— Та-ак. Ну что же, давай разберемся. А то ты оказываешься вроде как благородный, а я совсем наоборот.

— Не то я хотел сказать.

— То, то, если вдуматься. Так вот. Обрати внимание. Ты ведь заботишься сейчас о себе. И о Марине. Это тоже, считай, о себе. А я... Мне-то он лично ничего плохого не сделал. Какого же хрена, спрашивается, я на рожон лезу?

— Работа у тебя...

— Вот. Работа. Что же это за работа — под нож лезть, — давай разберемся. Так вот. Он человека убил, понял? Хорошего старого человека. И девушку, вроде твоей Марины, тоже пытался убить, в больнице ее выносили. Он еще одного человека ножом бил, и опять того выносили. Хватит?

— Хватит...

— Получается, у меня к нему счет побольше, чем у тебя, Иван. Я должен думать и о других людях, с которыми он может столкнуться, на которых может кинуться. Тут и ты, и Марина, и кто-то еще, другой. Я всех этих людей обязан от него уберечь. Сами они этого сделать не смогут. И ты не сможешь, не думай. Он и хитрее и поопытнее тебя. А я смогу. Я этому обучен. Это моя работа.

— Не позавидуешь, — усмехнулся Зарубин. В его усмешке проскользнула чуть заметная уважительность.

— Кто-нибудь, может, и позавидует. Не в том дело. Дело в справедливости. Вот главный закон моей работы. Все должны жить спокойно. И действовать тут надо умело. Где лопатой, где гранатой. Понял?

— Понял.

— Вот что я тебе напоследок посоветую. Ты пока Марину одну куда не пускай. Объяснять ничего не надо. Зачем пугать? Но мы с тобой должны его опасаться. И меры принять. Вместе.

— Да уж придется, видно.

— Для начала я попрошу тебя посторонних на территорию санатория с сегодняшнего дня не пускать. Придет к кому кто, пусть по телефону к воротам вызовет. Я видел, там телефон есть.

— А почему такой шухер наводишь, скажешь им?

— Нет. О том только мы с тобой знать будем. Так спокойнее.

— Ну, правильно, — с ноткой облегчения отозвался Зарубин. — А ты еще придешь или как?

— Приду. Завтра, в это же время. Ты меня здесь жди. И еще вот что, запиши-ка мой телефон. Если меня не будет, то Савчука позови. Или Рощина. Знаешь там таких?

— Нет.

— Люди надежные. И в курсе.

— Мне других надежных не надо. Я тебя знаю.

— Они мне передадут. Пиши номер. Фамилия, по вторяю, Откаленко. А зовут, между прочим, Игорь. Это уже для тебя.

— Понятно. Дай-ка ручку.

Зарубин вытащил пачку сигарет и на ней записал номер телефона.

Они расстались. Игорь направился к главному зданию санатория.

...В конце дня состоялось совещание у Савчука.

— Шоссе на Симферополь контролируете? — спросил Игорь.

— Еще с утра, — ответил Рощин. — Там наши. Получили по телеграфу его фото, размножили. Завтра на разводах вручим каждому постовому, — бодро заверил Рощин. — Никуда теперь не денется от нас.

— Только бы появился, — произнес Игорь.

— Я почему-то был уверен в Зарубине, — сказал Савчук задумчиво. — Видно, правильно вы с ним разговор построили.

— МУР, — многозначительно поднял палец Рощин. — Школа.

Ждать — это самое трудное и нервное дело. А тем более ждать сложа руки. Кажется, все сделано, что возможно, Игорь ничего не упустил. Больше пока искать Смолякова негде. Пока. До нового его проступления, до новой беды. Только тогда появится след.

Нет, надо еще что-то делать, надо думать, думать, думать...

Игорь беспокойно ворочался в постели и не мог заснуть.

Утром Рощин поинтересовался:

— Ну, как спал?

— Нормально, — буркнул Игорь.

— Да, — согласился Рощин, — ночь прошла спокойно. Не появился твой красавец. — Он повертел в руках одну из фотографий, лежащих на столе, и добавил: — Страшноватая рожа.

Игорь покосился на фотографию.

— В тюрьме снимали. Давай, Никита, думать, ничего мы с тобой не упустили? У санатория люди дежурят?

— А как же.

— Проверил бы. Я их не знаю.

— Проверю, проверю. На этот счет не беспокойся.

— Он опытный, Смоляков. Учти.

— Мы тоже опытные.

— А какие еще входы есть в санаторий, посмотрели?

— Слушай, — сочувственно сказал Рощин. — Да не волнуйся ты так. Все посмотрели. Все в порядке. Только бы он появился.

...И Смоляков наконец появился. Однако созсем не там, где его ждали.

Неожиданно позвонил Зарубин.

— Игорь? — глухо спросил он.

— Я. Чего звонишь?

— Приезжай. Дело есть.

Игорь нашел Зарубина у того же сарая, что и вчера. Он сидел на скамейке какой-то взъерошенный, сутулый и, опираясь локтями на широко расставленные колени, смотрел в землю, словно что-то потерял в траве возле ног.

— Ну, что случилось, Иван? — спросил Игорь, слегка запыхавшись и усаживаясь рядом на скамью. Зарубин вздохнул, откинулся на спинку скамьи.

— Письмо получил, — процедил он, доставая из кармана мятый конверт.

Игорь прежде всего внимательно осмотрел конверт.

— Так... Местное. Уже хорошо... Отправлено вче-

ра...— медленно говорил Игорь, крутя конверт в руках.— В одиннадцать часов... С центрального почтамта... Там, видимо, и писал его... Ну, посмотрим, чего написал.

— Прийти велит.

— «Велит». Он тебе что — хозяин?

Игорь вынул письмо. Это был сложенный вдвое зеленоватый бланк для телеграмм. Кривые строчки шли поперек печатного текста: «Здорово, дружок закадычный Иван. Поклон тебе от дружка Фени. Желаю встретиться. Приходи в субботу в парк у моря в двенадцать дня. Там открытая кафешка «Золотой маяк». Ждать буди. Не придешь, умоешься. Феня».

— Феня — кличка его? — спросил Игорь.

— Ага.

— А суббота у нас завтра, так?

— Так. Мне идти или как? Охота взглянуть.

— Не боишься?

— Я его бил,— нахмурился Зарубин.— Под нарами у меня сидел.

— Выходит, он тебя бояться должен?

— Посчитался,— коротко ответил Зарубин и невольно пощупал бок.

— Нож? — спросил Игорь.

— Напильник.

— Опасно.

— Ничего. Я живучий.

— Простил ты его все-таки? Под конец дружками вышли?

— Вроде того.

— А Марину, получается, ты у него увел?

— Я за нее заступился.

Игорь чувствовал: в сложный узел завязаны их отношения; это лишь на первый взгляд заурядный треугольник. Любовь и смерть шли здесь рядом.

— Ну, так чего, идти или нет? — спросил Зарубин сердито и нетерпеливо.— Или не доверяешь? Тогда прямо говори.

— Пойди, Иван, пойди,— согласился Игорь.— На всякий случай посмотрим, что такое он тебе скажет. Место знакомое?

— Знакомое.

— Ну, а мы подготовим встречу. Марина ничего не знает?

— Нечего ей знать.

И Игорь заспешил в управление.

Однако он и предположить не мог, что задумал на этот раз Смоляков.

В тот же день в Москве, в кабинете Цветкова, состоялся неприятный разговор.

Цветков вызвал к себе Усольцева.

С нехорошим предчувствием шел Виктор Усольцев в кабинет начальника отдела. Успокаивала только мысль, что главный его враг, этот чертов Откаленко, уехал в командировку.

Когда Усольцев зашел в кабинет Цветкова, то сразу увидел Лосева, сидевшего в стороне, на диване. Длинная его фигура в сером костюме и светлые волосы четко выделялись на темной обивке дивана, это почему-то бросилось Усольцеву в глаза сейчас.

Он остановился на пороге.

— Заходите, Усольцев,— сухо пригласил его Цветков.

Обращение на «вы» ничего хорошего не сулило.

Виктор молча сел на стул возле стола и неуверенно посмотрел на мрачного Цветкова, перебиравшего на столе карандаши.

— Так вот,— сказал Цветков, сдвигая карандаши в сторону.— Должен сказать, что вы плохо начали свою работу у нас. Не умеете, это бы я вам еще простил, а плохо,— подчеркнул он.— С самого пло-

хого начали и самого в наших условиях опасного — с обмана. Вот это мы, Усольцев, не прощаем. И это вы знали.

— Я не обманывал, я...

— Погодите,— приподнял руку Цветков.— Я не кончил. Вы провалили задание с Коменковым, вы не получили у него никаких сведений о Шанине, которого он, оказывается, хорошо знает. Ладно. Это может случиться с новичком. Совсем неопытным новичком, каковым вы и являетесь. Потому что Коменков — это пустой орех, его расколоть ничего не стоило. Но, вместо того чтобы честно доложить о неудаче, вы заявили, что задание выполнили, что Коменков о Шанине ничего не знает. Этим вы ввели нас в заблуждение и нанесли прямой вред делу. Такое прощать мы не имеем права. И не прощаем, Усольцев. Вот это первый пункт. Он вам ясен?

Виктор сокрушенно кивнул головой.

— Но мало этого,— хмуро продолжал между тем Цветков, не глядя на Усольцева.— Вы не только ничего не узнали. Вы умудрились вселить в Коменкова уверенность, что он приобрел в МУРе ценного дружка, который его в любой момент выручит, стоит только позвонить ему по телефону. И Коменков стал вести себя после встречи с вами еще увереннее и наглее. Стал хватать направо и налево этой связью и порочить тем МУР, всех нас,— с нарастающей досадой проговорил Цветков.— Всех! Как же вы посмели так поступить? Вы опозорили людей, которые годы честно здесь работают.

Усольцев еще ниже опустил голову и продолжал молчать.

Замолчал и Цветков.

Согнувшись, сидел на своем диване Лосев и смотрел на Усольцева.

— Что скажешь, Лосев? — спросил Цветков, не поворачивая головы.

— Я согласен с вами, Федор Кузьмич,— твердо ответил Виталий.— Сначала я думал, что это можно еще поправить. Но теперь...

— Сейчас уже поздно, считаешь?

— Сейчас?... Виталий подумал.— Сейчас опасно иметь его рядом, я считаю. Доверие кончилось.

— Так. Но тут и твоя вина. Согласен?

— Согласен.

— И тебе урок.

— Тоже согласен.

— И всем нам,— как всегда, справедливо разделил вину Цветков.

В кабинете на миг воцарилась тишина.

— Что скажете, Усольцев? — спросил Цветков.

Виктор, поборов себя, коротко ответил, не отрывая глаз от пола:

— Я не буду оправдываться. Вина... Во всем... Только я не хотел этого...

— Не хотел,— с горечью повторил Цветков.— Но сделал. Выходит, понимал, что это плохо, и все же так поступил. Гм... Это еще хуже. Что ж,— вздохнул он,— будем решать, будем решать...

И вот тут Усольцев разозлился. Ему показалось, что Цветков просто поймал его на слове и тем самым несправедливо усугубил его вину. И он сказал с вызовом:

— А решать будете не вы, а руководство. И оно отнесется объективнее.

— Вот как? — удивился Цветков.— Значит, вы хотите остаться у нас? — Он словно пропустил мимо ушей упрек в необъективности.— Вы считаете это возможным и даже рациональным?

— Да, считаю. Мне, молодому специалисту, не было оказано помощи со стороны товарища Лосева. Вы сами это сказали.

— М-да. Выходит, ничего он не понял,— как бы

про себя сказал Цветков и посмотрел на Усольцева.— Ладно. Обещаю вполне объективное рассмотрение вашего дела. А пока отстраняю вас от работы.

— А я возражаю.

— Ну-ну. Тут уж разрешите мне командовать. А что касается Лосева, он получит за вас выговор. Слышишь, Лосев?

— Так точно.

— Вот и все, Усольцев. Можете быть свободны.

Виктор поднялся и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Когда за ним закрылась дверь, Цветков спросил:

— Ну, что скажешь?

— Я уже все сказал, Федор Кузьмич,— сокрушенно ответил Лосев.

— Да-а. Рано он к нам попал, вот что. Ошибка это... Что Албанян-то, не вернулся еще?

— Пока нет. В Лялюшках моих сидит.

— Лялюшки... Линия сбита у них — не только Лялюшки, учти. Куда они, к примеру, пряжу дели?

— Надо того усатенького найти, который ее получал.

— Кто его видел?

— Вера Хрисанова видела. Да вообще вся их бухгалтерия.

— И никто ничего интересного в нем не подметил?

— Ничего. Кроме усов, правда.

— Дались тебе его усы...— улыбнулся Цветков.

— А вы знаете, Федор Кузьмич,— вдруг оживился Виталий,— Лена говорила, что эта ее Липа — бывший гример и кому-то она усы делала. Надо бы поинтересоваться.

— Вот и поинтересуйся. И еще раз поинтересуйся Глинским. Есть у него путь к Льву Константиновичу или нет? Осторожненько побеседуй, по-нашему. А официально его завтра Виктор Анатольевич будет допрашивать.

— Выздоровел наш следователь?

— Вроде бы. Сегодня звонил. Ну, ты давай, работай.

Лосев вернулся к себе в комнату, удобно расположился за столом, вытянув свои длинные ноги в проход, чуть не до стола Откаленко, и задумчиво посмотрел на телефон, потом, вздохнув, протянул к нему руку. И в тот же миг телефон внезапно зазвонил сам, так что Виталий невольно вздрогнул и поспешно снял трубку.

— Лосев. Слушаю.

— Виталий Павлович, к вам арестованный Глинский просится,— доложил дежурный внутренней тюрьмы.— Привести?

— Как он там себя ведет?

— Нервно,— усмехнулся дежурный.— Ночью два раза контролера вызывал. На сокамерников жаловался. Так когда его к вам доставить?

— Вот сейчас и доставляйте.

— Слушаюсь.

Виталий повесил трубку. «Весьма кстати»,— подумал он.

Глинского привели через несколько минут. Выглядел он неважно. Недавно еще холеное, крепкое лицо казалось желтым и морщинистым, под глазами легли синие тени, а в черных глазах появилось какое-то затравленное выражение, губы нервно подергивались. От былой его самоуверенности и наглости не осталось и следа. Костюм был помят, от рубашки отлетели пуговицы, и видна была несвежая голубая майка. На ботинках шнурков не было, и Глинский шаркал подошвами по полу.

Вошел он, однако, быстро и тут же без сил повалился на стул.

— Вы что... что со мной делаете?...— захлебываясь,

проговорил он.— Вы что, садисты, палачи, убийцы?... Вы что, не понимаете...

— Спокойно, Глинский,— прервал его Лосев.— Ничего мы с вами не делаем. Просто ваша распрекрасная жизнь, которой вы так гордились, поворачивается к вам другой своей стороной. Только и всего.

— А я протестую! Ясно вам? И требую...— Глинский секунду помедлил.— Одиночку! У меня сил больше нет там находиться с этими подонками!

— Вам, конечно, другие подонки больше по вкусу?— усмехнулся Лосев.— Что поделаешь. Вы сами выбрали такую жизнь. Вы мне это, помнится, очень хорошо все обосновали.

— Ладно, ладно,— нервно махнул рукой Глинский.— Мне, знаете ли, сейчас не до шуток. Я понимаю, ничего даром не делается. Даже здесь.

— Что вы хотите сказать? Вам не нравится роль главаря?

— Да никакой я не главарь, можете вы это понять или нет?! И то, что вы мне тогда приписали, ложь, ложь и ложь! Ну, скажите, похож я на главаря?

— Вы сейчас вообще мало на что похожи,— поморщился Лосев.— Но раньше...

— И раньше не был похож! Долго я вам буду это объяснять?!

— Вы пока вообще еще ничего не объяснили. Крик, знаете, не объяснение,— спокойно возразил Лосев.— И что значит «ничего даром не делается»? Пока это хоть объясните.

— Очень просто... Очень просто...— лихорадочно зашепел Глинский.— Я вам кое-что сообщу. Вы понимаете? А вы мне устройте одиночку. Обязательно! Иначе я сойду с ума! Будете тогда отвечать. Сойду, сойду, вот увидите...

На глазах у Глинского выступили слезы. Вид у него был жалкий и мерзкий. Громко всхлипнув, он полез за платком.

— Ну-ну, Глинский, нельзя же так распускаться,— сказал Лосев.— Ваши бы дамы на вас посмотрели. Что вы хотели мне сообщить, говорите?

— Будет...— Глинский трубно высморкался и вытер глаза.— Будет... одиночка?..

— Постараюсь.

— Я вам почему-то верю.— Глинский спрятал грязный платок в карман и немного успокоился.— Так вот. У меня дома, признаюсь вам, лежит готовая доверенность. В левом ящике стола, на дне, под бумагами.

— Мы ее не нашли.

— Ах, так? Значит, я ее уже передал. Все в голове перепуталось, все!

— Что за доверенность вы изготовили?

— От кондитерской фабрики. Она под Москвой находится.

— Это та, где работает Рая?

— Вот-вот.

— А где следует лимонную кислоту получать?

— На заводе. В Борске.

— Когда?

— Ну, это надо делать быстро. По крайней мере Лев так делает.

— Кто же поедет, как по-вашему?

— Не знаю, не знаю. Это не моя область. Я все сказал. И я... Вы...— Глинский снова заволновался.— Я больше туда не вернусь... Вы обещали... Ну, я вас умоляю...— У него снова выступили на глазах слезы.— Я из окна выброшусь!..

— Опять слезы...— брезгливо сказал Виталий.— Я же обещал вас перевести. Кстати, как же все-таки ухватить Льва Константиновича, если главарь он, как вы говорите? Вы, кажется, не хотите быть христосиком. так ведь?

Глинский злобно взглянул на Лосева.

— Нинку берите. Стираю эту толсюзадую.

...Когда Глинского увели, Виталий собрал со стола бумаги, запер сейф и отправился к Цветкову.

Подробно доложив о состоявшемся разговоре, он сказал:

— Нам надо тоже быстро действовать, Федор Кузьмич. Пока что они опережают нас на два дня.

— Да,— кивнул Цветков.— Немедленно надо действовать. Поэтому сегодня лети в Борск. Я сейчас туда позвоню.— Он повернулся к расписанию, висевшему у него за спиной, и начал вести сверху вниз карандашом.— Б... б... Борск. Через два часа семнадцать минут.— Он взглянул на часы.— Успеваешь. Домой позвони.

Федор Кузьмич был не по годам динамичен, когда того требовала обстановка. И молодые сотрудники иногда еле успевали за его стремительными решениями.

— Жди теперь их там,— недовольно пробурчал Виталий.

— Дождешься. Чует мое сердце, чего-то ты там дождешься.

Под вечер Откаленко решил еще раз побывать в санатории.

Весь день он занимался подготовкой к завтрашней встрече со Смоляковым в кафе «Золотой маяк». Вместе с Роциным погулял в парке. Они внимательно изучили само кафе, все подходы к нему, пригляделись к работающим там официанткам. Под нехитрым предлогом заглянули даже на кухню и в подсобки.

Все излазив, осмотрев и оценив, Игорь и Роцин вернулись в управление и уже вместе с Савчуком принялись обсуждать план предстоящей операции. Долго решали, где расставить людей, какие выбрать сигналы, как маскироваться, в какой момент и кому брать Смолякова, как вывести из операции Зарубина. Следовало при этом иметь в виду, что Смоляков опытен, озлоблен и наверняка вооружен, что ему терять нечего и он, не раздумывая, пустит в ход любое оружие. А ведь встреча произойдет днем, в людном месте. Поэтому надо было как можно дальше вести Смолякова от кафе, очевидно, уже после встречи с Зарубиным. Сама схватка должна произойти мгновенно, и тут же надо было исчезнуть с места происшествия, чтобы не потревожить, не испугать окружающих людей, не породить в городе лишние разговоры и слухи. Словом, задач и забот оказалось немало.

Но под вечер Откаленко обнаружил, что больше делать ему нечего и занять себя тоже нечем. Тревога, однако, не покидала его, надвигающийся вечер таил, казалось, какие-то неведомые и опасные сюрпризы. Игорь не находил себе места. Вот тогда-то он и решил еще раз побывать в санатории и повидать Зарубина.

Однако Ивана в обычном месте не оказалось. Откаленко направился к нему домой. Зарубины жили в длинном белом трехэтажном доме обслуживающего персонала по другую сторону обширного и красивого парка.

Дверь открыла совсем юная стройная женщина. Темные густые волосы были тщательно уложены. На оживленном круглом личике красок было, на взгляд Игоря, куда больше, чем следовало. Это, конечно, была Марина, тут Игорь не сомневался. Она казалась веселой, оживленной, подведенные глаза блестели, на щеках возникли две милые ямочки.

Игорь, пощуповавшись, попросил Ивана.

— А его, знаете, нет,— проникновенным тоном,

точно сообщая что-то загадочное и интересное, сказала Марина.— Он ушел.

— Куда же он ушел? — спросил Игорь.

— Я не знаю. Только... я тоже уйду.

— На вечер, наверное?

— Да,— улыбнулась Марина.— Танцы будут. А вы здесь живете? — Она тоже проявила к нему интерес.— У нас в санатории?

— Нет. Просто дружок Ивана, проведать заглянул.

Марина изменилась в лице. Удивительно, как оно вдруг мгновенно потухло, а глаза уже смотрели испуганно и подозрительно.

— Что, давний дружок, да? — почти враждебно спросила она.

— Да нет, совсем недавний,— успокоил ее Игорь.— Он вам не говорил про меня? Меня Игорь зовут.

И, как всегда, его скупая короткая улыбка на суровом лице вызвала доверие. Марина снова преобразилась, снова заблестели глаза, появились ямочки на щеках.

— Нет, не говорил.— Она покрутила головой и лукаво добавила: — Я бы запомнила.

Это почему-то не понравилось Игорю. Он сдержанно спросил:

— Может быть, я вас провожу на эти самые танцы, если разрешите?

— Очень приятно. Я только кофту возьму.

Она сдернула с вешалки кофточку и, выйдя на площадку, заперла за собой дверь. Потом побежала вниз по лестнице, дробно стуча высокими каблучками. Откаленко устремился за ней.

В парке Марина вскоре свернула с главной кипарисовой аллеи на боковую. Здесь было и вовсе тихо и безлюдно, сплошной стеной стояли густые клены, между ними попадались скамейки.

— Здесь к клубу идти ближе,— объяснила Марина и в который уж раз оглянулась.

— Чего вы боитесь, Марина? — напрямик спросил Игорь, шагая рядом.— Старых дружков Ивана?

— А вам не все равно, кого я боюсь? — насмешливо спросила Марина, бросив на Игоря взгляд через плечо.

— Я не люблю, когда люди чего-то боятся,— ответил Игорь.

— Ой, как бы я хотела ничего не бояться,— вздохнула Марина и метнула испуганный взгляд на Игоря, словно проговорилась, и, явно стремясь перевести разговор на другое, беззаботным тоном спросила: — А вы танцевать останетесь?

— Нет,— покачал головой Игорь.— Мне Иван нужен.

— А зачем?

— Мужские секреты, Мариночка,— усмехнулся Игорь.— Не могу сказать.

— Ой, неправда, неправда! Вы совсем не похожи на Ваниных дружков.

— А вы кого-нибудь из них знали?

— Я?.. Одного. Только он...

— Что «только он»? — напористо переспросил Игорь.

— Приехать сюда не посмеет, вот что,— раздраженно выпалила Марина и неожиданно добавила: — Я так думаю...

— Почему же вы так думаете?

— Он знает, что я его никогда в жизни не приму.

— Откуда же он знает это?

— А он мне писал. Вот так.— Марина с вызовом вздернула вверх подбородок.— Только я эти письма рвала и ни словечка не отвечала. И Ване не показывала. И вы не говорите. А то он переживать будет. Не скажете?



— Не скажу. Значит, этот человек вас не забыл?

— Лучше бы он меня забыл. Я, знаете, как его боюсь?! — Она с жалобной доверчивостью посмотрела на Игоря. — Господи, чего это я вам все рассказываю, не понимаю.

— А мне все про себя рассказывают, — пошутил Игорь.

— Как на исповеди, да? Вы, наверное, поп переодетый? — Марина как-то облегченно рассмеялась.

— А вы у Ивана спросите, кто я.

— И сказать, что вы меня провожали, да? — с обычным своим лукавством спросила Марина. — Не побоитесь? Он очень сильный.

— И очень вас любит?

— Очень, — убежденно ответила Марина, глядя себе под ноги. — Ведь он хороший. У него в жизни было только одно. — она запнулась, — одно нехорошее дело. Но он больше никогда так не поступит, он мне поклялся. А то... а то он меня потеряет.

— Я тоже думаю, что он больше никогда так не поступит, — сказал Игорь.

— Вот. Поэтому я его люблю. На всю жизнь.

Ну, тогда расскажите ему, что я вас прово-

дил, — усмехнулся Игорь. — Авось, оправдаюсь. Вон, кажется, ваш клуб.

Они свернули еще на какую-то аллею, и в конце ее показалось большое, ярко освещенное здание. Возле него толпились люди.

Не доходя до клуба, Игорь простился.

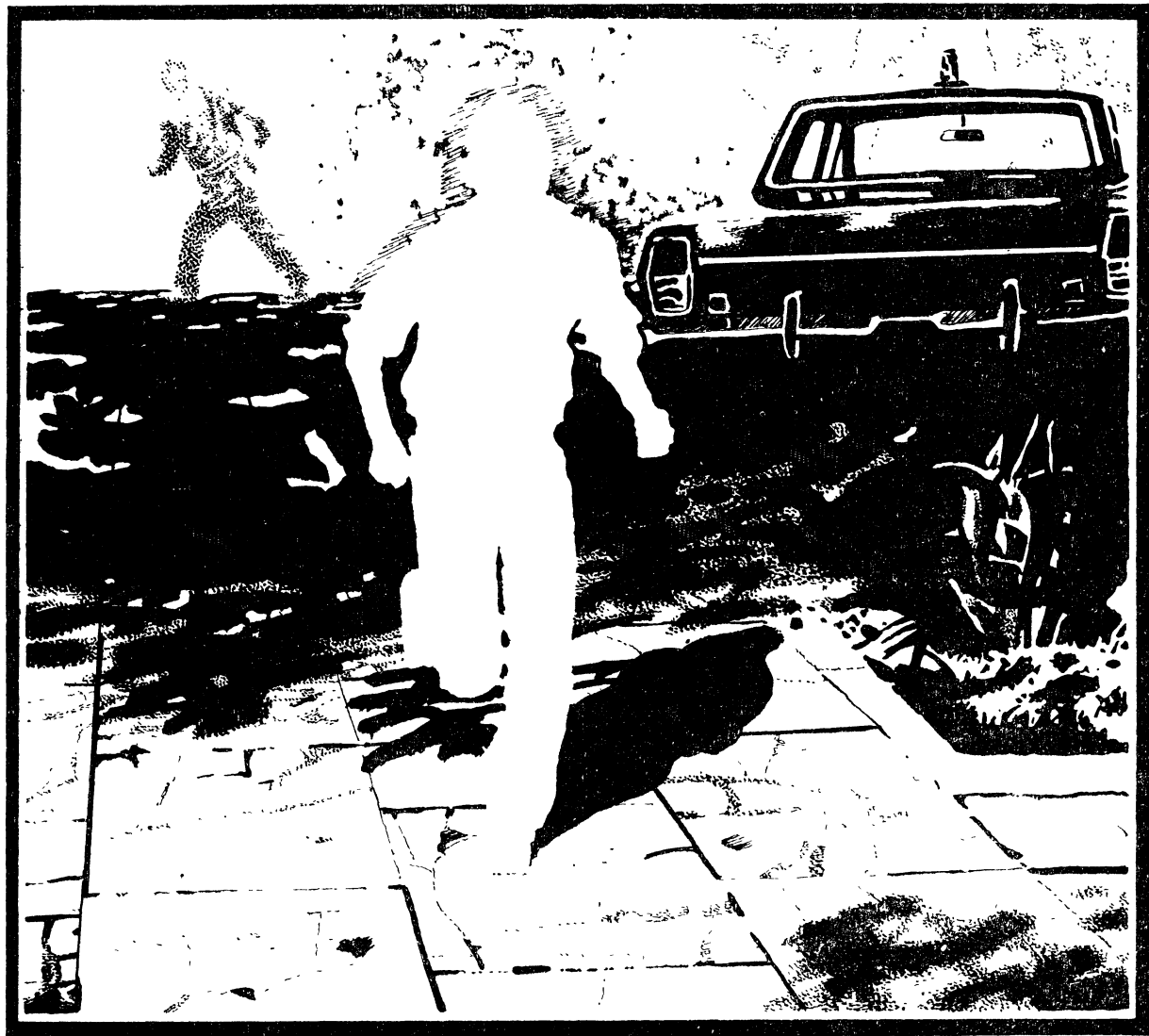
— Приходите к нам, — сказала Марина, улыбаясь. — Вы мне понравились.

— Приду.

Она помахала ему рукой.

Утро началось лихорадочно. Откаленко и Рошин инструктировали, расставляли, проверяли людей, отработывали сигнализацию, определяли пункты нахождения машин, маршруты подвижных постов. Все были напряжены и сосредоточены. Опасный преступник шел в сети, и каждый просчет тут мог обернуться новой жертвой.

Зарубин был взят под плотное прикрытие с момента выхода из санатория. Вышел Иван через главные ворота, был он в новом сером костюме, в белой рубашке с расстегнутым воротом и в кепке,



беспечно сдвинутой на затылок. Вообще вид у Ивана был спокойный, как будто он даже был чем-то доволен. Шагал широко, бодро насвистывая и жмурясь от солнца.

Тем временем в кафе и вокруг него ничего подозрительного отмечено не было. Смоляков пока не появлялся. Впрочем, так рано его и не ждали.

Зарубин пришел туда минут за пять до назначенного срока и занял столик на открытой веранде, в глубине ее, возле небольшой эстрады, где по вечерам играл джаз. Он заказал бутылку пива и, откинувшись на спинку стула, принялся лениво наблюдать за окружающими.

Вообще вел себя Иван в высшей степени спокойно, и Игорь отметил про себя, что это не игра, а вполне естественное спокойствие, основанное на чувстве превосходства и некоей самоуверенности. Это Игорю не понравилось, Зарубин противника явно недооценивал, что могло в конечном счете привести к неприятностям.

Так прошло десять минут. Смоляков не появлялся, теперь уже опаздывая. Впрочем, это вполне соответствовало его осторожным повадкам. Такого следова-

ло ожидать, но Откаленко почему-то начал слегка нервничать.

— Все нет,— почти равнодушно сказал он сидящему рядом с ним на скамье Рощину, и, пожалуй, разве что Лосев мог бы уловить скрытое в его тоне беспокойство.

— Они задерживаются,— иронически ответил Рощин.— Они, небось, изучают обстановку, прежде чем подойти. Ясное дело.

— Откуда, интересно, он ее изучает? Все как будто перекрыто,— тем же чуть напряженным тоном заметил Игорь.

Прошло еще десять минут. И с каждой минутой нарастало досадливое и недоуменное нетерпение.

Кругом спокойно гуляли, весело переговаривались, отдыхали на скамьях люди, много людей, шумно носились и играли ребятишки — словом, парк жил своей обычной курортной, пестрой и веселой жизнью под неумолчный гул морского прибора.

Прошло уже двадцать две минуты сверх назначенного срока, когда к Зарубину подошел какой-то парень. Нет, это был не Смоляков. Парень что-то сказал, Зарубин кивнул в ответ, и парень исчез.

Выяснилось: парень передал Зарубину, что Смоляков задерживается, будет через полчаса и просит его обождать.

Это обстоятельство встревожило Откаленко. То была интуиция, рожденная опытом и природным даром сыска. В такой опасной ситуации надо понять и объяснить каждую мелочь. Смоляков задерживается — почему? Зачем ему надо продержат Ивана здесь, в парке, чуть не час? Разве изменится что-нибудь за это время? А что если... Тут новая мысль обожгла Откаленко. И он все тем же ровным голосом спросил сидевшего рядом Рощина:

— Сколько наших осталось около санатория?

— Один. У главного входа. А что? — насторожился тот.

— Ты оставайся за старшего. Я возьму резервную машину и мигом обернусь.

— Давай, — немедленно согласился Рощин. Теперь в тоне Игоря и он уловил напряжение. — Там Воловик Андрей, — добавил он. — Боровичок такой в коричневом костюме.

Игорь, кивнув, поднялся со скамьи.

Через минуту оперативная машина уже неслась по улицам, нетерпеливо сигнала на перекрестках, и инспектора ГАИ, как и во всех городах, быстро и властно расчищали ей путь.

Спустя несколько минут машина затормозила возле главного входа в санаторий. Здесь в нее подсел Андрей Воловик, после чего снова взревел мотор, и машина стремительно проскочила в ворота, мимо растерявшегося вахтера, и помчалась по главной парисовой аллее, по которой проезд машин был вообще-то запрещен, к белевшему вдали длинному трехэтажному зданию.

Машина еще не успела затормозить, как Откаленко увидел на балконе третьего этажа маленькую женскую фигурку в белых брючках и развевающейся розовой блузке. Женщина двумя руками держала балконную дверь, которую, видно, рвали изнутри. Она почему-то не кричала, только изо всех сил держала дверь.

Игорь выскочил из машины и крикнул Воловику:

— Быстро на третий этаж! Десятая квартира! Ломай дверь, если надо!

Плотная фигура Андрея Воловика метнулась к подъезду.

Игорь оглядел фасад. Вверх от балкона к балкону тянулась решетчатая стенка, местами увитая виноградом. Игорь кинулся к балкону первого этажа — это была как бы маленькая терраска у самой земли — и, не раздумывая, стал карабкаться вверх. Легкая металлическая решетка раскачивалась и прогибалась под его тяжестью.

— Марина, держи дверь! — крикнул Игорь. — Держи! Я сейчас!..

Он добрался уже до второго этажа. Теперь было слышно, как тяжело дышит и всхлипывает Марина. И Игорь, цепляясь за прутья решетки, задыхаясь, повторил:

— Держи!.. Держи!.. Я сейчас!..

Вот наконец и третий этаж. Игорь ухватился за ограду балкона.

В этот момент Марина не выдержала и выпустила ручку двери. Игорь увидел, как на балкон метнулся какой-то человек. И тут же ощутил сильный удар в лицо, от которого чуть не разжал руки. Удар на миг ослепил Игоря. А человек тут же кинулся на Марину. Но вдруг где-то в глубине квартиры раздался грохот и треск ломаемого дерева. Человек на балконе невольно оглянулся. Этого было достаточно, чтобы Игорь успел перевалиться через балконную ограду и схватить его за руку, в которой заметил

нож. Это был Смоляков, Игорь узнал его сразу, угадал даже раньше, чем разглядел.

Игорь четко провел захват руки, со звоном выпал нож, и Смоляков, вскрикнув от резкой острой боли, повалился на пол. Игорь упал на него, не отпуская руки, не замечая, что его собственное лицо в крови, не чувствуя ее солоноватого вкуса на губах.

И тут на балконе появился Воловик, задыхающийся, обсыпанный штукатуркой, пиджак у него был разорван.

Смолякова связали.

— Фу-у... — отдуваясь, произнес Воловик. — Спасибо строителям. Двери при желании можно высадить плечом.

Марина прибежала с мокрым полотенцем и, вытирая Игорю лицо, взволнованно говорила, то и дело косясь на лежавшего на полу Смолякова:

— Ой, миленькие мои, спасибо... Ой, Игорек... Он все-таки приехал, видишь?.. Проклятый!.. Проклятый!..

— Ничего, — тяжело дыша, ответил Игорь. — Он теперь опять уедет... Далеко... Будь спокойна...

Виталий Лосев летел в Борск не впервые, но каждый раз он не переставал восхищаться бескрайними лесами, среди которых лежал город. Всеми оттенками зеленого цвета, от почти черного до светлого-зеленого, переливались, как море, густые бескрайние леса под крылом самолета. А бесчисленные голубые озерки казались каплями с какой-то гигантской кисти, которую пронесли над лесами, а потом провели ею по нескончаемому зеленому ковру, и появилась широкая полноводная река, на которой и стоял Борск.

В аэропорту Виталия встречали двое: Володя Жаткин и незнакомый полноватый лейтенант. Худой, быстрый Жаткин в зеленой поролоновой курточке и сдвинутой на затылок кепке, из-под которой выбивались светлые вихры волос, с блестящими, голубыми глазами казался совсем мальчишкой. Но Виталий знал, что это опытный оперативный работник. Однажды Лосев видел глубокий шрам на плече у Володи, заработанный в ходе сложной операции здесь, в Борске, на вокзале, несколько лет назад. Вообще Володя прошел, как он выражался, «школу Лобанова» — по имени бывшего их начальника уголовного розыска, старого муровца, который теперь был уже генералом и начальником областного управления.

— Ну, с приездом, с приездом, — весело и торопливо сказал Володя, трясая руку Виталия. — Звонил твой шеф, предупредил. — И удивленно спросил: — Чего это ты — даже без портфеля?

— Да Кузьмич по-быстрому вытюрил, — улыбнулся Лосев. — Домой заехать даже не дал. Вечером пришлют, со следующим рейсом.

— Понятно. Наши дела, — засмеялся Жаткин. — Ладно. Встретим и портфель. А пока поехали. По дороге поговорим. Да, знакомься, лейтенант Солодовников. Костя, короче говоря.

Втроем они вышли из здания аэропорта и на площади разыскали ждавшую их машину.

— Значит, так, — деловито начал Володя, когда они уселись и машина начала вырывать из густого скопища других машин. — Завод этот мы обнаружили. Тихий такой заводик, никаких серьезных дел там сразу не возникало.

— И сейчас, бог даст, не будет, — подал голос с переднего сиденья молчаливый полноватый Солодовников. — Он же объект покушения, этот завод. Так ведь?

— Именно что, — с ударением произнес Лосев, не

заметно для себя повторяя Цветкова.—Завод огра-
дить надо. Вы суть дела знаете уже?

— Только суть и знаем,— ответил Жаткин.— Не мешало бы детали узнать.

— Мы их пока и сами не все знаем, детали эти,— досадливо ответил Виталий.— Известно только, что кем-то в бухгалтерию завода будет предъявлена фальшивая доверенность вместе с краденым паспортом. По ним попытаются получить несколько тонн лимонной кислоты. А каждая тонна стоит, между прочим, чуть не пятнадцать тысяч рублей. Улавливаете?

— И это еще по госцене,— многозначительно заметил Жаткин.

— Именно что,— повторил Лосев.

— А на какую фамилию доверенность и паспорт?— снова спросил Жаткин.— Шеф твой почему-то не сообщил.

— Сам не знает, вот в чем дело. Арестованный не помнит, хотя сам эту доверенность изготовил. Правда, у него потом много волнений было,— усмехнулся Лосев.— Только помнит, что фамилия та на «А»: не то Антонов, не то Антипин или что-то вроде этого. На заводе ни с кем еще не говорили?

— Нет, тебя ждали. Деталей-то мы не знаем.

— Эх,— подсадовал Виталий.— А надо было бы поговорить. Может, эти деятели уже все провернуть успели. Давай сейчас прямо на завод и поехали.

— Поехали,— согласился Жаткин и наклонился к водителю:— Миша, слышал? Прямо на завод давай.

— Это куда, Владимир Борисович, на Нижнее шоссе?— спросил тот.

— Да нет, в городе. Белинского, двадцать шесть. На Нижнем у них филиал.

Машина все еще летела по лесному шоссе. Километр за километром сплошной стеной стояли темные еловые леса. И только ближе к городу стали попадаться маленькие, а затем и большие поселки. Постепенно надвинулся город. Вскоре уже машина двигалась по шумным, суетливым улицам, то и дело задерживаясь на перекрестках.

Наконец подъехали к заводу. По местному времени была половина пятого, рабочий день близился к концу.

По широкому двору прошли к небольшому зданию заводоуправления.

В бухгалтерии пожилая женщина сухо сказала:

— Из Московской области никто за кислотой к нам не прибывал.

Но тут вмешалась бойкая девица, сидевшая за соседним столом. С любопытством оглядев приезжих, она довольно бесцеремонно объявила:

— И нет, Пелагея Ивановна, кто-то приезжал. К Сергею Прокофьевичу заходили.

— О, господи,— раздраженно ответила пожилая бухгалтерша.— Но мы-то ведь ничего не оформляли на выдачу.

— А кто такой Сергей Прокофьевич?— поинтересовался Жаткин.

Девица стрельнула в его сторону подведенными глазками и, кокетливо поправляя двумя руками пышные волосы, ответила:

— Замдиректора по сбыту. Очень симпатичный, молодой, совсем недавно у нас. К сожалению, только женатый.— Она хихикнула.

— Ты бы помолчала, Люба,— строго сказала ей пожилая бухгалтерша.— Вечно ты со своими замечаниями.

— А что такое? Товарищам, может быть, это пригодится.

— Верно,— улыбнулся Виталий.— Нам все может пригодиться. А почему вы, Люба, решили, что приехали из Московской области?

— Я по двору шла, а они как раз приехали,— обрадованно затараторила Люба.— Номер на машине московский. Я в этом разбираюсь. Мы недавно «Запорожец» купили, я теперь на все номера смотрю... А он еще спросил так, знаете, любезно: «А как, де-вушка, пройти к вашему замдиректора?»

— Кто «он»?

— Ну, кто приехал. Молодой такой, светленький, в очках, с усами.

— Давно это было?

— Час назад.

Виталий бросил укоризненный взгляд на Жаткина.

— Так пойдем быстрее к Сергею Прокофьевичу!— торопливо воскликнул тот, скрывая смущение.— Они ведь еще ничего не получили.

— Значит, вы им ничего не отпускали?— еще раз на всякий случай уточнил Виталий, обращаясь к пожилой бухгалтерше.

— Да нет, я же вам сказала.

— Ну, извините. Как пройти к вашему замдиректора?

Люба быстро поднялась со своего места.

— Пойдемте, провожу. Мне как раз к нему надо.

— Люба...— предостерегающе произнесла пожилая бухгалтерша.

— А что такого? Мне же надо. Он просил зайти.

— Он два часа назад просил зайти.

— Вот я и пойду,— своенравно ответила Люба.

Она быстро направилась к двери. Лосев и Жаткин двинулись вслед за ней. Поднявшись на второй этаж, они зашли в небольшую приемную. У двери кабинета, на которой красовалась табличка «С. П. Бузин», Лосев мягко сказал:

— Вам, Люба, придется подождать здесь.

Девушка сделала недовольную гримаску, но возражать не решилась.

Лосев приоткрыл дверь кабинета:

— Разрешите, Сергей Прокофьевич?

И, не дожидаясь ответа, они с Жаткиным зашли в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь.

За большим письменным столом сидел полный, но довольно молодой еще человек в белой сорочке с расстегнутым воротничком. Узел полосатого галстука был приспущен на грудь, пиджак висел на спинке кресла. Сергею Прокофьевичу почему-то было невыносимо жарко: на его широком лбу проступила испарина. На столе, среди разложенных бумаг, стояла недопитая бутылка «Боржом».

— Здравствуйте, Сергей Прокофьевич,— сказал Лосев, подходя к столу.— Извините за вторжение. Но час назад у вас были получатели из Московской области, и...

— Товарищи, товарищи,— нетерпеливо перебил его Бузин.— Я уже дал распоряжение. Им отпустит наш филиал. У нас сейчас такого количества кислоты нет. Почему вы врываетесь? Должен же быть какой-то порядок? Видите, я занят.

— Документы, надеюсь, у них в порядке?— со скрытым коварством осведомился Жаткин.

Бузин перевел на него взгляд и пожал толстыми плечами.

— А как вы думаете? Иначе я не дал бы распоряжение.

В это время Виталий заметил на перекидном календаре, стоявшем возле массивного чернильного прибора, размашистую торопливую запись: «Москва, Астраханский пер...». Далее следовал номер дома и квартиры, телефон. Виталий не успел разобрать цифры, он только прочел фамилию и имя: «Андреев Саша».

А Бузин тем временем строго и неприязненно спросил:

— Вы, собственно, откуда, товарищи?

— Извините, не представились,— улыбнулся ему Жаткин.— Мы из милиции. Вот, извольте ознакомиться.

Он протянул свое служебное удостоверение.

Бужин мельком взглянул на него и обратился к Лосеву:

— А вы?

— Я тоже из милиции,— сухо ответил Виталий, вынимая удостоверение и стараясь побороть вспыхнувшее раздражение.— Потрудитесь позвонить на филиал и выяснить, получена там кислота или нет.

— А почему, собственно говоря, я должен...— начал Бужин.

Но Лосев не дал ему кончить и резко сказал:

— Не теряйте времени, Сергей Прокофьевич. Мы зря такие визиты не наносим.

— Вы обратили внимание, откуда прибыл товарищ? — Жаткин указал на Лосева.

— Откуда? — растерялся Бужин.

— Москва. Уголовный розыск,— пояснил Володя.— Так звоните, звоните.

Бужин молча снял трубку и стал набирать номер.

— Кому вы звоните? — спросил Лосев.

— Инженеру по сбыту. Винокуровой,— отрывисто сказал Бужин и тут же произнес в трубку: — Анна Савельевна?.. Бужин. Из Московской области, с кондитерской фабрики к вам прибыли товарищи?.. Понятно. Ничего, ничего. Пусть они потом ко мне заедут.

— Прошу извинить,— резко сказал Лосев и довольно бесцеремонно забрал у Бузина трубку.— Товарищ Винокурова?

— Да. Кто это говорит? — услышал он в ответ молодой звонкий женский голос.

— Говорит инспектор Московского уголовного розыска Лосев. Прошу задержать отпуск кислоты, Анна Савельевна. Под каким-нибудь пустяковым предлогом. Пустяковым, понимаете? Мы сейчас к вам приедем.

— А я уже задержала! — взволнованно воскликнула женщина.— В доверенности неверно названо наше управление и еще... В общем, я как раз собралась звонить Сергею Прокофьевичу. Но он, видите...

— И отлично, что задержали,— обрадованно откликнулся Виталий.— Молодец вы. Так мы едем. Всего доброго.

Он положил трубку и сказал Жаткину:

— Наконец-то первый человек обратил внимание на их доверенность. А теперь позови Солодовникова.

Жаткин бросил удивленный взгляд на Лосева и молча вышел из кабинета.

— А какая, собственно говоря, у них доверенность? — не очень уверенно спросил Бужин, перебирая бумаги на столе.

— Фальшивая,— насмешливо ответил Лосев.— Вы это тоже могли бы заметить, если бы потрудились.

— Я, к вашему сведению, не криминалист, а хозяйственник.

В этот момент появился Солодовников.

— Побудьте здесь до нашего звонка,— сказал ему Лосев и обратился к Бужину: — Я прошу вас пока никуда не звонить. И никуда не выходить из кабинета.

— Но...

— Очень прошу,— настойчиво повторил Лосев.— Мне не нравится, что вы уже успели подружиться с неким Андреевым Сашей. Кстати, имя вымышленное.

— Но я видел...

— Паспорт? А он краденый.

И, не глядя на испуганного Бузина, Лосев быстро пошел к двери.

Уже в машине он зло сказал Володе:

— Каков тип, а? Это не только разиня. Он на ка-

кие-то посулы клюнул, ручаюсь. Он уже, по-моему, в гости в Москву собрался.

Машина, сдержанно сигнала, спешила по улицам города.

У одного из перекрестков к ним присоединилась еще одна машина.

Неширокие суетливые улицы центра вскоре сменились просторными, прямыми, новыми проспектами со светлыми многоэтажными зданиями — потеряли свой былой жалкий облик городские окраины.

И филиал завода, куда подъехали машины, оказался на взгляд куда крупнее, мощнее и благоустроеннее самого завода.

На просторном дворе у длинного кирпичного здания склада готовой продукции выстроились грузовые машины. Возле одной из них стояло несколько человек, там шел оживленный разговор. В центре группы молодая женщина в темном пальто и с белым пушистым платком на голове спорила с высоким усатым мужчиной в очках.

Лосев и Жаткин торопливо выскочили из машины и подошли к спорящим. На них никто не обратил внимания.

— Я буду жаловаться в министерство! — кипятился человек в очках.— Безобразие! Люди стоят без дела, а вы не разрешаете грузить продукцию! Бюрократизм развели! Время не умеете беречь!

— Не бюрократизм, а порядок! — запальчиво возражала женщина.— Я же вам говорю, документы еще не оформлены!

— Так оформляйте!

— А что я могу сделать? Бухгалтер на полчаса отлучилась. У нее ребенок заболел. Она рядом живет и сейчас вернется. Я же русским языком вам говорю.

— Ребенок! Ну, порядки! Ну, дисциплина! — возмущался человек в очках.— А, ладно! — перебил он себя.— Мы уезжаем, больше ждать не могу. Завтра к утру, надеюсь, вы все оформите?

— Да сейчас она придет, что вы волнуетесь?

— А я требую...

— Одну минуточку,— решительно вмешался Лосев.— Это непорядок, дорогие товарищи.— Он повернулся к человеку в очках.— Пойдемте, вам все немедленно оформят. Как же так можно, товарищ Винокурова? — Он посмотрел на женщину.

— А вы, собственно...— гневно начала та и вдруг осеклась под веселым и дружеским взглядом Виталия.— Ох, извините. Ну, пойдемте, постараюсь что-нибудь сделать.

— Давно бы так,— удовлетворенно проворчал человек в очках.— Спасибо вам, товарищ. Развели, понимаете, черт знает что на пустом месте. Когда мы только...

Теперь Виталий узнал его, хотя раньше никогда и не видел, узнал по приметам. Никакие усы не могли этому помешать. Пожалуй, усы даже помогли, те самые рыжеватые усики, которые изготовила однажды Липа. Словом, это был, конечно же, Бобриков, Валерий Геннадиевич Бобриков собственной персоной.

Когда пришли в бухгалтерию, Виталий обратился к Бобрикову:

— Прошу ваши документы, гражданин.

— При чем здесь... Мой паспорт у них.

— Это не ваш паспорт,— возразил Виталий.— Потрудитесь предъявить свой, гражданин Бобриков.

— Что?! Какой еще... Бобриков?! Это... Это провокация! Я немедленно...

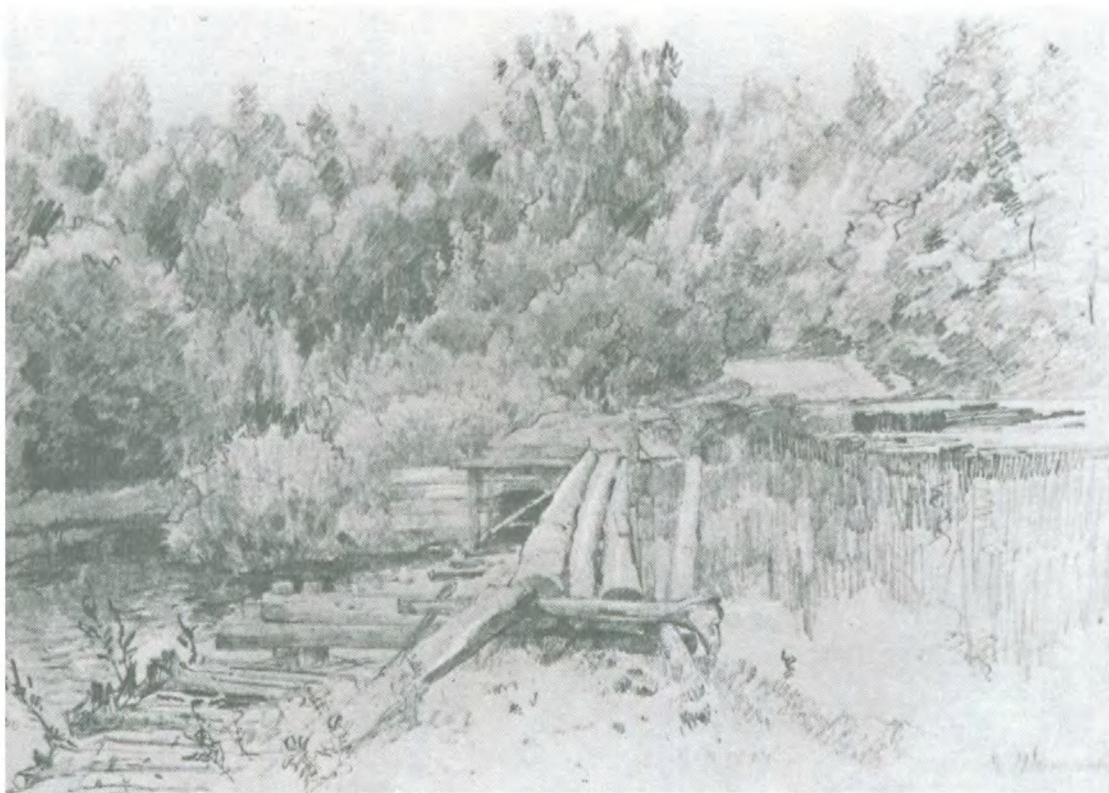
— Вы немедленно последуете за нами,— перебил его Лосев.

— Да кто вы такие в конце концов?—гневно спросил человек в очках.— Какое вы имеете право? — Но в голове его уже не было прежней уверенности.



СТОГА. СУМЕРКИ. 1899 г.

К 125-летию И. И. ЛЕВИТАНА
1860—1900 гг.



У ОМУТА. 1891. Эскиз. Рисунок.



ВЕТХИЙ ДВОРИК. 1888—1900 гг. Этюд.



ОСЕНЬ. ДОРОГА В ДЕРЕВНЕ. 1877 г.



**ЛЕСИСТЫЙ
БЕРЕГ.
СУМЕРКИ.
1892 г.**



**СТВОЛЫ
ДЕРЕВЬЕВ.
1890 г.
Рисунок.**

— Извините, — иронически ответил Лосев. — В горячке не успел представиться. Вот, извольте. — Он протянул свое удостоверение. — Как видите, из Москвы за вами приехал.

Человек посмотрел удостоверение и спросил слегка дрогнувшим голосом:

— Это вы и есть Лосев?

— Я и есть. Откуда вы меня знаете? Мы еще не встречались, кажется.

— Наслышан, — коротко ответил Бобриков. — Я... я должен позвонить.

— Вот и отлично. Куда?

— Это вас не касается.

— Нас теперь все касается, Валерий Геннадиевич. Так куда вы собрались позвонить?

Бобриков молчал, нервно покусывая губу.

— Вы хотите помешать следствию? — ледяным тоном осведомился Лосев. — Вы сильно себе вредите этим, Валерий Геннадиевич.

Бобриков глядел куда-то в сторону и упрямо молчал.

— Хорошо, поехали, — распорядился Лосев.

Когда все вышли из бухгалтерии, Виталий с улыбкой сказал молодой женщине, шедшей рядом:

— Спасибо вам, Анна Савельевна. Вы помогли задержать очень опасных преступников.

— Ну что вы, — смущенно ответила та, пытаясь скрыть волнение. — Это...

— Это ваш долг, я понимаю. Но знали бы вы, сколько людей до вас его не выполнили.

Когда приехали в управление и расположились в комнате Жаткина, Лосев сказал Бобрикову:

— Итак, Валерий Геннадиевич, вы арестованы. Вот постановление следователя, вот санкция прокурора. Он достал бумагу и протянул ее Бобрикову. Тот отвел его руку.

— Я вам верю, — угрюмо сказал он.

— Арестован Глинский, арестован Шанин, — продолжал Виталий. — Кое-кто объявлен в розыск. Теперь арестованы вы. С поличным, можно сказать. Кроме того, мы вас предъявим на комбинате верхнего трикотажа. Вот прямо таким, как вы есть, с вашими усиками. Вас там узнают, в бухгалтерии. Словом, как видите, разваливается ваша преступная группа. Надеюсь, вы не собираетесь взять на себя роль главаря? Глинский от этой чести отказался.

— Я тоже не собираюсь, — хмуро процедил Бобриков.

— Понятно. Значит, все сходится на Льве Константиновиче, не так ли? Кстати, как его настоящее имя, не знаете?

— Понятия не имею.

— У вас это будет вторая судимость, Бобриков. И в ваших интересах...

— Первая.

— Нет. Первую вы сумели скрыть от управления торговли. Но у нас иное дело, Бобриков. У нас не скроешь. Надо бы знать. А вторая судимость — это рецидив. И вы, конечно, знаете, как на это смотрит Уголовный кодекс.

— Ничего я не знаю. — Бобриков нервно сцепил руки на коленях.

— Знаете, знаете. Дело-то серьезное, Валерий Геннадиевич. Надо смотреть на вещи трезво.

В тоне Лосева не было фальши и не было злости. Он был ровен и спокоен, даже чуточку доброжелателен. Лосев как бы говорил: «Должна торжествовать справедливость, вот и все. Никакой поправки я тебе не окажу, но и лишнего не будет».

Бобриков неожиданно поднял голову и пристально посмотрел на Виталия.

— Да, не зря я о вас наслышан, — сказал он.

— От кого, интересно?

— В частности, от Льва Константиновича.

Виталий усмехнулся.

— Характеризовал меня, вероятно, не слишком лестно?

— Как посмотреть. Не советовал встречаться. Да я и не рассчитывал на встречу с вами, признаться.

Бобриков заметно осваивался с обстановкой.

Его уже обыскали. И сейчас на столе перед Виталием лежали изъятые у Бобрикова вещи: бумажник, кошелек, связка ключей, записная книжка и всякая карманная мелочь. Виталий во время разговора небрежно перелистывал записную книжку. Неожиданно из нее выпал сложенный вдвое листок. Виталий развернул его. Там оказался торопливо записанный номер телефона.

— Чей это телефон? — спросил Виталий.

Жаткин нагнулся над запиской и сказал:

— Это телефон Борска. Гостиница, если не ошибаюсь.

— Вы там остановились? — спросил Виталий, посмотрев на Бобрикова.

— Да, — неохотно ответил тот.

— Один?

— М-м... Да.

— Вы, конечно, хотели позвонить самому себе, не так ли? — поинтересовался Виталий.

Бобриков, глядя в сторону, молчал.

— Слушайте, Валерий Геннадиевич, — сказал Виталий. — Хотя вы и не рассчитывали на встречу со мной, все же эта встреча состоялась. На этот случай Лев Константинович вам ничего не советовал?

Бобриков рывком повернул голову и со злостью посмотрел на Виталия.

— Он... он жалел, что не застрелил вас... однажды.

— Вот как? — задумчиво переспросил Лосев. — Интересно... Только один человек... из вашей категории, конечно... однажды в меня стрелял. Неужели он уже на свободе?.. Спасибо, Бобриков. Теперь я, кажется, знаю его настоящее имя. Он ждет вас?

— Да...

— Где?

— В гостинице. Номер триста восемнадцать.

— Почему он приехал с вами?

— Не знаю.

— Это первый такой случай?

— Да.

— Ага. Это уже кое-что, — как бы про себя произнес Виталий. — Кое-что... Он один вас ждет?

— Не знаю.

— Знаете, Бобриков, знаете, — нетерпеливо произнес Лосев. — Не затевайте пустой игры.

— Но я даю вам слово...

— Он приехал с ней?

— Ах, вы про это? — усмехнулся Бобриков. — Во всяком случае, утром я ее не видел.

— Ладно. Что ж, буду рад встрече со старым знакомым, — сказал Лосев вставая.

— Вряд ли.

— Ну-ну. Не пугайте меня, Бобриков.

...Через пятнадцать минут он, Жаткин и еще двое сотрудников приехали в гостиницу. На третий этаж поднялись Лосев и Жаткин. Дежурной по этажу они показали свои удостоверения, и Виталий попросил: — Будьте добры, пригласите горничную и пошлите в триста восемнадцатый. Скажите, что необходимо исправить телефон.

— Но он...

— Он испорчен, — спокойно усмехнулся Лосев. — А там ждут звонка.

— Уже испорчен, — в тон ему добавил Жаткин.

Дежурная молча пошла с ними по длинному коридору. По пути к ним присоединилась горничная.

На стук откликнулся настороженный, скрипучий, очень знакомый Лосеву мужской голос:

— Кто там?

— Дежурная по этажу. У вас телефон...

— Да-да. Я уже собрался идти за вами.

Дверь открылась.

Лосев первым перешагнул через порог. Человек не успел опомниться, как Виталий перехватил его правую руку и, крепко зажав ее у него за спиной, сказал:

— Вот так приходится встречаться с вами, Барсиков. Ничего не поделаешь, я помню уроки.

— Будьте вы прокляты, Лосев... — прохрипел тот, судорожно пытаясь вырваться.

Из комнаты вышла молодая полная женщина.

— Что здесь происходит, боже мой? — взволнованно спросила она.

— Встреча старых знакомых, Нинок, — ответил Барсиков, тяжело дыша. — Ничего не поделаешь, судьба... Пустите!..

— Гражданка Грачева Нина Сергеевна? — спросил Лосев, все еще не отпуская Барсикова.

— Да, я.

— Вы поедете с нами.

— Но...

— Никаких «но», Нина Сергеевна, — отрезал Лосев.

— Отпустите же... — задыхаясь, прохрипел Барсиков. — Пистолет... в правом кармане...

— Вот-вот, — сказал Виталий. — Я же знаю вашу воинственность. — И он кивнул Жаткину. — Володя...

Он вывернул руку Барсикова из-за спины, схватил вторую, и Жаткин тут же защелкнул на них наручники, достал из пиджака Барсикова пистолет.

На пороге номера застыли в испуге дежурная по этажу и молоденькая горничная.

Барсиков морщась и со злостью сказал:

— Вы мне приносите одни несчастья, Лосев.

— Не могу сказать, что вы мне приносите одни радости, — ответил Виталий. — На этот раз вы нашли еще одну щель в нашей экономике, не так ли?

— На этот раз не в экономике, — сердито ответил Барсиков. — Вы, как всегда, поверхностны.

— Где ж вы ее нашли?

Барсиков стоял, расставив ноги, и выглядел, не смотря ни на что, крепко и уверенно, а короткие седые усики на круглом раскрасневшемся лице воинственно топорщились.

— Представьте себе, на этот раз в наших чудесных людях, — издевательски усмехнулся Барсиков, но глаза его оставались злыми.

— Какую же именно?

— Совсем простую. Лень, равнодушие и расхлябанность. Всем на все наплювать. Ну, если не всем, — предупредил он возражения Лосева, — то многим.

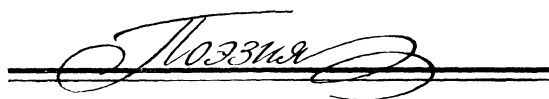
— Да, — вздохнул Лосев. — Как говорится, имеет место.

— Вот-вот, — подхватил Барсиков, сев на своего любимого конька. — Это, уважаемый, будет почище любой щели в экономике. И с этим вы никакими инструкторами и наказаниями не справитесь, хе-хе! Это я вам говорю, специалист.

— Да, вы специалист. Опасный специалист, — кивнул Лосев. — Только в другой области. Справимся мы или не справимся, это вам не под силу решать. Это уже не ваша область.

— Конечно! Однако...

— Хватит, — оборвал его Лосев. — Здесь не место для дискуссий. У нас для этого еще будет время. Поехали, — кивнул он Жаткину. — Надо доложить руководству, что операция закончена.



ВАСИЛИЙ ГАЛЮДКИН



Я — матрос... Я вижу у причала:
Теплоход «Андропов», людный порт.
Теплоход в порту волна качает,
Так, как в море, бьет в железный борт.

Теплоход «Андропов», я хочу
Быть на твердой палубе Советов,
Чтоб стояли вы плечом к плечу
С ледоколом «Ленин» — первым, светлым!

Тяжесть льдов, бесчинства ураганов
Корабли большие не скуют:
Им страна даст лучших капитанов,
А матросы их не подведут!

Снег

Когда я возвратился, падал снег,
А мать стояла на углу у дома.
Красиво было: падал, падал снег!
И жутко было: матушка у дома...
Когда бы маме не восьмой десяток,
Когда бы не заштопанный платок,
Когда бы не подобие перчаток,
Летающий снег меня бы не привлек!
Что снег! Когда жила бог знает как!
Что снег! Когда заплакала старушка!
Что снег! Такой же падал на барак,
Где к баку ночью примерзала кружка.
При чем тут снег! Как постарела мамка!
Повинно падай, снег, к ее ногам!
Ах, мама, встану я, как ванька-встанька,
И злой судьбе играть тобой не дам!
Прости меня... Отдельная посуда,
И для белья отдельный будет бак...
Болею я... не снег! Он просто чудо!
Нет, снег, такой не падал на барак!
Не плачь! Я не согнусь! Расправлю плечи!
Прекрасный снег, какой прескрасный снег —
Единственный свидетель нашей встречи,
Страданиями оплаченной навек...

г. Мурманск

ЛЮБОМИР
ЛЕВЧЕВ



Языческое
заклинание

Держитесь,
милые мои холмы, курганы!
Не великаны и не исполины,
корнями зацепитесь
и держитесь...
На вас идут машины. Осаждают
вас, как орда,
мотели, виллы, города.
Кремнями темными,
корнями диких трав
сопротивляйтесь, как в осаде предки.
Вы — родственники гор,
и я, как пешеход,
уже в двадцатом веке редкий,
боготворю безлюдный ваш простор.
Целую ваши впадины и шрамы.
Вы
ястреба последнего и зайца
последние убежища и храмы.
И я, ваш гордый сын,
хочу оставить внукам
и вашу невосделанность
и дерзость,
что нарушает линию равнин.

Ответ через плечо

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой
С. ЕСЕНИН

За распрями друзей
врагом пренебрегаем.
Ты другу помоги,
но помни — есть враги,
накопленные острыми веками.
Ждут не дождутся,
чтоб открыть пальбу.
У пули слабость странная —
ко лбу.

И в тишине,
укрывшись между нами,
как снайперы на свет,
враги разят словами.
Когда тебя выцеливает враг,
гордись!
Ты носишь мужественный знак.
Бей, как на свет,
в меня коварным залпом.
Но не карай врагом бесславным.

☆☆☆

Я
спускался
с горы
и увидел,
как они опускаются с неба.

Ослепительно белые,
с красными меридианами —
трепетали их купола
над новыми нивами,
новыми мирозданиями
и новостями села.

— Глянь, сколько петит парашютов,—
старый сказал лесоруб.
— Уж не началась ли война!

Нет, это была не она.

Это были, я знал,
поднебесные храмы —
твои, фантастический век мой Двадцатый.
Незримые храмы,
прозрачные до куполов —
из ясной свободы,
из дерзких расчетов,
из уверенний и откровений.
В этих храмах,
Двадцатый мой век,
ты учил никому не молиться.

— Насели, как птицы,—
старый сказал лесоруб.

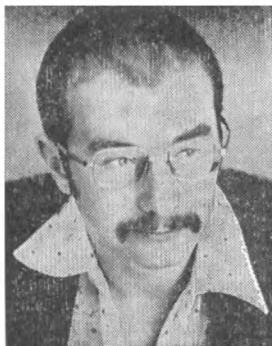
Мы расстались уже под горой.
Купола приземлились,
но храмы — остались.

Ты уходишь. Двадцатый!
И я ухожу — за тобой...

☆☆☆

Я мог бы стать каменотесом.
Таким я сильным был.
С душою чистой.
Все беды пережил — остался оптимистом.
Прости мои грехи.
Слова, что камни,
я уложил не робкими руками,
чтоб человек не презирал стихи.

Перевел с болгарского
И. ШКЛЯРЕВСКИЙ.



ПАВЕЛ
ПЭНЭЖКО

К

ак-то раз вызывает бригадира Степана Малия в правление колхоза председатель и говорит нечто из ряда вон: — Хочешь, купи у меня ферму. Степан даром что бригадир молодой, но калач уже тертый. Он знает, председатель у них большой затеиник. Для начала пошутит, ты расслабишься, а он: «Ну-ка, сводочку за вчерашний день. Как у тебя там с молоком-молодняком?» А как? Известно как! Таким силосом, какой ему на ферму везут, цыганского мерина кормить, а не дойных коров. А уход?! Васька-скотник уже который день гуляет. Баба Маня, как слепая, от стойла к стойлу ощупью перебирается. Разве с таким народом можно работать? Кстатц, председатель все это прекрасно знает. Но обязательно нужно вызвать, спросить, побушевать, чтобы в коридоре было слышно и люди знали: работает наш голова, душой болеет за хозяйство... Поэтому молчит Степан Малий и старается думать о постороннем, желательно приятном...

КОЛХОЗНИК С ЧЕКОВОЙ КНИЖКОЙ

А тот свое:

— Ну, не хочешь купить, возьми в аренду...

Как-то неловко продолжать молчанку, и бригадир начинает подыгрывать:

— Пожалуй. Только на каких условиях?

— На самых для тебя выгодных. Мы подсчитали, сколько у тебя на зарплату бригаде, на корма, текущий ремонт и прочее уходит. Разложили все затраты по статьям. Но, сам понимаешь, это в прикидке, средние данные за пять лет...

— Так какой же мне резон?

— Как какой? Что сэкономишь — твое.

Тут бригадир изумился:

— Мне что ж теперь на ферме сейф поставить и собственную бухгалтерию завести? Не разоримся ли от такой экономии?

— Нет,— засмеялся в ответ председатель,— будешь сам себе и сейфом и бухгалтерией... И вообще колхозом в колхозе.

Он протянул маленькую оранжевую книжечку с надписью «чековая» и именем ее владельца, бригадира молочнотоварной фермы Малия Степана Михайловича. На обороте обложки перечень статей расходов (зарплата бригаде, корма, текущий ремонт и т. д.) и выделенный на все про все лимит — 117 740 рублей. А дальше по порядку шли пронумерованные чеки.

— Ими и будешь расплачиваться,— уточнил председатель,— по безналичке...

«И только-то,— подумал бригадир,— а я опасался очередной накачки!» И, забрав чеки, он весело зашлепал по весенним лужам к себе на ферму. А там его уже поджидал звеньевой заготовителей кормов, в просторечии «кормач».

— Чековую получил? Давай-ка, отстегивай за силос. С тебя 3150 рублей.

Бригадир раскрыл книжку. Значит так, наши действия: в чеке номер один из всего лимита вычитаем за корма вышеназванную безналичность. Затем расписываемся в чеке...

— Теперь ты ставь свою загогулину в корешке.

— Погоди, косо отрываешь. Прижми линейкой...

Сунув чек во внутренний карман телогрейки, звеньевой затарахтел прочь на своей «Беларуси», а бригадир остался у ворот фермы. Он ли-



стал чековую книжку как бы в некотором недоумении: зачем ему ее дали? Раньше расписывался в накладной, теперь новая бумажка? Какая такая экономика через нее может получиться?

Бланк второго чека был девственно чист и никакого ответа на поставленные вопросы не содержал. Думаю, мол, сам. Соображай. Бригадир стал его заполнять. Так, после вычета за корма осталось 114 590 рублей. Выходит, на них все мы будем жить до конца года. Кстати, сколько там по статье кормов заимитировано? Чуть больше сорока восьми тысяч. А три из нас уже выкачали. Три тысячи рублей! Это ж какие деньги! А если вникнуть, за что мы их заплатили? Как всегда, за полугнилье. Коровы от него, слава богу, не дохнут, но и молоко не цедятся. Нет, за такой корм я денежки выкидывать не буду. Вертись, как знаешь, но коров моих травить не дам и чек теперь не подпишу. Мне надои нужны, а не видимость...

Бригадир еще раз пробежал глазами по статьям расходов и остановился на лимите зарплаты. Так, Васяки сегодня на ферме с утра не было, значит, и к вечеру он вряд ли появится. Манька с утра на ферме, да что толку? Как дыхнет, корова сразу литром меньше дает. Ладно, завтра собрание и последний разговор. Либо будем работать как люди, либо... Бригадир хлопнул книжкой по ладони и решительно шагнул в теплый сумрак ворот, чтобы лично проконтролировать дневную дойку. Теперь в нем никто бы не узнал того человека, который утром со скупым видом ожидал дежурного развоза у председателя стола...

Михаил Петрович Витковский, доктор наук, экономист, более двадцати лет с переменным успехом занимается внедрением чеков в практику колхозов Украины. Возглавляемый им сектор (семь научных сотрудников и лаборант) ютится в небольшой комнате в украинском Институте экономики и организации сельскохозяйственного производства имени А. Г. Шлихтера. На этот раз здесь было особеннолюдно. Пришли консультироваться аспиранты, приехали из районной глубинки ходоки-экономисты, чтобы лучше разуться о дикийной системе, предусматривающей взаимные расчеты там, где порой и концов не найдешь.

— У нас среднее звено — бригады, — говорил Витковский, — как правило, не умеют и не хотят считать. Да и стимула у них к тому нет никакого. Поэтому они и рассуждают: зачем подменять колхозную бухгалтерию? Если так, о каких хозрасчетных бригадах и звеньях может идти речь? Либо бригадир — хозяин своего расчета, то есть каждую рабочую минуту контролирует, знает, в убыток или в ущерб идут у него дела. Либо все слова о самостоятельности — сплошная фикция. Только чековая книжка делает бригадира хозяином положения.

— А не противоречит ли это основам нашей экономики? Не дробит ли хозяйство, скажем, колхоз на маленьких хозяйчиков, хуторян, которые заняты только собственной выгодой, до общего блага им и дела нет?

— А из чего, по-вашему, складывается общее благо? Разве не из умелого, хозяйского ведения дел бригадой, звеном, фермой? Разве не из блага каждого конкретного земледельца или животновода, которые в беспорядочном порядке получают за свой труд все, что заработали? Что же касается чековой книжки и всей системы внутрихозяйственного расчета, то они, если хотите, ровесники социалистической экономики!

Я знал, что идея чековых взаиморасчетов принадлежит легендарному коммунарию Григорию Ивановичу Котовскому, а внедрились ее шестьдесят лет назад в

Випницкой области в райопп местечка Ободовка — в Бессарабской коммуне.

Коммуну создали демобилизованные из Красной Армии конники-бессарабцы, служившие под началом Котовского. (Кстати, наши представления о нем как о лихом командире или отважном революционере-подпольщике — одних «кандалов Котовского» на одесском аукционе было продано 20 пудов — страдают некоторой односторонностью.) В свое время Григорий Иванович блестяще окончил сельскохозяйственное училище с аттестатом «управителя имения» и достаточно компетентно разбирался в экономике, полеводстве, животноводстве, виноградарстве, ветеринарии, земледелии, виноделии, строительстве, кузнечном деле и еще во многом, что необходимо знать хозяину, крепко стоящему на земле.

Однажды Котовский изумил красноармейцев тем, что собственноручно выдоил отбитых у петлюровцев коров. Во всей бригаде не нашлось человека, который сумел бы это сделать. В голодные годы комбриг, чтобы прокормить своих бойцов, организовал так называемые военно-потребительские общества. Иначе говоря, подсобные хозяйства при каждой части. Одно из них, крымская «Рея», давало невиданную прибыль: рубль на рубль. Покупать ее хмель приезжали даже чешские пивовары.

Но одно дело — кооперация, другое — коммуна. В кооперации получше поработал, подороже продал. В коммуне все общее, кроме работы. Потому что нет двух равных, одинаковых работников, как не бывает во всем похожих людей. Вот здесь-то и возникли непредвиденные сложности. Коллективное хозяйствование на земле представлялось весьма желанным (за то и боролся), но с какого бока подходить к нему в каждой конкретной ситуации, молодые конники решительно не знали. Поэтому для начала Котовский ввел нормы выработки и гарантированную оплату труда (сюда входило питание и содержание детей). По его инициативе коммунары установили в своем хозяйстве интенсивное десятиполье, и, что еще замечательно, агроном у них получил огромные, даже по нынешним временам, права, утвержденные реляцией в духе Петра Великого (составленной, кстати, тоже Григорием Ивановичем): «Все, что в силу сей доверенности учинено будет, коммуна спорить и прекословить не будет».

Вот как высоко ставил комбриг роль агронома. Он учил коммунаров пониманию глубокой взаимосвязи земледелия с животноводством, советовал создавать предприятия по переработке своей продукции, а также подсобные производства, короче, помогал людям переходить от традиционного воззрения крестьянина-единоличника к новому, комплексному взгляду на сельское хозяйство.

Вскоре коммунары убедились, что в их сложном многоотраслевом хозяйстве жизненно необходимо знать — в убыток или с прибылью работает каждая бригада, сколько можно потратить и на чем сэкономить. Но как это сделать, если итоги подводятся только в конце года?

Проще всего было бы каждому бригадиру полевод, конюхов или животноводов дать столько денег, сколько нужно для покрытия всех затрат по реализации плана. Положим, я бригадир полевод. Из данных мне средств расплачиваюсь с конюхами за тягло, с кузнецами — за ремонт инвентаря и машин, с кладовщиком — за семена, с бригадой — за весь комплекс работ поэтапно. Гениально просто. Только живем, как говорится, хоть и в коммуне, но не на облаке. Потом и руководству необходимо оперативно ориентироваться в этом лабиринте внутренних взаиморасчетов, чтобы разрабатывать общую стратегию и тактику, наилучшим образом совмещать интересы коммунаров и государства. Но как это сделать? Не

разрывать же рубль пополам — часть в бухгалтерию, часть бригадирю.

Рубль действительно нельзя. А квитанцию, бону, чек (название значения не имеет) — можно. Лишь бы на обеих половинках было написано одно и то же. В конце месяца все чеки стекутся в бухгалтерию, и там подведут общий итог. На том и порешили. В местную типографию послали нарочного, заказали разноцветные чековые книжки (для каждого подразделения — свой цвет) и пошли расплачиваться между собой.

Так чеки получили права гражданства в коммуне. Но только здесь. А в финансовых органах? Там у всех глаза на лоб: «Що це за квитки таки?» Чего доброго такую ревизию нашьют, что годами придется расхлебывать. Судили, рядили коммунары, как бы в одну телегу с бухгалтерской отчетностью впрячь и чеки — ничего не выходило. Тогда решили обратиться к науке. Послали парламентаров в институты «Укроргстрой» и «Соцреконструкция сельского хозяйства». Там и там получили ответ одинаковый: «Вам нужна система». Тут же заключили договор, и заплыла по направлению к Ободовке бричка с научными сотрудниками «Укроргстроя» Е. И. Кононенко и М. Я. Могилевским. Четыре месяца они трудились у бессарабцев: разработали рациональную документацию, перестроили бухгалтерский учет применительно к чековой системе, структуру коммуны и деятельность правления.

После отъезда «науки» оставленная система, что называется, «досгала» всех и каждого. Люди молодые, привыкшие мыслить исключительно соотношениями огневой и сабельной мощи, углубились в скрупулезные подсчеты своих активов и пассивов. Доходило до курьезов, но тоже, между прочим, на совершенно здоровой хозяйской основе. К примеру, конюхи, гоняясь в былое время за красивой жизнью, где-то раздобыли огромные часы в резной деревянной башне и безмятежно наслаждались их мелодичным боем, как вдруг к ним пожаловал завхоз с требованием выписать чек на рубль.

— Это за что же? — вскинулся зав. конюшней Максимов.

— За амортизацию...

Максимов тут же взвалил «куранты» на спину и, ругаясь на чем свет стоит, оттащил их на склад. Вернулся с обыкновенными ходиками. За них полагалось ежемесячно выписывать всего 10 копеек.

Но были эпизоды посерьезнее. Однажды овощеводы потребовали, чтобы пиломатериалы доставляли им не заготовители из коммуны, а районная потребкооперация: «Там кругляк на десять рублей дешевле». Коммунары-заготовители тут же засуетились и давай весь техпроцесс ревизовать, искать причину дороговизны и способы удешевления. Вот вам пример чисто социалистической конкуренции без какой бы то ни было частной наживы.

Каждый стал сам себе бухгалтером, считал прибыли и убытки. Притом не «концемесячным», а ежедневным бухгалтером. Как писалось в премудрой и незаслуженно преданной забвению книге «Рационализация управления сельхозкоммуной», «старший каждой отрасли ведет свой оперативный учет по чрезвычайно простым и удобным формам и благодаря этому в любой момент знает, в какой мере, насколько успешно он выполняет промфинплан».

21 мая 1927 года в книге посещений коммуны оставил запись К. Е. Ворошилов: «...Работа, проделанная тт. коммунарами, громадная... Прекрасно начатое дело должно быть продолжено и окончательно закреплено».

Но, увы, закреплено оно не было.

Что же теперь, спустя полстолетия, заставляет нас

вспоминать опыт коммуны и снова возвращаться к чекам?

Разберемся. Уровень любого современного села по всем параметрам оставил далеко позади легендарную Бессарабскую коммуну. Взять ли техническую оснащенность: в любом украинском колхозе тракторов, машин и комбайнов сейчас в несколько раз больше, чем во всей Винницкой области на рубеже 20—30-х годов. По всей стране за полстолетия (практически с момента перевода коммуны в колхоз) парк тракторов увеличился в 9,4 раза. Комбайнов вообще не было, а теперь их более 700 тысяч. Поставки минеральных удобрений возросли в 350 раз, а капвложения — более чем в стократном размере. Понятно, что воротать такой хозяйственной машиной старыми методами, основанными на максимальной централизации, с каждым годом все трудней и трудней. Все труднее по-настоящему эффективно руководить. Один пример. Все знают, что, как правило, накладные сдаются не вовремя. Бухгалтерия и экономические службы хозяйств тонут в море отчетности. Альбом только первичных ее форм составляет 500 с лишним страниц.

Но, с другой стороны, каждое хозяйство имеет теперь почти столько же дипломированных специалистов, сколько сотрудников у Витковского. Среди работающих поголовная грамотность. Казалось бы, вот хозяева, которые котовских конников за пояс заткнут, добываясь максимальной отдачи при экономии средств. А нет.

Подмечал не раз: сельские специалисты нынешнего поколения (молодые люди с дипломом высшего и среднего спецобразования) не относятся спокойно к такому положению вещей. С иным поговоришь — просто на душе праздник — так верно человек все подмечает, такие убийственные выводы делает, таким праведным гневом горит. Но предложите ему: давай, брат, возьмемся за дело по-хозяйски, давай считать и прикидывать... Предложите ему такое — только рукой махнет. На это, скажет, есть экономист, бухгалтер. Они жалованье получают. Сидят себе в конторе, дождик их не мочит, навоз к сапогам не липнет, так пусть же отработывают свои зарплату и удобства. В общем, прав Витковский. Не хотят люди считать. Не приучены.

А считать надо. На апрельском Пленуме ЦК партии особо подчеркивалось, что сравнительно быструю отдачу можно получить, если привести в действие организационно-экономические и социальные резервы и в первую очередь активизировать человеческий фактор, добиться того, чтобы каждый на своем месте работал добросовестно и с полной отдачей. Там же говорилось о несовершенстве системы управления, усложняющей условия работы, о мелочной регламентации и непомерном бумаготворчестве. Выход из положения один: «нужны незамедлительные и энергичные меры по всему комплексу проблем управления».

Было время, мы самонадеянно мечтали, что перенесенный на поля и фермы индустриальный, конвейерный принцип работы даст нам такой же эффект, какой он дает на заводах и фабриках. Один вспахал, другой засеял, третий удобрил, четвертый убрал. Тут вам и специализация, и концентрация, и полная обойма НТР. Были разработаны показатели, принципы оплаты и формы отчетности. Система обещала дать фантастические результаты, но... не дала. Крутились колеса, выгорало горючее, летели части и запчасти, а урожай, в общем, топтался на месте. Почему?

Металл — материя мертвая, а урожай — живой. Колесу все равно, кто его кует да обтачивает. А колосу не все равно. Он требует, чтобы к нему приносились, изучили его нрав и настроения: что он в данных конкретных условиях любит, а что нет. Чтобы с момента, как зерно попало в борозду, нет, даже

раньше — с момента подготовки для него борозды, над ним неусыпно бдил один и тот же хозяйский глаз. Только тогда он готов показать, на что способен. Но если так капризен колос, то как же трудно наладить продуктивные (в полном смысле этого слова) взаимоотношения с буренкой. А если учесть, что на ферме их 700—750 и каждая со своим характером и способностями, которые, кстати сказать, тоже не существуют сами по себе, а с поправкой на личности доярков и скотников, а также их взаимоотношения с бригадиром, у которого свои дела с «кормачами», механизаторами, слесарями-ремонтниками и руководством. И такая во всем этом мешанина, что порой совершенно невозможно определить, кто же от кого на самом деле зависит, кто кем командует и кто по-настоящему думает о надоях.

Словом, без настоящего, расчетливого хозяина нельзя ни на ферме, ни в поле. Но какой же, скажите, пожалуйста, я хозяин, если мне привозят заведомо плохой корм для коров и тычут в нос накладную: «На, распишись».

— Так сено-то гнилое...

— Неважно. Сколько положено, столько привезли. А гнилое — нет, этого накладная не отражает.

Иное дело, если у меня в руках чековая книжка. Везут мне сено и уже знают заранее, что могут получить, а могут и не получить от меня чек. Сено мне нужно для надоев, а не для зарплаты «кормачам». Привезут дрянь, не выпишу — и шабаш. Беги потом в правление, жалуйся!

Положим, должен мне тракторист сегодня пиломатериал подвезти для небольшого ремонта. Я плотников вызвал. Сидим ждем. Весь день прождали, дело к вечеру, пора по домам, он является. Веселый, перегар на гектар: «Давай разгружай, начальник! Где чек-то?»

— Э-э, брат, не выйдет! Весь день левачил, горячее казенное жег, машину гонял, работу нам сорвал. Пусть тебе выписывает тот, кто в стакан наливал.

А ведь раньше пришлось бы «не заметить» загубленного рабочего дня. И не только бригадир на ферме, но и в правлении. Ну, в крайнем случае если бы поднялся большой скандал, то оштрафовали бы его на «четвертной». А он бы его, конечно, обжаловал и получил через арбитраж «свое» обратно. Теперь разговор другой. В конце года, когда будут основные выплаты по конечному результату, то есть по урожаю, невыданный чек обойдется такому «государственному частнику» в полторы тысячи рублей. Потому что взаиморасчетная система существует не сама по себе, а в структуре бригадного подряда, условия которого скреплены подписями. В том числе и «залевавшего» тракториста.

...Мы еще долго обсуждали с Михаилом Петровичем достоинства чековой системы, и вот что интересно: пока речь шла о теории, все было яснее. Как только переходили к практике, сразу же возникали вопросы и сомнения. И первый из них, он же самый главный: сколько на сегодняшний день хозяйств перешло на полный внутренний взаиморасчет по чекам?

Конечно, Витковский сразу же вспомнил колхоз имени Калинина Бердянского района Запорожской области. Его председателя, Василия Кондратьевича Бутенко, знает вся страна. Пресса и телевидение уже много раз подробнейшим образом разбирали бутенковский опыт внедрения чековой системы и связанной с этим перестройки всего хозяйственного механизма колхоза. В секторе Витковского еще называли колхозы «Путь коммунизма», имени Чапаева, имени Жданова, «Дружба», «Известия»...

В республике 7 тысяч колхозов и 2,5 тысячи совхозов. Из них, по данным Минсельхоза Украины, на чековую систему внутрихозяйственного расчета пере-

шло более 700 хозяйств. Какое же выбрать, чтобы разглядеть все плюсы и минусы? Памятуя слова Витковского о том, что молодежь берется за чеки охотнее, решил посоветоваться в ЦК комсомола Украины. Как знать, может быть, там уже разработана программа шефства над внедрением системы. Все-таки полтора десятилетия прошло с момента, когда ученые пришли с ней к практикам.

Секретарь ЦК Иван Сахань сказал: нет, комсомол сейчас чеками не занимается. Все внимание отдано бригадному подряду. Хотя, конечно же, об опыте Бутенко ему известно. Сам был в его колхозе. Сразу же бросается в глаза, что организация труда там на порядок выше, чем в других хозяйствах. Хотя бы такая простая вещь: по утрам никаких сборов у конторы за нарядами. Каждый еще с вечера знает, что ему завтра предстоит делать, и отправляется, не теряя драгоценного времени, прямо к месту работы. Чеховая структура, бригадный подряд, чеховая система — все работает в комплексе. Потому и работает, что в комплексе. Что же касается комсомольского шефства, то директив на этот счет покамест не было. Потому и с инициативой не выступали. Но если уж мне непременно нужна роль молодежи, то можно поехать на Полтавщину, на родину великого писателя — в село Великие Сорочинцы Миргородского района. Там, в колхозе имени Гоголя, народ преимущественно молодой и внедряет какой-то свой вариант чековой системы.

Что ж, отправимся...

В Миргороде секретарь райкома комсомола Павел Кандыба, узнав, зачем я приехал, разразился притчей из собственного жизненного опыта: «Вот вы говорите, ученые все рассчитали, продумали, осталось только применить. Не спорю, наука — инстанция авторитетная. Но жизнь, она, знаете ли, как-то шире. Порой такое выкинет, никакой науке не снилось. Помню, работал я в родном колхозе «Ленинская искра». Это в Сумской области. Прибыл к нам зоотехник, совсем еще свеженький дипломник, и давай все по науке. Протеина столько-то, каротина столько-то... Тракторист везет — он: «Чего везешь?» Тот отвечает: «Хиба ж я розумию, що везу?» Так он гонял взад-вперед механизаторов, а кормушки меж тем пустели, надои падали, доярки роптали, в перспективе уже замаячили оргвыводы из района, когда вмешался председатель. У него, кстати, техникум, не вуз. И вот он сказал: «Ты все рассчитал правильно. Теперь положи расчеты в стол и смотри, чтобы кормушки были полны. Вот твоя задача!»

Мы помолчали. Не знаю, о чем думал секретарь. Скорее всего он хотел подготовить мой спуск с научных высот на сильно пересеченные территории реальности. Но у меня были свои соображения. И вера: вот если бы зоотехника вооружили чеками, у тракториста был бы совсем иной интерес к тому, что он на ферму везет. Да и председатель не стал бы так активно вмешиваться в его взаимоотношения с «кормачами».

Время для выяснения полтавского варианта с чеками я выбрал для чеков — худшее, для стремления раздобыться — лучшее. Картошка, 250 гектаров. Убрать! Какие там чеки и взаимные расчеты. Все вместе с председателем Донченко на картофельном поле. В правлении одни лозунги и обязательства на стенах. Да на дорожном асфальте давленная колесами бульба. Председатель, зампарторга, комсорг, бухгалтер, агрономы, зоотехники и «голова профкомом» — все там. А здесь, в правлении, осталась Анна Ивановна Клименко. И она очень удивилась, когда мы с Кандыбой показали ей киевскую методичку. Нет, с самого начала, когда пришла из училища в колхоз и по

молодому своему темпераменту взялась вдевать чеки, то отпиралась вместе с другими заинтересованными специалистами в Диканьский район перенять оттуда «живой» опыт. Хозяйство там меньше одного отделения гоголевцев и с ним, конечно же, проще. А здесь разве охватишь все надзором?

Стоп! Как же это? Система чеков на то и существует, чтобы надзор упразднить и заменить его экономическим интересом. Контролируют уже не контролеры, а работники. И ответственность у них не риторическая, а основанная на крепком экономическом интересе.

— А у нас так, — поясняет Клименко, — до девятого месяца работаем с чеками, а потом уже не до них.

Как, почему не до них? А так. Из школ — десятиклассники и преподаватели, из вузов — студенты, из лесхоза — рабочие, пенсионеры-шахтеры с Донбасса — «вот такие здоровые дядьки...». Уж не говоря обо всех местных привлеченных. Раньше еще хуже было. Со всей республики привозили людей, «какие и не бачили зовсім, що це таке буряк». Драли все подряд. Тоже уборка называлась... И было тогда только два экономиста в хозяйстве. А теперь в растениеводстве, кормопроизводстве, механизации, животноводстве, обслуге — везде по экономисту, над которыми Клименко главная. И получается...

— Чем больше считают, тем больше убытку...

— Так в чем же дело?

Растолковала. Положим, зав. фермой понадобилась пустячная деталь для автопилки — иголочка. Но на складе ее нет. В лучшем случае могут дать вам всю поилку целиком. Только зачем брать всю? И дорого и, главное, не нужно. К тому же и лимит расходов ограничивает. И вот я начинаю объезжать-обзванивать соседей, может, у кого-то есть нужная распродажная иголка. Повезло, есть такая, скажем, у соседей в колхозе имени Шевченко.

— Продайте! — умоляю. — Хотя за свои кровные!

— Не, — отвечает. — И невыгодно и не положено! А вот обменять — можем попробовать.

И пошел торг. Притом о стоимостном эквиваленте речи не может быть. Цену диктуют нужда, непоеные коровы своим мычанием. Выписываю на складе то, что не нужно мне, но нужно им, ставлю сумму прописью и знать не знаю, ведаю не ведаю, что, вполне вероятно, завтра-послезавтра нужное им окажется столь же необходимым и мне, хотя по документам оно у меня вроде уже есть, но на самом деле его у меня нет. Хочешь не хочешь, а пускайся на новые авантюры с обменом.

Другой пример: подготовка комбайнов к уборке. Полгода держала их у себя «Сельхозтехника», на тысячу рублей «наремонтировала» каждый. Приходят они в хозяйство, и каждому комбайнеру ясно, что ремонт ремонтом, а машину еще «треба доводити до ума». И копаются люди по месяцу, а то и больше. Что делают? Работают. Значит, оплачивай, выписывай им чек. За что, за ремонт? Так он еще раньше сделан и оплачен. Бухгалтерия уже перечислила деньги «Сельхозтехнике». За что же платить еще раз своим? Черт знает что! И прав Кандыба: «Науке и не снилось».

— Да что вы так уверовали в нее, в науку эту? — спросила вдруг, рассердившись, Анна Ивановна. — Будто она и впрямь чего-то может. Вон у нас, звонят из района: «Чтобы через пять дней был готов план социально-экономического развития села!» Мы — к ученым. А те: «Нам меньше двух месяцев никак нельзя». Как? Да нам за это время десять раз выговоры объявят. «Никак», — отвечают. — Нам нужно вас исследовать. По методике». А чтоб она сказывалась, та ваша методика, и в четыре дня мы своими силами слепили злосчастный план. Не знаю, может, и не по науке, но в районе были довольны.

Клименко рассказала мне, как однажды, взявшись за дело с душой (уж очень человек того заслуживал), они начислили одному из добившихся феноменальных привесов молодяка животноводу все то, что было ему положено. Получилась сумма, втрое превосходящая его основную зарплату. В районе об этом узнали и кинулись в область: «Что делать?» Оттуда — в министерство. А там, покумекав, спросили: «Та и де ж вы бачили таки гарны доплаты? Це не діло».

...В этом отношении котовцы находились в неизмеримо лучшем положении, нежели гоголевцы. Система социалистического хозяйствования на селе тогда еще только-только складывалась. Многие еще вообще сомневались, что подобным образом можно крестьянствовать. Потому не было никаких ограничений, правил и положений. Полная свобода эксперимента. Хотя, конечно же, и самые смелые брались за них с оглядкой. Времена были суровые. Поэтому слово «эксперимент» применительно к внутрихозяйственному расчету кому-то могло показаться даже кощунственным: «С голодом не экспериментируют». Прикидывали наверняка.

Теперь мы живем сытно, благополучно, без жалающей мысли о том, что будем есть завтра. Механизм нашего хозяйства сложился давно, отлажен и работает уже как бы без нашего участия. Вернее, с участием минимальным, предельно функциональным. Мы, как чаплинский герой у конвейера, нажимаем заученными движениями рычаги и кнопки, порой не задумываясь о том, что делаем и, главное, зачем. Скажут, пахать на сорок сантиметров — будем на сорок. На двадцать — пожалуйста. Велят ставить скотину на щелевые поля — ставим, хотя она страдает, ноги портит. Скажут — на солому, добудем солому. Хорошо ли, плохо ли, но кто-то за нас все время думает, экспериментирует, высчитывает. Пусть. У нас теплый дом, мясо в щах, телевизор, на машину копим. Чего еще?

Да ничего, кроме того, что мы перестали быть в полном смысле слова сельскими тружениками, крестьянами, а превратились в функци. Те жили своим трудом и в своем труде, находя в этом счастье и смысл жизни. У нас работа сама по себе, мы сами по себе. В поле, на ферме мы функция. Дома — люди. То же самое во всевозможных конторах, управлениях, кабинетах, организациях. И даже слово такое появилось у всех на устах — «функционер», вместо старого и почетного — «работник». И называя так кого-то, люди не подозревают, что, вполне возможно, незаслуженно обижают человека, целиком отдающего своему делу.

Не хочу говорить дурного о гоголевцах. Прогресс у них есть. Например, если раньше хозрасчетные задания составлял экономист, то теперь это делает зав. фермой. Образование и заинтересованность позволяют. Но все это полумеры, приносящие полупехи.

Почему так? А потому, что разноробой во всей системе. Чеки еще не связывают все звенья хозяйства взаимным интересом. Например, те же отношения фермы с «кормачами»: либо выписывай, либо иди на скандал. Третьего не дано. Так неужели нет во всем хозяйстве человека, который бы задумался о каком-то мостике между этими двумя «либо»?

Оказывается, есть. С Иваном Михайловичем Ромашко, молодым заведующим молочнотоварной фермой, меня и познакомили потому, что он уже не раз выступал на собраниях с требованием материально заинтересовать «кормачей» в падах и привесах. Он и со мной сразу же начал о наболевшем: «Им надо больше, а нам надо лучше. Так почему я должен платить «кормачам» по два десяти за центнер, если сено явно плохое? Давайте, говорю, разработаем

шкалу: два десятка, рубль восемьдесят и семьдесят копеек. Тогда они в моих руках, а не я в их»...

— А что вам отвечают?

— Говорят, нет инструкции. Какой еще, спрашиваю. Решили — и баста. Я эти чеки еще в техникуме изучал. Инструкции тут ни при чем. Просто кому-то не нравится. Вот и тормозят потихоньку, за спиной у людей...

Вот! Значит, не только все звенья хозяйства должны сами по себе работать как часы, но и механизм их взаиморасчетных отношений нужно отладить так, чтобы он не скрипел подобно несмазанной телеге. Примеры давнишние и сегодняшние доказывают, что колеса внутрихозяйственного расчета только тогда начинают вертеться с ускорением, когда в них не суют палки. И самая толстая из них — украшение отчетности в ущерб истинному положению вещей. Председатель гоголевского колхоза Донченко говорил мне: «Мы свое вырастили. Кто-то не вырастил. Так нам пришлось продавать и за себя и за тех. Дважды наказывали за то, что оказались лучшими хозяевами».

Жизнь подтверждает: либо неудачник, как в опере, «плачет», либо он превращается в балованного «объективными» обстоятельствами захребетника и развращает других. Что-то от этой тенденции (стоически переносить неудачи на общественной ниве) чувствуется даже у трудолюбивых и в общем-то удачливых гоголевцев. «Сена мало? Та то ж засуха»... Надои по 8,5 килограмма — «та вот буряк пойдет, с ботвы подымутся». Зимой пробовали корзины плести и венки вязать — «та не заладылось». Хотели чернобурок разводить — «та передохлы»... Так не от того ли (не гоголевцы, другие) у нас так много хозяйств «веников не вяжет», что уж совсем положились на дядю-государство и чуть что — дерут с него.

Сегодня мы имеем дело со сложившейся структурой хозяйства, которая, во-первых, обеспечила всем безбедное существование, а во-вторых, достаточно жестко определила взаимоотношения как внутри колхозов и совхозов, так и их внешние связи с партнерами и с руководящими органами. Но мы понимаем, что экономика не может топтаться на месте, надо идти дальше, искать новые пути. И вдруг появляются чеки, которые «путают» все карты не только внутри хозяйств, но и за их пределами. Теперь из-за каких-то каракулей на листочке плохой бумаги «Сельхозтехника» должна заботиться о совершенно невыгодных ей иглочках для автопоилок, а комбайны ремонтировать так, что хоть под гарантийной пломбой выпускать. Шоферы и трактористы должны забыть о «левых» заработках, а руководители всех уровней от хозяйств и выше — о желании красиво рапортовать. Я уж не говорю о комсомоле, которому в конце концов придется взять шефство над внедрением системы. Кстати, об этом интересно высказался Витковский: «Уж если гигантский БАМ оказался комсомолу по плечу, то почему же он проходит мимо столь важного участка в строительстве социалистической экономики. Так и назвать: «Ударная комсомольская стройка — чековая система внутрихозяйственного расчета». Вот какие горизонты (здесь еще далеко не все сказано) открывает перед нами эта бумажка — чек.

В самом деле, какая красивая картина рисуется воображением. В начале года при всем честном народе правление колхоза выдает руководителям производств чековые книжки под расписку. А в конце года точно так же публично собирает, сверяет чеки с корешками — и весь разговор. Совпадают? Порядок. Нет? Тут же, при общем голосовании, разобраться и воздать по заслугам.

Но это все мечты, как у киевских экономистов,

которые уже грозят не только внутри хозяйств, но и по районам чеки пускать. А там тем временем целая армия Спизифов от бухгалтерии дружно катит бумажные валуны документации к недосягаемым вершинам отчетности.

Но время и специфика социалистического хозяйства требуют комплексного взгляда на передовой опыт, умения видеть вещи в их взаимосвязи, а человека — не только как исполнителя определенных хозяйственных функций, но как личность со всей ее гармонией и дисгармонией интересов. И еще надо добиваться своего так, как это делает молодой зав. фермой у гоголевцев Иван Ромашко. И еще всем вместе основательно подумать, как бы нам выбрать такую точку зрения, чтобы за бумагой было видно дело, а не наоборот. И тогда каждый, образно говоря, со спокойной совестью сможет расписаться на чеке, выданном ему государством.

Не верите? Поезжайте в колхоз имени Калинина Бердянского района Запорожской области к Василию Кондратьевичу Бутенко. Под его началом колхозники так капитально освоили чеки и внутрихозяйственный расчет, что привели председателя к на первый взгляд парадоксальной мысли. От нее, между прочим, еще котовцы в свое время отказались, настолько она показалась им смелой и труднореализуемой.

— Хочу эксперимент сделать, — признался Бутенко Витковскому. — Заменяю-ка я чеки настоящими деньгами, и пусть рассчитываются между собой как хотят. Надоела эта возня с бумажками...

— А не прогорите? — усомнился ученый. — Живые деньги в руках — великий соблазн!

— Только не для моих людей. Уверен, будут экономить каждый рубль. Вот если б разрешили, а?



ТАИСИЯ
СОКОЛОВА

ПЕРВЫЙ БАЛ

*Среди славных юбилеев нынешнего года
и 50-летие стахановского движения.
Родившись в 1935-м,
новое отношение к труду стало
народной традицией, обогащаемой опытом
все новых и новых
поколений советских людей.
Одной из первых московских стахановок
была и Таисия Семеновна Соколова —
тогда комсомолка Чернова Тая.
О ней рассказывали в заводской газете,
о ее трудовых достижениях
рапортовали правительству.
Портрет юной работницы литейного цеха,
повысившей свою выработку в три раза,
проносили во время демонстрации
по Красной площади
в колонне московского
авиационного завода.
И вот через пятьдесят лет —
разговор Таисии Семеновны
с ее девятнадцатилетней внучкой.*

Этот портрет стахановки Таи Черновой ее друзья и подружки несли в дни демонстраций по Красной площади.

(Снимок из семейного архива Соколовых).



конце ноября 1935 года в честь первых стахановцев страны Москва давала бал в Колонном зале Дома союзов.

Уже с порога начиналось небывалое. Обычно на торжественные собрания, концерты, лекции мы входили в Колонный зал с Пушкинской улицы, с первого этажа, из гардероба поворачивали направо, поднимались в фойе второго этажа. В этот раз для всех приглашенных был открыт парадный вход. Мраморная, на всю ширину укрывая красным ковром лестница подводила прямо к огромному зеркалу. Я, замирая от страха прослыть несерьезной, все-таки повертелась перед ним несколько секунд.

— Бабуль, а как ты была одета?

— Во все свое единственное, самое лучшее! На мне было черное крепдешинное платье. Когда купала его в ателье на Таганке, мне показалось, что в нем и только в нем я буду выглядеть в древнегреческом стиле. Ну не Даная, конечно, однако свободное платье-туника, да еще вокруг ворота складчатая пелеринка — это да! Украшений: цепочек, кулонов, брошей — мы тогда не носили. Прическу, кажется, успела сделать, а вот обувь... Нет, туфельки были хорошие: легкие, мягчайшее шевро, венский каблучок, ремешок на пуговичке, ходить удобно, танцевать — удовольствие. Один недостаток — коричневые, таких же хороших черненьких в продаже не оказалось. Однако я вскорости все это забыла. Второй марш лестницы вывел на площадку, где в большой раме на толстых шелковых нитках висели игрушки. Мне очень понравился красавец попугай. Но выигрыш доставался немногим. Условия аттракциона были такие: вам закрывают лицо, ставят в трех метрах от игрушек и дают в руки ножницы. Мне повезло: желанного попугая я срезала. Мысленно сказала: «Виват!», привязала красную нитку к поясу, перебросила птицу за спину и отправилась дальше — в радужный свет хрустальных люстр и зеркал фойе.

— В то время ведь ты была влюблена — ты встретила его на этом самом балу?

— Нет, первая встреча была намного раньше, в Ташкенте...

— Расскажи, пожалуйста. Расскажи все по порядку. Ты жила в Ташкенте?

— Да, я жила в Ташкенте и уже была комсомолкой, когда очередной съезд комсомола Узбекистана собрался в Доме Красной Армии. Ребята в ячейке сказали: «Ты свободна сегодня, сходи на съезд». Вошла я в перерыве, посидела, потом подалась в тир. Там делегаты и гости стреляли по очереди. Немного постреляла, результат средний, пошла попить чайку, вернулась в зал... Ты знаешь, и сейчас ясно вижу, как из президиума между рядами идет девушка-узбечка. Весна стояла ранняя, жаркая, но на голове у девушки была золотисто-коричневая кубанка. Я, помню, подумала: «Каким же хорошим должен быть тот парень — хозяин кубанки, если девушка решила на такую смелую вольность!» Спросила соседки: «Чья это кубанка?» И мне показали парня — он председательствовал на съезде. Я смотрела на парня из зала и начинала понимать, что день сегодня вовсе не будничней, что небо в Ташкенте самое солнечное и что жить дьявольски интересно... А лично познако-

милась с Иваном в ЦК комсомола Узбекистана, куда пришла по своим комсомольским делам.

Вскоре Ивана перевели в Москву. Я, когда приехала из Ташкента, разыскала его, и потом уже так сложилось, что, если у меня случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, снимала трубку и рассказывала ему. Или, узнав что-то хорошее, примечательное о нем от других, старалась поступать, как он. Были курьезы. Иван руководил в комсомоле военной работой и, желая знать и уметь в своем деле, окончил летную школу в аэроклубе. Я тоже записалась в кружок планеристов и на первом же практическом занятии взлетела на планере, несмотря на приказ инструктора только имитировать взлет. Нельзя было тянуть ручку управления на себя. А я потянула и взлетела. Но из аэроклуба «вылетела». Ведь это счастье, что приземлилась удачно, а могла и разбить планер. Любопытно, что Ивану про это я решила ничего не рассказывать.

К этому времени во мне подспудно созрело еще не вполне осознанное чувство неполноты бытия. К двадцати годам сил, умения накопилось достаточно, а казалось — неправильно живешь, суетишься не по делу. Разрасталась потребность развернуться. Хотя вроде бы все шло как надо. Был последний день августа, а 1 сентября мы праздновали МЮД — Международный юношеский день. Готовились, пелись, предвкушали вечернюю демонстрацию на Красной площади, мне сверх всего светила надежда увидеть Ивана.

Ивана в многолюдье демонстрации я так и не увидела, и праздник прошел, но на Другой день, как обычно, купив газету, чтобы посмотреть, что мне как агитатору надо будет прочесть в обед в цехе, смотрю, в «Правде» от 2 сентября 1935 года корреспондент из Сталино сообщает: в честь МЮДа кади́евский забойщик Стаханов поставил всео́бщий рекорд производительности труда, добыл 102 тонны угля. Это составляло четырнадцать дневных норм и заработок 200 рублей — по тем временам колоссальный! Для меня короткие строки маленькой информации были как гром колокола, как взрыв, нечто сначала даже непостижимое! Заметку читали и бурно обсуждали в цехе.

— И ты решила стать стахановкой?

— Ну, не так все просто. Тогда еще и слово это не родилось. Я ходила и думала: вот это Алексей Стаханов, вот это человечье! Как он решился сломать технологию, все нормы?! Почтить юность мира воистину неслыханной производительностью труда! И еще думалось: раз такие дела возможны на шахте, то и у нас, в литейке, можно значительно поднять производительность. Попробовать бы. Я как-то сразу сердцем угадала, что вот оно, то самое дело, которому стоит отдаться целиком! Вот она, реальная возможность развернуться во всю силу! Внутри все горит, хочется немедленно попытаться, а боязно. И даже не того боязно, что не выйдет, а... словом, доработала смену и пошла к Ивану. Повод был слишком значительный, чтобы обойтись телефоном.

«Ваня,— говорю,— хочется мне поработать, как Стаханов. Понимаю, что у нас завод, не шахта, но...» «Ну и молодец,— отвечает, а у самого смешинки в глазах.— Что тебя мучает-то?» «Да страшно, Ванечка, вдруг товарки обидятся, упрекать начнут, что «высовываюсь». Сама, скажут, за большим рублем гонишься, а нам потом расхлебывать, жилы тянуть. Набегут нормировщики, враз расценки снизят». «Но ведь кто-то начинать должен?»— улыбается Иван. И мы повели наш с ним самый длинный и обстоятельный разговор. Ведь у нас на заводе, как почти везде, для всех нормы были уравниательные, неза-

висимо от оснастки работ, от организации труда, умелости рабочего. Почему-то считалось, что нормы можно перевыполнять максимум на 30—40 процентов, соответственно в них упирался потолок зарплаты. Много зарабатывать вроде бы и неприлично: ненароком ярлык рвача подцепишь.

«Ты не бойся,— говорил мне на прощание Ваня,— ребят-комсомольцев подбей, с комитетом ВАКСМ все обмозгуйте, сходите в партком — поддержат. Наверное, у многих назрело такое желание. Движение, должно быть, пойдет по всей стране. Товарки твои поворчат, а потом и самим захочется во всю силушку развернуться. Ты же смелая дивчина. Вот, рассказывают, на первом занятии планер раз... и сразу в воздух подняла!» «Да не разбивала я планера!» — оправдываюсь. А он: «Вот и я говорю — просто взлетела и прошла бреючим!» Весело так смеется, а мне уже ничего не страшно. Однако лазейку себе оставила: я вначале попробую и — если получится прилично — только тогда пойду к ребятам и в комитет. «Договорились!» — отвечает, протягивает свою большую руку, берет мою, почему-то бросает внимательный взгляд на ладонку и прощается.

Шла от него — за спиной что-то вроде крылышек шевелилось. Может быть, это просто полоскался на ветру воротник матроски, они тогда были в моде, и мне показалось, что Ивану нравится этот костюм.

Сутки готовилась. Обговорила все с мастером и подсобным рабочим до мельчайших подробностей, по минутам распланировала смену! Отгладила шелковую блузку и юбочку в складку, спецовочный фартук вымыла до блеска, сделала маникюр и покрыла ногти лаком, чтобы не прилипал формовочный состав.

И вот наступил он — «мой день»!

Раньше я всегда пела во время работы, не закрывая рта, хотя уже заметила, что не всякая песня ускоряет темп работы, иная, наоборот, сильно замедляет движения. Но времени-то у меня все равно оставалось с лихвой: успевала слегка — в «допустимых» пределах — перевыполнить норму, поболтать с товарищами, сбегать в лабораторию, в библиотеку, навесить подружку в другом цехе. И всю общественную работу, которой можно заниматься, не выходя за проходную, я обычно успевала переделать в рабочее время. Но в этот день был только труд по профессии, на всю железку, до упора. Я ни на секунду не отошла от верстака, не открывала рта до самого обеда! В обед власть наговорила — в основном с подсобником своим, чтобы и его ободрить! — отдохнула и тем же порядком закончила смену.

Едва отзвучал гудок, побежала к телефону и набрала номер. «Ну, сколько?» — спрашивает Иван. «Три нормы!» — отвечаю. Он поздравил с победой, сказал что-то вроде того, что я молодец, умница-разумница, так держать! Белел Доложить все ребятам-комсомольцам из тех, что поспоровистей и погорячей, сходить с ними в партком... «Нет, в газету пока не надо, многотиражка тебя сама найдет». И только положив трубку, я поняла, что произошло что-то действительно хорошее: в интонациях Ивана впервые не было смешинок, он говорил со мной как-то по-особенному уважительно.

Вот так и начался с его благословения поворот в моей жизни: она стала полной, напряженной, радужной. Да, моя хорошая, именно радужной. Если работаешь вполсилы, то и отдыхаешь вполовину радости. А теперь часы и дни понеслись с такой скоростью, что я чувствовала себя каплей в огромном быстром потоке. Будто плотина прорвалась, так шла по всей стране волна стахановских рекордов. Уже к середине сентября многие шахтеры превзошли рекорд Алеши Стаханова в три раза. Появилось сооб-

шение о кузнеце Бусыгине с горьковского автозавода, который при ковке коленчатых валов превысил на этой операции производительность труда американских рабочих. Везде: в машиностроении, на транспорте, в легкой промышленности — стали появляться последователи Стаханова. Особенно полюбили в стране ивановских ткачих Дусю и Марусю Виноградовых. Нет, они не сестры — однофамилицы, их сроднило отношение к труду: свой собственный рекорд увеличили в два раза за короткое время.

— Бабушка, но почему раньше Стаханов не мог выполнять четырнадцать норм, а ты три? Ведь и раньше вы были ударники. Помнишь, ты показывала книжку ударника?

— Так ведь ударничество началось в первой пятилетке — тогда у нас еще не было новой техники. А к 1935 году в стране фактически произошла техническая революция. Были построены новые заводы, появились новые станки, инструмент, технологии. На шахтах, например, уголь уже начали рубать не обушком, а пневматическим отбойным молотком. И наш завод был новенький, с иголки: металл плавил в мощных электропечах, а не в тиглях, как раньше, в прокатном установили современные станы, везде чистота, порядок, и в литейке работали в белых халатах. Люди тоже — прошли техминимум, курсы повышения квалификации, многие рабочие по вечерам учились, уровень трудовых навыков, умелости очень возрос. Но организация труда не соответствовала новому состоянию производительных сил.

Придешь на работу, глядишь: наряда нет, с модельного склада не принесли формовочный ящик, с земледелки не доставили земли, плиты под готовые стержни рассыпаны вокруг всего верстака — подбери. То, что мог сделать подсобный рабочий, надо делать самой. Не сходишь сама или не дозовешься подсобного — будешь стоять. Не знаю ничего отвратительнее, чем вынужденный простой. Это унижает. Ведь жизненные силы, данные человеку природой, реализуются счастливее всего в труде. Простой психологически действуют как скрытая безработица. Это чувствует всякий, кто не имеет возможности работать в полную силу.

Стаханов смог выполнить четырнадцать норм не только потому, что получил в руки новый механизм — отбойный молоток. Его, Дюканова, Изотова, Артюхова — высококвалифицированных шахтеров освободили от беготни за крепежным лесом. За ними вслед шли подсобники, укрепляя кровлю шахты. Вот главное! Рекорд Стаханова стоял на трех китах: новой технике, высокой квалификации передового рабочего и рациональной организации труда.

А в нашем литейном цехе формовочные стержневые работы не были еще механизированы. И поэтому для наших рекордов оставались только два из этих «китов»: профессиональная квалификация и правильная организация труда. Ну, с квалификацией у меня было неплохо: успела до этого поработать и на чугуном, и на цветном, и на стальном литье, знала практически все особенности стержневого дела. Образование среднее — стало быть, знания тоже «на уровне». Нужно было добиться лучшей организации труда. Поэтому и рассчитывала каждую смену по минутам, чтобы работать деликатно, даже красиво. Четырнадцать норм не выполнишь, а три и даже пять можно. Но дело было не в том, чтобы выполнить побольше норм, а в том, чтобы выполнять максимально возможное их количество. Например, машинист Кривонос вдвое сократил время маршрута на локомотиве. Сапожник Сметанин дал за смену тоже две нормы. И среди железнодорожников и обувщиков они были примером. Союзные рекорды потянули за собой другое движение: выполнение плана всем цехом,

борьбу с простоями, штурмовщиной. Первые стахановцы в общем-то не думали, что они совершают революцию в производстве, решали свои повседневные вопросы. Но партийные и комсомольские организации к движению отнеслись творчески. Потом стало известно, что на шахте «Центральная-Ирмино» коммунисты все вместе готовили переход к высшей производительности. Наши: парком, администрация, завком, комитет комсомола — сразу пошли нам навстречу, поняли значение процесса. В цехе за пятидневку появилось несколько человек, резко перевыполняющих норму. А прокатчики подняли потолок производительности до пятисот процентов. В общем, получилось так, как мне предсказывал Иван.

— Но ты видела его на балу?

— Да. Он стоял посреди фойе, окруженный прекрасными и именитыми. Тут были Нина Камнева и Тамара Берлин — парашютистки-рекордсменки, прославленные летчики Балашов и Калинин, видный журналист и еще неизвестные мне люди. С высоты своего роста он разглядел меня, приветствовал салютом «Рот-фронта», я показала пятерню, он понял, что это выработка сегодняшнего дня, ответил, подняв над головой большой палец. Так вот «говорили».

— Погоди, не уходи, бабуля. Ты мне скажи, а он тебя любил?

— Конечно! Он был наделен глубоким бесценным талантом любви к людям, доброжелательности, понимания и сочувствия. Вероятно, у него было врожденное чувство такта, демократизма и полностью отсутствовало чванство. Ум, юмор, обаяние привлекали к нему людей. Прирожденный лидер, он был внимателен и прост, умел прекрасно слушать. А еще владел чудесным даром — сказать вовремя нужное слово. Те, кто работал вместе с ним, рассказывали о его партийной принципиальности, говорили, что смел и отважен.

Когда я впервые увидела его еще в Ташкенте, мне было шестнадцать лет. Много читала о любви. Ромео, Вертер, Дубровский, Андрей Болконский, Кирилл Ждаркин — никто не выдерживал сравнения с моим героем! От сознания, что здесь вот, сегодня живет такой очень духовно близкий парень, все на свете становилось светлее, интереснее, радостней. Я совершенно уверенно знала, что не разочаруюсь в этом человеке. Помнишь: «Какое это чудо — любить человеческое существо». Такое чаще всего начинается в юности и на всю жизнь...

— Но ты все-таки потанцевала с ним?

— Нет, я потеряла его из виду. На этом балу, смеяла один другой, играли два оркестра. В перерывах между танцами выступали артисты — все самые яркие звезды московских театров и эстрады. Пели, читали стихи, солировали на музыкальных инструментах. Что, с кем и как танцевала, сейчас припомнить не могу. В конце концов забралась на балкон, где сверху видно все.

— Что же ты увидела?

— Увидела, почувствовала, пережила красоту. Красоту этого неповторимого зала и танцующих в нем людей, их одухотворенность, молодость, силу. Смотрела и понимала, что причащаюсь к такому в жизни, о чем захочется и будет сладостно вспоминать.

Конечно, имело значение для чувств и раздумий то общественное настроение, которое сложилось накануне этого бала. Только что закончилось Первое Всесоюзное совещание стахановцев. Мы выполнили первую пятилетку, обзавелись промышленностью, колхозы и совхозы стали вволю давать хлеба, и к январю 1935 года были отменены карточки. Жить стало лучше, жить стало веселее. Это была важная предпосылка стахановского движения. Когда весело живется, говорилось на совещании стахановцев, ра-

бота спорится. Чистая правда. Ведь питание по карточкам было не очень-то калорийным, одежду и обувь выдавали по ордерам. Потому, наверное, в нашем поколении акселераты не вырастали и не у всех девушек были такие стройные ножки и тонкие щиколотки, как у большинства из вас.

Я смотрела с балкона вниз. Гремел вальс «Амурские волны». Может быть, никогда Колонный не был так прекрасен, как в этот вечер, приняв в свои стены людей труда. Казалось, это их мыслей и чувств одухотворенность передалась беломраморным колоннам. Люстры нежно перезванивались — словно приветствовали людей невиданной еще формации; словно гений зодчего, создавая гармонию, за столетия предугадал именно этот бал! Я думала о моем поколении — и мысли были гордые. Откуда они «бысть пошли», эти сейчас танцующие, радостные, новые люди? Из какого славного корня выросли? На совещании мощное рождение стахановского движения сравнили с рождением Советов. Они тоже возникли стихийно, как орган восстания, но Ленин увидел в них зародыш власти могучей и непобедимой, потому что ее потребовал сам народ. От Советов и надо считать наш род.

Стахановцы были названы революционерами, — они ведь не только промышленную революцию вели вперед и вглубь, но с этих пор отчетливо выступила революция в сознании. Возьмем для примера определение «мастер золотые руки». Все-то он умеет сделать! Слава ему? Ан нет, если он только для себя делает, для денег, для личного почта. Далее. В труде безотказен, все планы перевыполняет — ему честь? А приглядишься внимательно: вот мастер подsunул ему наряд за работу, которую наш честный трудяга не делал, — он наряд подписал. Не из жадности, а чтобы «не портить отношений», не лишать всех премии. Трудолюбие есть, а доблести и героизма не хватило. Очковитительство — оно от беспринципности.

Стахановцы были новым типом людей. Вроде то же делаешь, что и раньше, да не так — душа поет. Это потому, что стахановцы трудились не для себя только, а для подъема всей страны. Результаты их дел останутся на века. Посмотри на Московское метро — ему уже пятьдесят лет, а краше его нет в мире. Люди стали понимать труд как дело чести, славы, доблести и героизма.

— Но почему хорошо работать — это доблесть и героизм?

— Потому что надо иметь смелость, чтобы идти против старого течения жизни. Путь стахановского движения не был усыпан розами, представь, у него были противники. Ведь учеными-нормировщиками нормы составлялись еще в конце двадцатых — исходя из отсталости тогдашней нашей техники. Но мы же не присягали на отсталость, мы ее ликвидировали, по многим показателям даже перегнали развитые страны. А когда стахановцы сломали старые технологии и нормы, они встретили сопротивление горученых. Иных из первых стахановцев даже увольняли с работы за перевыполнение норм. Иные горуче-руководители под видом борьбы за рекорды — карьеристы — насаждали штурмовщину, показуху, очковитительство. Во имя «чести завода» они давали такие указания, которые не помогали, а мешали движению. Надо также учесть, что в стране было много еще мелкобуржуазных элементов с мещанской психологией, они старались опорочить в общественном мнении движение передовых рабочих. Увидят плохо сделанную вещь, кричат: «Стахановская работа!», «Скоро хорошо не бывает!» Услышат похвалу стахановцу — ворчат: «Из грязи в князи!» И в этих условиях надо было иметь большое героизм и доблесть, чтобы отстаивать и укреплять новое отношение к труду.

Доблесть и даже героизм были необходимы новым людям не только в общественном, но и в личном плане. Ведь стахановцы отнюдь не были свободны от пережитков прошлого, от некоторых неудачных традиций в работе, быту, поведении. Им надо было выше поднимать свою личную культуру, обладать чувством самокритики, не успокаиваться на достигнутом, хотя уже имеешь честь и славу. Критически относиться к себе — это большая доблесть, в иных случаях героизм.

Ленинское определение критики включает три момента: вскрыть ошибку; проанализировать причины ее возникновения; наметить меры ее устранения. Иногда, увы, ошибки критикуют, особенно охотно указывают на них молодые люди, но часто не видят причину, а ведь она может лежать и в твоей работе. Притом мало сказать: «Извините, больше не буду», — надо делом исправить недостаток.

Заметь, что стахановцем нельзя быть, только только придя на завод, да еще «на время», — как, скажем, сейчас «зарабатывают стаж» для поступления в вуз. Новые люди — стахановцы были кадровыми рабочими. В моем поколении кадры молодых рабочих выходили по преимуществу из семей потомственных пролетариев, из воспитанников детских домов, учеников ФЗО. Это были сплошь грамотные, уже поработавшие ребята, которые овладели ремеслом, не боялись и умели взяться за дело. Они получили новую технику, только новая техника мертва без нового отношения к труду.

Мое поколение росло в лучах внимания, заботы и любви, но главное — надежды на нас со стороны отцов и старших братьев. Нас называли первым поколением, которое не имело подданства царю, а только советское гражданство и которое от рождения не видело городского, помещика, банкира. Нас воспитывали так, чтобы мы были не только помощниками, но и резервом пополнения партийных рядов. Комсомольцев приглашали на все открытые партийные собрания, была и такая специфическая форма: партийно-комсомольские собрания. Это была хорошая школа воспитания партийности. Мы, как говорят, «снямали рисунок» действия партийной демократии, дисциплины, общественной работы.

Комсомольцы тридцатых, все наше поколение имело важную отличительную черту: нами овладевала, становилась личной идея построить социализм по той программе и планам, которые намечала партия.

— Бабушка, ты увела меня своим рассказом на полвека назад, а мне стало виднее вперед — чудеса... И знаешь, о чем я сейчас думаю: вам действительно повезло на значительные дела, но ведь моему поколению предстоит совершить не меньше. Как ты считаешь, будет у нас подъем, подобный вашему? Получится у нас? Осилит?

— Посмотри кругом, как восторженились люди, как единодушно поддерживают курс партии на наведение порядка, дисциплины, подъем производительности труда. Могучий поток нарастает!

От редакции. Приглашаем читателей поделиться своими размышлениями о прочитанном. Как решения апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года претворяются в жизнь на вашем предприятии, в вашем коллективе? Что, на ваш взгляд, тормозит дело? Какую роль в реализации задач, поставленных партией перед советским народом, вы, уже работающие или заканчивающие обучение в школе, ПТУ, техникуме, вузе, отводите своему поколению, комсомолу, себе лично? Как планируете жизнь? Будем рады этот несомненно важный разговор продолжить на страницах нашего журнала.

АЛЕКСАНДР
ПЕТРУХИН

ШАГ В БЕССМЕРТЬЕ

(Из записок
о бразильском подпольщике)

ОТ АВТОРА

Десять лет назад, сентябрьской ночью 1975 года, Жозе Монтенегро де Лима, руководитель отдела по работе с молодыми коммунистами Центрального Комитета Бразильской компартии, вышел из подпольной квартиры и больше не вернулся. Его арестовала охранка, которая давно за ним охотилась. Долгое время о нем ничего не было известно. Товарищи надеялись, что он жив. Много раз друзья и родственники пытались выяснить у властей судьбу Жозе Монтенегро де Лима. Но ответ полиции был один и тот же: в списках арестованных не значится...



Автобус с футболистами отправился в семь часов утра. Он выехал на авто-страду, соединяющую Рио-де-Жанейро с Сан-Паулу. Магро¹ занял место на заднем сиденье. Руководитель команды представил его своим товарищам как самого горячего поклонника кожаного мяча. Этого было достаточно, чтобы футболисты прониклись глубоким уважением к Магро. Каждый из них считал своим долгом подойти к нему, по-дружески ударить по плечу и крепко обнять.

Человеку, незнакомому с традициями Бразилии, такое изъятие чувств показалось бы странным. На самом деле все было естественно. Ведь футбол для бразильцев — это как крылья для птицы. Для них воскресенье без футбола — это не воскресенье. Едва научившись ходить, юный бразилец старается ударить ножкой или головкой по мячу...

Три раза останавливали автобус полицейские. Но узнав, что его пассажиры — футболисты, они «забыли» о проверке документов и обыске, улыбались и желали победы. Так что расчет Магро — выехать без осложнений в Сан-Паулу — полностью оправдался.

Автобус прибыл в Сан-Паулу во второй половине дня. Магро попрощался с футболистами и твердо обещал завтра быть у них на матче...

«А не позвонить ли на квартиру Фелипе, — задумался Магро. — Вдруг подойдет его мать, сеньора Тереза... Тогда можно будет что-нибудь узнать об аресте ее сына. А если в квартире сидят полицейские? Но что я теряю? Будет мать Фелипе — хорошо, а если услышу другой голос...» Юноша не стал дальше развивать свою мысль. Он зашел в магазин и позвонил. На той стороне провода незнакомый мужской голос пробасил:

— Вас слушают.

Магро, изменив голос, произнес:

— Позовите, пожалуйста, Фелипе.

— А вы кто будете?

— Это интересно знать?

— Фелипе сейчас моется в ванне, и я бы ему все передал. Кто вы и где сейчас находитесь?

Сомнений не было: в квартире шпик. Магро сжимал в руках трубку, из которой доносился голос:

— Что же вы молчите? Кто вы и где вы сейчас?

Юноша ответил:

— Это говорят друзья Фелипе.

— Друзья! Очень хорошо. А сколько вас?

— Нас миллионы, — сурово произнес Магро. — Мы живем во всех штатах. Удовлетворились?

— Вы шутите? — настороженно спросил шпик.

— Нисколько. Передайте полицейским, что мы отомстим всем вам, палачам, за Фелипе, которого вы убили.

И повесил трубку. Куда теперь идти? Есть еще один адрес — почти в центре, недалеко от 23-этажного здания государственного банка. Там в одном из до-

¹ Магро — «тощий» (исп. яз.) Подпольная кличка де Лима. Так звали его товарищи. Так он назван и в моих записках. (Прим. автора).

мов жил подпольщик Армандро. У него телефона не было.

Магро не сразу подошел к интересующему его дому. Он внимательно вглядывался в проходивших мимо людей. Многие бегут, как заведенные автоматы. Вид сосредоточенный, отрешенный. Другие в одиночку, парами прохаживаются вдоль гротуара. Казалось, ничто не предвещало опасности. Но это только казалось. За огромным стеклом находившегося поблизости кафе стояли двое мужчин. Они оживленно беседовали и время от времени смотрели в сторону подъезда дома Армандро. Это насторожило Магро. Кто они такие, почему не садятся за столик, а торчат у окна? Магро решил проверить свои сомнения. Он зашел в кафе, сел за столик, откуда можно было слышать разговор двух мужчин, и заказал себе чашечку кофе. До него донеслись обрывки фраз: «Тяжела наша работа... Говорят, наблюдай до победного конца. А конца не видно». Разнюхали... И здесь шпики. Полный провал. Магро рассчитался за кофе и вышел на улицу. Печальные мысли не давали покоя. Кто же нанес удар подпольной организации? Магро стал вспоминать всех ее членов. Трудно было заподозрить кого-либо в предательстве...

Был в запасе еще один адрес — молодой работницы с текстильной фабрики Марии, недавно принятой в партию. Ее квартира находилась на окраине Сан-Паулу, где расположено множество ветхих деревянных домов, мало чем отличающихся друг от друга. Прежде чем зайти к Марии, Магро забежал в дешевенький ресторанчик. За соседним столом сидели четверо пожилых мужчин. Они лениво потягивали кашасу¹. То, о чем они говорили, заставило насторожиться Магро.

— У моей соседки горе, — сказал мужчина с крючковатым носом и удлинненным лицом. — Неделию назад ворвалась в ее дом, — и мужчина опасливо посмотрел вокруг, — полиция. Спрашивали ее дочь Марию. Такая милая, работающая девушка, я ее с детства знаю... И что же вы думаете — коммунистка...

— И поймала ее полиция? — спросил другой мужчина с лоснящимися от пота лицом.

— Нет. Она как чувствовала, скрылась.

Магро облегченно вздохнул. Мария на свободе! Надо ее непременно разыскать. Но как? Идти в ее дом опасно.

Когда Магро вышел из ресторанчика, город уже погружался в темноту. На улице зажглись фонари, но свет от них падал такой слабый, что дорога была еле заметна. Магро знал, что поблизости живет подруга Марии Анна, с которой Магро познакомился еще в прошлый приезд в Сан-Паулу. Мария говорила, что она взяла шефство над Анной в надежде привлечь и ее на сторону коммунистов. Анна, работница с той же фабрики, что и Мария, показалась ему толковой девушкой. Правда, слишком увлекалась нарядами, танцами. Но это было простительно: Анне исполнилось 18 лет...

Магро не решился сразу зайти в дом Анны. Он спрятался в тени каштана и стал наблюдать. Наблюдательный пункт оказался не очень удачным. Магро, как он ни скрывался в тени, был виден редким прохожим и тем, кто жил в близлежащих домах. Вдруг он увидел высокую девушку. Она неожиданно вышла из-за угла, и Магро ее узнал.

— Сеньорита! — громко позвал Магро.

Девушка недовольно обернулась.

— Чего тебе нужно?

Он тихо произнес ее имя.

Она оторопела.

— Откуда ты знаешь меня?

— Я Магро, знакомый Марии.

— Магро? — Девушка недоверчиво смерила юношу с головы до ног. — Ты мне зубы-то не заговаривай. Ни Марию я не знаю, ни Магро. Проваливай. Не на ту попал.

И повернулась к Магро спиной.

— Анна, стойте, — властно проговорил Магро. — Посмотрите на меня внимательно.

— Магро, — вырвалась у нее. — Я тебя не сразу узнала в темноте. А то всякие тут пристают. Почему ты в Сан-Паулу да еще бродишь по темным закоулкам?

— У меня срочное дело. Мне надо разыскать Марию. Ты знаешь, где она?

— Разве ты не знаешь, — горестно шептала Анна, — организация разгромлена. Мария случайно спаслась. Сейчас она прячется.

— Мне нужно с ней как можно быстрее встретиться.

— Она отсюда далеко. Я могу ей сообщить о тебе только завтра.

— Хорошо. Скажи ей...

— погоди, — прервала Магро девушка. — Об этом потом. Где ты остановился?

— Нигде, вернее на улице.

— Эх ты, — покачала головой Анна. — Ночью легче всего попасть в руки полицейских.

— Это верно, — улыбнулся Магро, — но у меня есть отличная охранный грамота. Я член футбольной команды, которая завтра будет играть с местной командой.

— Вот это здорово, — восхищенно произнесла Анна. Потом участливо сказала: — Но надо и поспать. До утра еще долго.

И, взяв Магро под руку, решительно заявила:

— Знаешь что, идем ко мне домой.

— Неудобно, наверное. — И Магро осекся.

К ним приблизились двое в штатском. Они подозрительно смотрели на юношу и девушку. Нетрудно было догадаться, что это переодетые полицейские. Тогда Анна прижалась к Магро и зашептала так, чтобы услышали незнакомцы.

— Милый, — ворковала она нежно, — как мне не хочется расставаться с тобой. Не уходи, побудь со мной еще немножко.

Магро, конечно, смекнул, в чем дело, и быстро вошел в роль. Он нежно гладил Анну по роскошным, рассыпавшимся по плечам волосам.

— Я готов с тобой стоять хоть до утра. Посмотри, как светит ярко вон та звездочка.

Девушка запрокинула голову. Один из полицейских, сначала внимательно слушавший разговор, в сердцах сплюнул на землю.

— Ох уж эти влюбленные! Только мешают работать.

И грозно прикрикнул:

— Марш по домам!

Но в ответ услышал от девушки такое, что решил подобру-поздорову убраться. А Анна, оторвавшись от «возлюбленного», гневно выкрикивала вслед шпикам:

— Я тебе покажу, пес паршивый, хулиган раззатый. Сейчас позову полицию — она тебя живо упрячет в одно место.

Когда шпики скрылись, Анна спросила:

— Здорово я их отбрила?

— Ты прямо артистка, — тихо смеясь, ответил Магро, — никто к тебе не придерется.

— Полноночица, — раздался ворчливый голос матери Анны, когда они вошли в кухню. — И где тебя носит?

Увидев Магро, возмущенно проговорила:

— А это что еще такое? С тобой мужчина?

¹ Кашаса — тростниковая водка.

— Не бравись, мамочка, — зашептала Анна. — Это наш товарищ. Он сегодня приехал из Рио. Ему негде ночевать. Да ты его, наверно, помнишь. Он еще в прошлом году был у нас с Марией.

— Помню... — продолжала ворчать хозяйка, но уже более миролюбиво. — Да разве их всех упомнишь, твоих товарищей? Столько их у нас перебывало...

— Пронесло, — шепнула девушка. — Иди в комнату направо. Спокойной ночи. Завтра обо всем переговорим.

Магро так крепко заснул, что угром Анна еле-еле добудилась его.

— Вставай, вставай, — говорила девушка, просунув голову в приоткрытую дверь, — этак можно все проспать.

Магро взглянул на часы: было ровно шесть. Он ополоснул лицо холодной водой и вышел на кухню. После завтрака Анна спросила:

— Какие будут указания, товарищ Магро?

— Матч начинается в четыре часа. Вот к этому времени и приведи, пожалуйста, Марию. Я буду вас ждать у входа на стадион.

ВСТРЕЧА НА СТАДИОНЕ

З адолго до начала матча стадион заполнили темпераментные болельщики. Магро пришел на полчаса раньше. Девушки появились минут через пятнадцать. Высокая статная Анна, а рядом с нею на голову ниже изящная Мария. Лицо у нее было бледное, щеки впали.

Полицейские внимательно присматривались к каждому, кто проходил на стадион. Мария, чтобы ее не узнали, надела защитные черные очки, которые закрывали большие голубые глаза. Когда Магро со своими спутницами пробрался на свои места, игра уже началась. Порой казалось, что на стадионе бушует ураган — так сильна была реакция болельщиков. Под непрерывный гул, улюлюканье и выкрики вели разговор Магро и Мария. Их в это время охраняла Анна.

— Нас всех выдал Антониу, — сообщила Мария.

— Я так и предполагал, — сжал кулаки Магро. — Подлец. Как тебе удалось спастись?

— Я в тот злополучный день шла на свидание с Фелипе. Но, дойдя до его дома, увидела полицейскую машину. Остановилась. Через несколько минут выволокли на улицу Фелипе. Я поняла, что дела плохи, и домой к себе не пошла. В течение недели отсиживалась на одной квартире, так как знала, что меня разыскивают. Только сегодня вышла на свет божий для встречи с тобой.

Магро благодарно пожал руку Марии. Потом, бросив взгляд в сторону Анны, спросил:

— Этот подлец что-нибудь знает о ней?

— К счастью, нет. О ней я говорила только тебе. Ни с кем еще не знакомила.

— Это хорошо, — обрадовался Магро.

В это время стадион разразился невообразимым ревом. Так болельщики Сан-Паулу бурно приветствовали первую удачу своей команды, забившей гол в ворота соперников. Все вскочили со своих мест, что-то кричали, обнимали друг друга, били в барабаны. Над рядами взметнулись флаги, транспаранты с надписью «Сан-Паулу — вперед!». Разговаривать стало еще легче.

— Я уезжаю завтра к вечеру, — сказал Магро Марии. — Матч кончается, а нам еще многое надо обговорить. Вот только где?

— На квартире, где я сейчас скрываюсь.

— А это не опасно?

— Нет, хозяин квартиры, — и девушка засмущалась, — мой хороший друг.

Магро испытывающе посмотрел на нее.

— Ему можно доверять?

— Можно, можно, — горячо ответила Мария. — Он студент, учится на юридическом факультете университета. Недавно у них была забастовка, и Алваро был одним из главных ее организаторов.

— Хорошо, — задумчиво произнес Магро. — А кто его родители?

— Отец — инженер, он скончался год назад. Мать — учительница.

— Ему известно, что ты подпольщик?

— Нет.

Магро задумался.

— Вот что, — сказал он через минуту, — к Алваро я приду утром, скажем, часам к десяти. Сама понимаешь: после случая с Антониу мы должны быть особенно осторожны. Первое впечатление может быть ошибочным. Надо с Алваро поговорить, разузнать все. Потом дадим задание. Необходимо привлечь как можно больше молодежи на свою сторону.

— Да, конечно, — кивнула головой Мария. — Мы ждем тебя к десяти утра. А в два часа зайдешь к Анне, от нее и уедешь.

И она прошептала на ухо Магро адрес Алваро, сказала, как доехать.

Пока шел этот разговор, футбольный матч закончился. Счет был 2:2.

Дом, в котором жил студент Алваро, находился на одной из центральных улиц Сан-Паулу. Студент со своей матерью занимали двухкомнатную квартиру с отдельным входом с улицы.

Алваро был высок, худощав. Роговые очки придавали ему серьезный вид. Да он и на самом деле оказался серьезным, вдумчивым парнем. С первых же минут знакомства Магро нашел с ним общий язык. Выяснил, что Алваро симпатизирует коммунистам. Он читал не только произведения Маркса, но и Левина. Правда, у Алваро были весьма расплывчатые представления о формах борьбы с диктатурой. Он так и заявил Магро:

— Главная движущая сила в этой борьбе — молодежь, и ее авангард — студенчество.

И стал подробно рассказывать, как студенты критикуют реакционных профессоров, законы, ущемляющие демократию.

— А как же рабочие, крестьяне? — спрашивал Магро. — Какое они занимают место в этой борьбе?

— По-моему, не первое, — ответил Алваро. И добавил: — Во всяком случае, не в нашей стране.

— Почему же? — допытывался Магро.

— Да потому, что крестьяне — забитые нуждой и голодом люди. Им не до революции. Рабочий класс — неоднородный, неактивный. Молодежь же другое дело: бурлит, как вулкан, не идет ни на какие компромиссы.

— А вот Маркс, Ленин, все коммунисты, — возразил Магро, — считают иначе. По их учению выходит, что главной движущей силой революции являются рабочий класс и его союзник — крестьянство. Это положение применимо к любой стране, в том числе и к нашей. Ведь мало бурлить, Алваро, надо и бороться против существующего строя, бороться не криком, а умом.

— Хорошо ты говоришь, — задумчиво произнес студент. — Ты случайно не коммунист?

— Да, коммунист.

— А она? — Алваро перевел взгляд на кухню, где хлопотала Мария.

— Тоже коммунистка.

У Алваро выгнулось лицо.

— Мария мне об этом ничего не говорила, впрочем, я гададывался.

— Тебя это огорчило? — взглянул пристально на студента Магро.

— Нет, — нерешительно ответил он. — Но все же это ново.

Магро всгал и прошел по комнате, потом остановился перед студентом.

— Если говорить откровенно, я открыл тебе тайну, партийную тайну. Спросишь, почему? Да потому, что поверил в тебя. Ты парень честный, справедливый, отвергаешь диктатуру генералов, — а это уже многое значит. Если говорить прямо, ты наш естественный союзник.

Алваро слушал внимательно, прищутив глаза. В комнату вошла Мария, поставила на стол чашечки с кофе.

— Сядь с нами, пожалуйста, — сказал Магро. — Алваро теперь все знает.

Девушка испуганно взглянула на студента, но тот улыбнулся, кивнул головой, мол, все хорошо. Марии стало легче на душе, ее глаза засветились радостью. Магро продолжал:

— Поверь, Алваро, быть коммунистом не только почетно, но и опасно. Наша партия находится в подполье, ее членов преследуют, убивают. Вот последний пример. Две недели назад в Сан-Паулу была разгромлена наша организация. Ее выдал провокатор. Как правило, власти убивают наших товарищей без суда и следствия. Чудом спаслась Мария. Ты ее приютил и тем самым спас жизнь коммунистке, за которой охотятся агенты.

— Почему вас, коммунистов, так ненавидят власти? — спросил Алваро.

— Да потому, что мы отвергаем капиталистический строй, который приносит только несчастья простым людям. Тебе приходилось ездить по стране?

— Нет.

— А мне приходилось. Я видел своими глазами, как умирают от голода дети и их родители. Да и здесь, в Сан-Паулу, малыши ходят с протянутыми руками. Разве ты не видел?

— Видел.

— А почему так происходит? Задумывался?

— Задумывался. Я потому и стал читать Маркса и Ленина. Но, откровенно говоря, многое не понял. Мне до сих пор казалось, что достаточно заменить плохое правительство хорошим, и все проблемы будут решены. Но Маркс и Ленин рассуждают по-другому. Если я правильно понял, они выступают за замену общества, где у власти находятся богатые, обществом, где главным хозяином будет народ.

— Верно, — похвалил Магро.

— Но я не представляю себе, как этого можно добиться. И смогут ли необразованные, забытые нуждой рабочие и крестьяне управлять такой большой страной, как Бразилия?

— На этот вопрос уже найден ответ в 1917 году. В Советском Союзе. Там с 1917 года, когда совершилась революция, страной управляют рабочие и крестьяне, которые раньше были забыты, необразованны. И что же ты думаешь? Они построили за короткий срок могучую державу, с которой считаются во всем мире.

— Хорошо бы увидеть все своими глазами, — задумчиво произнес Алваро. Потом неожиданно спросил: — Скажи, Магро, как ты стал коммунистом? У тебя родители наверняка коммунисты?

— Вот и ошибаешься. У меня родители — бедные люди, далекие от политики. Познакомился я с основами марксизма-ленинизма в Батуритэ — небольшом городке в штате Сеара, где учился в техническом училище.

В этом городке я встретился с одним коммунистом. Он мне открыл глаза на многое, ответил на вопросы, которые меня мучили. Я тогда, как и ты, во многом не разбирался, хотя всей душой был на стороне бедных, осуждал богатых, возмущался существующими порядками, но дальше этого не шел. Я, как и мои товарищи по училищу, ходил, если можно так выразиться, в идеологических потемках. И вот, повторяю, этот коммунист помог мне разобраться в сложных социальных проблемах. У него была богатая библиотека, там были книги Маркса, Ленина. Некоторые из этих книг я прочитал, они мне помогли найти ответы на многие вопросы.

— Магро, — напомнила Мария, — уже второй час.

— Тебе надо уходить? — разочарованно спросил Алваро.

— К сожалению, да. Дела требуют. Алваро, теперь со всеми вопросами обращайся к Марии. Она у нас начитанная, разбирается глубоко во всех проблемах. И вот еще что, — Магро переглянулся с Марией, — не хотел бы ты помочь коммунистам?

— Помочь? — удивился Алваро. — Но каким образом?

— Скажем, распространять наши листовки среди студентов.

Алваро задумался. В комнате наступила тишина. И в это время резко зазвучал звонок у двери. Все трое насторожились. Алваро недоуменно проговорил:

— Кто бы это мог быть?

— Ты никого не приглашал? — спросил Магро.

— Никого. Я же знал, что ты придешь. Вот если только Арманду...

— А это кто?

— Студент. Мы с ним учимся на одном курсе. Но он меня всегда предупреждает по телефону о своем приходе.

Алваро подошел к окну, отдернул штору.

— На улице ни души, — тихо произнес он.

Звонок у двери снова зазвонил — резко, настойчиво. Мария на цыпочках подкралась к двери, заглянула в глазок.

— Так это же Анна! — радостно воскликнула она и быстро открыла дверь.

Да, это была Анна. Лицо у нее было бледное.

— Что с тобой? — бросился к ней Магро.

Девушка, едва переводя дыхание, попросила:

— Дайте воды.

Утолив жажду, Анна взглянула на Магро.

— Слава богу, что ты здесь. Я так бежала, — и она рухнула в кресло.

— Объясни все толком, — попросил Магро.

— Примерно в одиннадцать часов, — начала девушка, — около моего дома появился незнакомый тип. Я за ним наблюдала из окна целый час. Этот тип никуда не уходил, а все время смотрел на дом. Тогда я решила его проверить. Вышла на улицу и пошла по направлению к лавке. Тип двинулся вслед за мной. Сомнений не было — шпики. В два часа должен прийти ты, Магро. Я очень испугалась. Ускорила шаг, и шпики ускорили. Но он еще находился от меня на значительном расстоянии. В это время мимо проезжала легковая машина. Я помахала рукой. Шофер открыл дверцу, и я юркнула к нему. Вдруг слышу: сзади раздался свисток. К нам бежал кто-то есть мочи шпики. Я умоляюще взглянула на шофера: «Гони!» Он все понял, и наша машина рванула вперед. Шофер оказался порядочным человеком, он ни о чем не расспрашивал, высадил меня там, где я его попросила. Я решила срочно всех вас предупредить. А вдруг вас узнали на стадионе и за мной тоже следили? И вот я здесь, — закончила девушка.

— Да, дела неважные, — почесал в затылке Магро. Анна задумалась.
— А может быть, и совсем другая причина.
— Какая же?
— У нас не совсем надежные соседи, живущие напротив. Ведь ты вчера торчал около моего дома долго?

— Да.
— Вот они и заприметили тебя. И донесли в полицию. Мол, подозрительный молодой человек ожидал Анну.

— Хорошо, если так. Будь осторожна, Анна. Если станут расспрашивать тебя обо мне, скажи, что не знаешь меня. Мало ли мужчины преследуют хорошеньких девушек. А ночью, когда в двух шагах ничего не видно, разве разглядишь лицо преследователя?

Подошел Алваро, подал Магро руку и сказал:

— Согласен помогать вам.
— Не расскажешь?
— Нет. Только когда я получу листовки.
— На днях.

Было три часа. Автобус с футболистами отправлялся в обратный рейс в четыре. Надо было спешить. Магро попрощался с друзьями.

НА ФЕСТИВАЛЬ В БЕРЛИН

В подпольной типографии царил полумрак. За небольшим столом сидел мулат с тонкими чертами лица. Его длинные, изящные, как у пианиста, пальцы все время находились в движении. Парень что-то вырезал, склеивал из картона и бумаги, скреплял на станке. И получилось удостоверение личности. Потом парень взял чью-то фотографию и приклеил ее на первую страницу книжицы.

— Все, — сказал он с облегчением, откинувшись назад. — Ни один агент не придерется.

В типографии был еще один человек; он находился в тени, наблюдая за каждым движением парня. Это был Магро. Он взял удостоверение в руки, придирчиво осмотрел его и только тогда удовлетворенно произнес:

— Молодец, Маркес. Ювелирная работа.

Маркес широко улыбнулся. Он был великолепным певцом, виртуозным гитаристом, метко забивал мяч в ворота противника. Но подпольщики больше всего ценили в нем другое редкое качество: он умел без сучка и задоринки изготавливать документы. Сейчас он делал удостоверения для членов бразильской делегации — участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине.

— Поторопись, Маркес, — попросил Магро. — Через неделю мы покинем Бразилию.

— Постой, постой, — вспомнил Маркес, — фестиваль, если мне не изменяет память, начинается где-то в конце июля.

— Точно.

— А сегодня середина июня...

— Все из-за конспирации, — пояснил Магро. — Надо покинуть страну незаметно.

Подготовка к фестивалю заняла у Магро массу времени. Одних только организационных вопросов было бесконечное множество. Не так легко создать делегацию. Партийные ячейки всех штатов представили по несколько кандидатов на поездку в Берлин. А в делегацию от силы можно включить десять человек. Никого не хотелось обижать. Каждый молодой подпольщик достоин был представлять страну на Международном фестивале. Но всех же не возьмешь! Не без жарких споров отобрали из числа предложенных кандидатов самых достойных. Но это только поддела.

Десять человек не могли сразу покинуть пределы Бразилии. Это вызвало бы подозрение у властей, которые, зная о предстоящем фестивале, усилили охрану на границе, слежку за подпольщиками. Тогда Магро и его помощники разработали план тайного выезда членов делегации из страны...

На конспиративной квартире собрались все, кто ехал на фестиваль.

— Значит, через две недели, — торжественно сказал Магро, — фестиваль в Берлине. И уточнил: — Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы с вами счастливы. Партия нам доверила представлять там передовую молодежь Бразилии, и мы должны оправдать это доверие.

Делегат из штата Куритиба возбужденно заявил:

— Члены нашей ячейки надавали мне множество поручений. Говорили: все смотри, запоминай, записывай. Скажи в Берлине, что бразильская молодежь не ударит лицом в грязь, не ослабит борьбу против фашизма, империализма и реакции...

— Дорогие друзья, — продолжал Магро, — через два дня уезжает первая наша группа. Прошу всех соблюдать правила конспирации, не поддаваться на провокации...

...По дороге вдоль границы с Парагваем плавно катила легковая машина. В ней сидели трое парней. Двое из них, кроме шофера, были в черных элегантных костюмах при галстуках.

Полчаса назад прошел сильный ливень, а теперь ярко светило солнце. Пальмы, каштаны вдоль дороги, щедро омытые дождем, выглядели нарядно, празднично.

— Остановись, — дотронулся до плеча шофера высокий стройный парень с шикарнейшей черной бородой.

Протяжно взвизгнули тормоза. Потягиваясь, из машины вышли трое парней. Тот, высокий, загляделся на пальму, по которой с пронзительным криком прыгали зеленые попугайчики. Прямо над головой пролетела сова — небольшая птица, напоминающая дику утку. После ливня дышалось легко, свободно.

— Здорово-то как, — задумчиво произнес парень с бородой. — Вот так бы стоять и стоять, слушая вечную песню природы.

— А ты, Магро, поэт, — сказал другой парень, коренастый, широкоплечий.

Тот, кого называли Магро, недовольно покачал головой.

— Ты что, забыл, что меня зовут Альфонсо?

— Прости, прости, — виновато произнес широкоплечий парень. — Я никак не могу привыкнуть к твоему новому имени, как, впрочем, и к своему. Услышу на улице имя Жорже, и кажется, что это зовут меня. Прямо напасть какая-то.

— Так как же все-таки мое имя?

— Альфонсо.

— То-то. А кто мой отец?

— Богатый помещик.

— А сынок его?

— Прожигатель жизни.

Альфонсо улыбнулся.

— Будь внимательным, Мануэль. А то так недолго и провалиться. Скоро нам предстоит встреча с парагвайскими пограничниками. Все может случиться. Поэтому нам надо разыграть спектакль на самом высоком уровне.

— Мне легче, — вступил в разговор шофер. — Я как был Бартоломео — так им и остался. Вы уезжаете, а я нет, — печально закончил он.

Альфонсо потрепал его по плечу.

— Я прекрасно понимаю тебя. Но не горюй, старина. В следующий раз поедем. Сейчас ты остаешься за главного. У тебя будет много дел. Надеюсь, не

подведешь. (Бартоломео — опытный подпольщик. Используя свое такси, он распространял по всем районам Рио-де-Жанейро листовки, газету коммунистов «Рабочий голос», призывавшую к свержению диктатуры. Развозить листовки и газеты приходилось в течение дня. И не просто развозить. Эта пропагандистская работа требует огромной силы воли, выдержки, терпения, уж не говоря о смелости. Малейший просчет — и провал. Учитывая все это, Магро не давал Бартоломео других поручений. А сейчас, когда товарищи уезжали на фестиваль, Бартоломео оставался на своем посту.)

— Все будет так, как надо, — твердо сказал Бартоломео. — Только поймите и меня.

Парни сели в машину. Когда тронулись с места, Альфонсо озабоченно сказал:

— Удалось ли нашим друзьям благополучно переправиться в Боливию? Пока не встретимся в Берлине, сердце не успокоится.

Вдали показался пост парагвайских пограничников. — Мы у цели, — сказал Альфонсо. — Начнем спектакль.

Мануэль достал гитару, и все трое запели. Два парагвайских пограничника недоуменно уставились на приближающуюся к ним машину.

— Привет, сеньоры, — первым выскочил из машины Альфонсо. — С хорошей погодой.

— Что тебе здесь надо? — хмуро буркнул один из «сеньоров». У него было давно не бритое, заросшее щетиной лицо, маленькие глазки смотрели зло, настороженно.

— Зачем же так неприветливо, — покачал головой Альфонсо. — Мы же ваши друзья.

— Чьи друзья? — нахмурил брови «сеньор».

— Вашего президента генерала Стресснера.

— Вот что, парень, — «сеньор» вынул из кобуры пистолет. Его примеру последовал второй пограничник — совсем еще юнец, но с нахальным выражением лица. — Ты мне зубы не заговаривай. Мотай отсюда подобру-поздорову. А не то всажу пулю прямо в лоб.

Альфонсо, пропустив мимо ушей угрозы, миролюбиво произнес:

— Я сын богатого помещика. У меня денег — во!

И для наглядности он раскрыл кошелек с деньгами. У пограничников загорелись глаза. А Альфонсо как ни в чем не бывало продолжал:

— Ходят слухи, что у вас есть великолепное казино. Вот хотел со своим другом покутить.

В этот момент Мануэль достал из изящного черного чемодана две бутылки виски.

— Для начала выпьем за знакомство, — предложил Альфонсо и стал откупоривать бутылку.

— Погоди, — уже миролюбивым тоном проговорил «сеньор», — паспорта-то у тебя и твоего друга имеются?

— За кого вы меня принимаете? — обиделся Альфонсо. И сунул ему под нос книжицу. Тот внимательно просмотрел паспорт, потом спросил:

— Значит, Альфонсо Фернандес?

— Да.

— Сын помещика?

Альфонсо ничего не ответил, только кивнул головой.

— Так у вас в Бразилии своих казино навалом.

— Это точно, — подтвердил Альфонсо. — Только мне там не разгуляться. Отцу доведут. А он у меня строгий.

Пока велся этот разговор, Мануэль принес из машины два сувенира — тарелки, поверхность которых была выложена крыльями самых красивых на земле бразильских бабочек.

— Это вам, — сказал он пограничникам.

«Сеньоры» так были растроганы этим подарком, что забыли спросить у Мануэля паспорт.

— Так выпьем за нашу дружбу, — сказал Альфонсо, наполняя стаканы виски.

— Выпьем, выпьем, — заспешил первый «сеньор» и опрокинул стакан. Увидев, что его напарник в нерешительности мнется на месте, крикнул: — Чего ждешь? Пей. Это наши друзья.

После второго и третьего тоста у «сеньора» развязался язык.

— Не верите, — бил он себя в грудь, — дьявольская у нас работа. Ни дня, ни ночи нет покоя. Контрабандисты и всякая другая шваль так и лезут, так и лезут через границу.

Альфонсо сочувственно поддакивал, а сам про себя думал: «Как же ты мне надоел». Он поздравил Бартоломео и тихо сказал: — Кажется, все в порядке. Можешь возвращаться.

«Сеньор» еле держался на ногах. Он по очереди бил кулаком в грудь Альфонсо и Мануэля и спрашивал:

— Ты мне друг?

— Друг, друг, — отвечали с тоской Альфонсо и Мануэль, думая только о том, как бы поскорее избавиться от такого «друга».

Улучив момент, Альфонсо спросил, поглядывая на часы:

— Скажи, сколько времени добираться до казино.

— Сеньоры, сначала вы пойдете направо, потом налево. Там будет остановка автобуса. Он вас и доведет прямо до казино.

— Спасибо, спасибо, — пожал ему руку Альфонсо. — Нам надо спешить, а то скоро ночь.

— Да, да, — согласился пограничник. — Скоро ночь. Ох и выплещу я сегодня! А вам, сеньоры, желаю весело провести время.

Пограничники еще что-то говорили, но Альфонсо и Мануэль быстрым шагом пошли к автобусной остановке. В этот же день они добрались до Асунсьона — столицы Парагвая, а через день вылетели в Европу.

Делегация молодых бразильских коммунистов благополучно добралась до Берлина. Де Лима вместе со всеми участвовал в работе фестиваля, старался все увидеть, узнать, записать. У него появилось много друзей из других стран мира.

По окончании фестиваля де Лима приехал в Москву. Он ходил по улицам, вглядывался в лица людей, радовался, что они живут счастливо. Вот в те дни я встретился с ним, беседовал. О себе Жозе старался не говорить. Он увлеченно говорил о делах и планах молодых бразильских коммунистов. Я, конечно, тогда не знал, что это будет моя первая и последняя встреча с замечательным бразильским революционером. О самом Жозе, его революционной деятельности мне позднее рассказали его друзья.

То, что я успел узнать, и помогло мне написать о нем...

Вернувшись на родину, Жозе снова включился в подпольную работу, хотя охотиться за ним стали еще настойчивее. Тогда, в сентябре 1975 года, де Лима, прощаясь с хозяйкой конспиративной квартиры, сказал: «Боец партии, когда его родина стонет от диктатуры, не должен сидеть сложа руки. Его место там, где идет классовая борьба». И он ушел, обещая вернуться через три дня... Но не вернулся... При власти военно-полицейской диктатуры в разные годы бесследно исчезли и многие другие видные деятели Бразильской компартии. Жозе погиб, как погибают герои, его имя стало бессмертным.

ЮРИЙ
ЩЕГЛОВ

ЦВЕТ ДНЯ



Простите за пространную цитату. Но в ней поразительно точно сказано о счастье и непостижимости того, что есть творчество. Художник талантливый, немало добившийся, испытывает разочарование. Отчего? Оттого, что сделал мало? Нет. Оттого, что сделал не все, что мог, что умел, что должен был... Но в самой этой неудовлетворенности — истинный порыв к творчеству, к гармонии, к правде.

Как трудно она дается настоящему художнику, настоящему писателю! Но она одаряет радостью и читателя и в конечном итоге его самого.

«Почему же так безнадежно? Ведь получалось. Хвалили, а иногда и нравилось самому, и даже призы, премии и даже «лучшая книга года». Да, но не в этом дело, не хочется никакой книги... Другого, другого, того, к чему тянулся с первых лет, когда начал заниматься этим вообще, распахнутого, просторного, не черно-белого и не цветного, а такого, как день за окном, как вот этот вечерующий уходящий день... Какой он? Легче всего написать его сиреневым, как это делалось тысячекратно, но у него другой тон, другой цвет. Какие соединения нужны, чтобы его воссоздать, чтобы он был настолько не похож на этот реальный цвет за окном, настолько не похож, чтобы все признали: да, только так и бывает, только мы увидели так впервые, но этого еще мало. Мало цвета дня. Есть гораздо более важные вещи или такие же важные: то, что ты пережил, потерял, узнал. Те лица, которые еще недавно смотрели на тебя и которых уже нет, то время, которое видоизменяло эти лица, делая несчастных счастливыми, а чаще счастливых несчастными, старых молодыми, чаще — молодых старыми, время, в котором столько раз ты орал, кричал, хрипел: «Остановись... Да, да, ты, то самое мгновение, или как там тебя, именно ты, восемнадцать часов пятнадцать минут до восемнадцати тридцати, остановись, ты прекрасно...» Нет, оно несло... летело, махнув тебе рукой, а иногда и не заметив тебя, послав тебя к чертовой матери, летело дальше, наполняя тебя отчаянием, что все твои надежды, иллюзии, сборы к жизни, долгие приготовления, все — ничего. Какой-то холостой выстрел, лопнувший на морозе, не родивший даже дымка».

Всем ходом своего последнего романа «Борька Никитин (Ремесло)» писатель опровергает этот образ холостого выстрела, говорит о важности, неповторимости, значительности каждого мгновения жизни, если это жизнь мыслящего, борющегося и страдающего человека.

Время быстротечно и длительно. Больше четверти века назад на далеком украинском разъезде я открыл журнал «Юность» с рассказом Владимира Амлинского «Станция первой любви». Почему запомнился он навсегда? Ведь в номерах сравнительно недавно созданного журнала, который возглавил Валентин Катаев, печатались рассказы и повести

На снимке: В. Амлинский.

Фото А. Карзанова

часто интересные, иногда проходные, в которых говорилось о молодости, любви, трудовых буднях, о времени, в котором живут их авторы. Но этот рассказ остановил мое внимание. В нем была какая-то тайна и прелесть интонации, и еще подумалось: ведь это я пережил сам, и вот незнакомый мне молодой человек рассказывает мою собственную жизнь, мое первое чувство, горе и сладкую радость первого жизненного столкновения, быть может, поражения. В «Станции первой любви» привлекала и удивляла естественность и глубина самовыражения, исповедальность в лучшем смысле слова.

Исповедь всегда была в традициях русской прозы. Другое дело — псевдоисповедь, монолог мелкой, незначительной души, «псевдоисповедальная проза». Но лирический герой обнажал себя как честный, мятущийся, ищущий ответа на такие простые и вместе с тем для каждого нового поколения трудные вопросы: как жить? Во имя чего?

Я понял, что в литературу пришел не начинающий автор, а писатель.

Через два года я прочитал рассказ Владимира Амлинского «Двое в квартире». Его предваряло предисловие тогда уже широко известного писателя военного поколения Юрия Бондарева. Помню, что я боялся читать, избегая возможного разочарования от новой встречи с запомнившимся мне автором. Разочарования не было, но рассказ оказался совершенно другим. Трагичнее, жестче.

Мальчик и старик в коммунальной квартире. Две живые судьбы, два одиночества. Старик, бывший политкаторжанин, прошел суровое испытание временем. Разделенные, отчужденные, полные недоверия, они внезапно потянулись друг к другу. Оба они освободились от бремени своих одиночеств, ощутили свет в сумрачной квартире, свет жизни, свет дня.

Юрий Бондарев емко определил главное в ранних произведениях писателя, остроту видения, своеобразие интонации, «особую прозрачность лирического «я» рассказчика».

В начале 60-х годов Амлинский раздвигает тематику произведений. Его герои едут на целину, в Сибирь, в Среднюю Азию. Они становятся экскаваторщиками, работают в стройотрядах и геологических партиях. Лирика и героика переплетаются теснее, изменяется ландшафт, возникает потребность глубже и всестороннее осмыслить происходящее, раскрыть природу человеческих поступков. Таковы «Мы еще вернемся за подснежниками», «Над рекой Кизир», «Музыка на вокзале», «Полтора часа дороги»...

Не скрою, я часто возвращался к исповедальной прозе вообще и в частности к прозе Амлинского, когда писал свою первую вещь, опубликованную впоследствии в «Новом мире» Александром Трифоновичем Твардовским. Она была о военном детстве. За несколько лет до ее появления была напечатана повесть «Тучи над городом встали». Одна из самых первых, быть может, первая в ряду произведений о военном тыловом детстве. В тот период многие оглядывались назад, пытались осмыслить свой путь, свои переживания, задумывались: что же происходило с ними, с жизнью, с людьми? Писатель сформулировал в ней социальный и нравственный опыт поколения тех, чьи детские годы пришлось на войну.

«Как это было! Как совпало — война, беда, мечта и юность!»

Здесь же совпали не война и юность, а война и детство. Что может быть несовместимее?

Трагическую несовместимость детства и войны правдиво и тонко ощутил Амлинский. Среди других страниц в повести запомнился приход главного героя

к девушке, к Вале, у которой жених ушел на фронт. Полубезумная старуха соседка, слыша каждый юношеский голос, узнает в нем голос погибшего сына... «Стенушка, это ты?». Мальчишка испытывает к Вале и нежность, и еще что-то, ранее неизвестное, взрослое, пугающее. Помню, как некоторые педагоги ворчали тогда: разве можно такое?.. Но молодой писатель не боялся говорить о том, что есть в жизни и о чем тогда не принято было упоминать. Художественным чутьем он ощутил, что самое антипедагогическое — разрыв между правдой жизни и правдой литературы.

На самом же деле Владимир Амлинский в сценах трудных, которые другой мог бы написать двусмысленно, обнаружил при бесстрашном подходе к «запретным» темам настоящее, не ханжеское целомудрие.

В повести «Тучи над городом встали» два главных героя — отец и сын. Отец — ученый, человек безупречной нравственной позиции, русский интеллигент. В его довоенной жизни были серьезные испытания. Выпукло выписаны взаимоотношения отца и сына, их приятие и неприятие, понимание и непонимание, любовь и дружба, но без всякой подслащенности, без чувствительности, сантиментов. Интересный острый диалог двух мужчин. Вообще тема взаимоотношений отца и сына близка писателю и лично им страдана. Она прозвучит позднее в романе «Нескучный сад».

Первую повесть Владимира Амлинского высоко оценил Юрий Трифонов в своей статье «Детство, школа, война». Юрий Валентинович, как известно, был сторонником органичности, естественности в прозе. Думаю, что поэтому он воспринял как близкую своему видению и сложную простоту, отсутствие даже намека на литературность у Амлинского.

Сейчас, когда мы так подробно говорим о военной литературе, нельзя забывать о художественном опыте писателей, чье раннее детство, а значит, и вся дальнейшая судьба неразрывно связаны с войной.

Но вот другая работа, другой материал. «Жизнь Эрнста Шаталова», с послесловием Бориса Полевого. О ней много писалось, ее перевели на десятки языков. Сотни школьных сочинений посвящены этой вещи. Судьба реального человека воссоздана с документальной точностью. Подвиг Эрнста Шаталова — тяжелый подвиг ежедневного преодоления мрака и болезни, неподвижности не только физической, но и духовной. Шаталов — крупная, своеобразная личность. Одно время мне казалось, что в образе героя повести Амлинский использовал отдельные черты характера моего старшего товарища по Московскому университету безвременно — в тридцатилетнем возрасте — умершего критика Марка Александровича Щеглова. К сожалению, заслуженная слава и признание к нему пришли значительно позже, но молодые люди, знавшие Марка Александровича, всегда преклонялись перед его огромным человеческим мужеством и видели в нем выразителя мыслей и настроений своего поколения, хотя он по возрасту принадлежал скорее к поколению Юрия Трифонова.

Было в литературном образе Эрнста Шаталова что-то свойственное не единицам и не сотням, а тысячам — всем нам, независимо от профессии, образования и конкретной жизненной ситуации. Автор, впрочем, не замыкается только на судьбе Шаталова. Писатель предстает как глубокий художник, серьезный исследователь самой жизни, с ее страданиями, добром и светом. Личность и судьба Шаталова дают возможность Владимиру Амлинскому затронуть явления, вроде бы не имеющие прямого отношения к сюжету. Меня, например, поразила вставная новелла о подростке, убивавшем людей из-за шапок, а точнее

даже не из-за шапок, а из странной потребности в зле и насилии.

Мужество писателя состояло в том, что он сумел поднять проблемы, о которых тогда говорилось вскользь, уловил у части нашей молодежи некоторую жестокость, воинствующую бездуховность, которая может привести к преступлению. Сегодня общественный, педагогический, государственный интерес к теме неблагополучных детских, подростковых судеб велик. И следует сказать спасибо писателю, который одним из первых обратился к этим явлениям, вывел серьезные, больные вопросы, заговорил о них в полный голос, отрываясь от других тем, более радостных, ездил в колонии, писал о людях, еще не потерянных для общества, писал страстно.

В Амлинском органично соединились два начала — обостренность социального видения и редкий лирический дар, ощущение остроты первых чувств и первой любви, да и не только первой любви — в романе «Борька Никитин (Ремесло)» она последняя.

Есть одна мелодия, которая пронизывает почти все работы Владимира Амлинского. Это тема Москвы. С наибольшей силой она прозвучала в «Нескучном саде».

Мне очень близка эта ароматная, густая проза с ее редкостным городским колоритом, с поэтикой города. Я читал «Нескучный сад» и словно возвращался в свои студенческие годы, узнавая все — старый филфак на Моховой, Стромынку, Чистые пруды, Александровский сад, названия улиц, иногда уже позабытых, переименованных. Владимир Амлинский воскрешает пленительный дух старой для сегодняшних юношей Москвы. В романе слились две полноводные струи его творчества. Образы людей, наших современников, неповторимость времени с документальной точностью и художническим простором запечатлены на страницах романа, пронизанного теплом и светом.

Плотность его прозы особенно ощутима на сравнительно небольшом пространстве произведения, объединяющего прошлое и будущее, отцов и детей. В книге нет проходных кусков, скороговорок. Завораживающая интонация, поэтический ритм, поток сознания (не деланный, не литературный, а живой) отличают «Нескучный сад», заметное явление нашей литературы. Локальный материал, ситуации на первый взгляд заурядные, обыденные. Сколько писалось о школьной жизни, о быте пионерлагерей, но Владимир Амлинский нашел свой поворот. Каждодневное поведение ребят рассматривается им как определенная социальная модель человеческого поведения, и над ней надо задуматься: «Прежде всего в лагере ты должен был быть или, по крайней мере, казаться сильным. Если ты не был сильным, ты терял самостоятельность и суверенитет. Ты становился определенной частью группы, может быть, даже чуждой тебе, которая прикрывала тебя в нужный момент... Трудно определить, кто именно были первыми и почему они таковыми становились. Первыми, главными были те, кто обладал авторитетом... Здесь, в лагере, у каждого было свое место и своя роль. И как бы ты ни притворялся, кого бы из себя ни строил, тебя раскусывали тут же, немедленно ставили на положенное тебе место».

Понимая, что духовная суть личности определяется и закладывается в начале жизни, писатель заставляет нас увидеть эту суть не такой, какой нам ее иногда преподаносят и рисуют, не такой, как нам хотелось бы, а такой, как есть.

Но я уже отметил — социальное тесно сплетено у Владимира Амлинского с лирическим. В многоплановом романе три поколения, три Москвы. Москва десятилетия: двадцатые годы, трамваи, суетливые автомобили, лозунги и шествия под знакомые и волнующие марши,

бедность, надежды, беды, энтузиазм. Вторая Москва — пятидесятых, послевоенная, суровая, в весеннем цветении скудной зелени. И, наконец, нас охватывает, окружает со всех сторон сегодняшняя, завтрашняя, устремленная вперед Москва, еще неведомая, с ее новостройками и просторными нескончаемыми проспектами, залитая оранжевыми огнями, с осенним ломким запахом Нескучного сада...

В прозе Владимира Амлинского, изысканной и современной, нет круто завязанных сюжетов, но всегда ощущаешь сложную драматургию построения. Я называл прозу Амлинского изысканной не случайно. Изысканность здесь — качество мастерства, высокий вкус, мускулистость изобретательного, интеллектуально насыщенного диалога. Интеллектуальность писателя не наносная, а корневая, уходящая в многозначную, зачастую парадоксальную и затейливую народную речь. Драматургия построения в романе неразрывно связана с психологией. Вспомните эпизод прихода Ивана Лаврухина домой в романе «Возвращение брата». Второй день вольной жизни. Он в родном городе, вокруг все знакомо. Солнечно, свежо, зябко. Прикосновение к лицу влажных хлопьев снега. Недокрашенная скамейка, на которой он, бывало, просиживал часами: «И снизу вверх он увидел мокро блестящие голые ветки с выскочившими невесть откуда почками, белое, без облаков небо, и в это мгновение, стоя головой вниз, он вдруг впервые за это время — с того самого момента, как заполнил бегунок, сдал ватник и сапоги и получил свою дезинфицированную полузабытую одежку, с того самого момента, как вышел за зону и стал голосовать, ловя попутную до города, — в первые он физически ощутил, что свободен, свободен, освободился...»

Человек не может освободиться от прошлого, да и не должен. И Иван Лаврухин не освободился от всего. Судьба подарила ему еще несколько дней, коротких и нескончаемо долгих. Обделенный любовью, не раз обманутый и не раз обманывающийся — он полюбил. Девушка, может быть, незначительная. Писатель рисует ее приземленной. Заурядная хорошенькая продавщица. Для Ивана она — воплощение женственности. Внутренняя пружина раскручивается с поступательной энергией и ведет к трагическому финалу.

Но кроме главного героя, есть еще один образ, о котором мало писала критика. Образ мальчика, чистого и цельного, бескомпромиссного, верящего и готового защищать свою веру в брата, в человека. Для него Иван не бывший преступник, а мужественный и верный взрослый друг. И Иван понимает мальчика, и лучшее, что было в Иване, исковерканное и подавленное обстоятельствами, поднимается и вырастает в нем. Уже до близкого своего конца он становится таким, каким представлял себе его младший брат.

«Возвращение брата» — сильная и смелая книга. Никаких перевоспитательных речей, никаких нравучений. Владимиру Амлинскому они вообще не присущи. И роман — трагедия не потому, что он трагически кончается, а по высокой художественной сути. Владимир Амлинский не обойден ни вниманием читателей, ни критическими статьями, но интереснее писали о нем — и это знаменательно — старшие братья по перу: Валентин Катаев, Юрий Нагибин, Юрий Бондарев, Николай Атаров, Юрий Трифонов.

Может показаться, что творчество писателя, впитывающего с каждым годом все новые и новые приметы и черты нашей жизни, развивалось счастливо, без противоречий, и все ему легко удавалось. Но это не так. Он искал и ищет, отказывается от чего-то найденного, возвращается к своим прежним темам и движется вперед. И сейчас я вижу его в реальном движении, в поиске.

Случалось, что критика противопоставляла его ранние вещи новым работам, невольно требовала от него самоповторения. Так не бывает. Художник, пропускающий Время сквозь собственную судьбу, становится зорче. Он задумывается о многих несовершенствах жизни во имя их преодоления.

Личная ответственность художника — не пустые слова. Писатель остро чувствует ее в своей прозе.

Борька Никитин — герой «Ремесла» — действительно существовал в жизни. Конечно, это не означает, что он был таким, каким описан. Но, читая роман, ощущаешь художественную подлинность образа. Борька Никитин живет, создает себя, обретает мастерство в бурные шестидесятые годы, когда что-то из прошлого и настоящего переоценивалось, когда художник искал свой материал и свой суровый стиль.

Он ищет свой стиль наперекор всему. Он полон сил, надежд, даже удализма, верит в себя, и вместе с тем у него обнаженная, художнически ранимая душа. Он никогда не идет на компромиссы, не попадает в плен моды. Органически связанный с народной традицией, он понимает искусство не как застывшие формы: «Тяжелее гнать из себя, из своих недр, из своего жизненного опыта. А езда в незнаемое тоже не всегда плодотворна. Не превращается ли она постепенно ездой в заемное? Да и бессрочная командировка — с бесконечной сменой мест, с мельтешением приездов и отъездов — вдруг становится поперек подлинной, выстраданной жизни, и ты чувствуешь какую-то новую необходимость, а может быть, и старую, командировки в самого себя, в свое, в свой выстраданный судьбой материал, понимаешь, что зрелые краски добываются оттуда. Из такого и вырастает картина».

Но было бы неверно сводить тему романа к судьбе художника, к проблемам творчества. Это важно, но не главное. Главное же не так просто определить. Я затрудняюсь сказать, о чем роман «Ремесло». О многом. Об очень важных вещах. О любви, ревности, о соперничестве двух талантливых людей. О дружбе-вражде. О бесконечной боли, когда теряешь родного, близкого, единственного человека. О жизни, которой мы живем ежечасно и которая имеет предел. Произведение и грустное, и полное юмора. И городская проза, и вовсе не городская.

Образ рассказчика в книге я считаю открытием писателя. Нередко интеллигентов, да еще сомневающихся в себе, называют «рефлектирующими», с оттенком пренебрежения. Но ведь замечательные герои русской классики тоже сомневались, колебались, преодолевали противоречия, то есть рефлектировали. Принципиальная удача Владимира Амлинского в том, что он вывел героя мятущегося, но его сомнения, страдания и противоречия вызваны потребностью никогда не лгать ни себе, ни другим, не выстеливать для себя мягкую и удобную дорожку. Да, он совершает ошибки, бывает слабым, но он живой, подлинный, преодолевающий свои слабости, способный к любви, дружбе, самоотдаче.

И постоянные темы Владимира Амлинского — нравственное обновление, весна жизни, вечная любовь, молодость, счастье, горечь единственного мгновения.

Проза тяжело дается. Владимир Амлинский создал свой мир и населил его своими героями, интересными, сложными, запоминающимися. Этот мир его собственный, и интонацию его не спутаешь. Но странное дело! В писателе, серьезном мастере, я вижу молодого человека, седеющего юношу. Сегодня ему пятьдесят. Недаром он так любит слова турецкого поэта Назыма Хикмета, с которым столкнула его судьба: молодость не только возраст, молодость — способность ярко, словно в первый раз видеть мир.



Когда читатель «Юности» возьмет в руки этот номер, на родине Кайсына Шуваевича Кулиева, в горном Чегеме, будет стоять та самая пора, когда подводятся итоги и земля стoriцей воздает тем, кто трудился на ней. Есть замечательное свойство народного признания и глубочайшего уважения к делу и к судьбе поэта, когда его, увенчанного званиями самого высокого достоинства, почтено представленного в энциклопедиях и антологиях, называют просто по имени. Говорили: «Кайсын приехал», «Кайсын сказал», «Кайсын позаботился». Нива, которую упорно и терпеливо возделывал Кайсын, утверждая человеколюбие и благородство, будет плодоносить долго и щедро.

Осмыслить жизнь художника возможно, только рассматривая бесстрашное соперничество его творчества с косностью и злом — со всем, что мешает свободному движению времени. Кайсын Кулиев был ровесником Великой Октябрьской социалистической революции. И это глубоко символично. Идеи Октября и ленинизма являлись определяющим мерилем его поступков. Он плоть от плоти своего народа, разделял его судьбу и в грозный и в счастливый час. Он был строителем новой жизни и защитником ее — солдатом. Вот чем питался историзм его поэтических строк. Он сумел найти слово, в котором, как высокое небо в чистом колоде, отразилась душа человека.

У него была особая манера высоко держать голову. Это стало как-то заметнее в годы страшной его болезни. И многие, зная о природной скромности, о чрезвычайной застенчивости Кайсына, справедливо видели в этой его осанке, может быть, не осознанный, но гордый, даже надменный вызов жестокой неизбежности.

Мы лишились друга, единомышленника, неповторимого в своем простодушии и в мудрости человека с чутким и верным сердцем. Он был из тех, кто понимал: обязанность поэта — сообщать миру то, что движет жизнь. Потому он защищал правду и не устал рисковать — сплавлял в своем опыте прошлое с нынешним во имя будущего. В качестве члена редакционной коллегии нашего журнала помог осуществлению многих литературных дебютов. Сын народа, когда-то не знавшего письменности, он стал одним из образованных людей нашего времени. Никогда не переставал прилежно учиться у живых людей, у живописных полотен, у литературы. Любил и глубоко чувствовал фольклор. И цветастая разговорная лексика не опровергается в его книгах суровым аскетизмом поздних стихов.

В Кабардино-Балкарии почти отовсюду, говорят, хорошо видна покрытая вечными снегами вершина Эльбруса. Жизнь Кайсына Кулиева, ее нравственная высота хорошо видны ценителям поэтического слова в нашей стране.

Больно и горестно употреблять глаголы прошедшего времени, когда речь идет о близком человеке. Но с нами пребудут благодарная память и стихи поэта.

«ЮНОСТЬ»

АНАТОЛИЙ БОЧАРОВ

ВЕТЕР ПАМЯТИ И ДОЛГА



И для кого из нас, ветеранов, война не прошла бесследно, оставив рубцы от ранений, рубцы от душевных перегрузок.

Но есть люди, которым война преудказала судьбу — тем, кто остался в армии, выбрав удел профессионального военного, и тем, в чьем художественном сердце и по сей день перекипает и претворяется в книгах, картинах, симфониях, кинофильмах все то горькое и святое, что довелось пережить и чего нельзя забывать.

К таким писателям фронтового поколения принадлежит и Григорий Глазов.

Опаленная войной юность стала его творческой судьбой, сильно, страстно и неотрывно отзываясь в его стихах и прозе.

16 лет прошло после войны, прежде чем он издал свой первый поэтический сборник «Мы мирные люди». А в 1965 году в «Юности» был опубликован его первый рассказ «В мое дежурство» — о том ликующем миге, когда молоденький радист, «точечка-тирешечка», майской ночью неожиданно поймал по армейской радиции известие о нашей победе. Победе!

И заголовок и интонация рассказа были еще откровенно лиричны. Как и в стихах, автор еще опирался на непосредственно пережитое.

Да и почти во всех своих первых рассказах он стремился уловить, воссоздать настроение тех стремительно отдалявшихся лет. Уже тогда в его рассказах пробивалось очистительное чувство человека, оставшегося жить и оттого ответственного перед павшими за все, что происходит сейчас. Позднее критики найдут формулу: нравственный максимализм как характерная черта писателей фронтового поколения. Но поначалу в те годы у Глазова была еще своеобразная лирическая нота обостренной личной ответственности.

В удивительном сплетении нежности, музыки, пьянящей радости и тихой вины возникало лирическое чувство рассказа «Возвращения» — о возвращении солдата в родной город, где его, оказывается, верно ждала Лидуся, а он не писал ей все военные годы! Шемящая горечь сопровождала и рассказ «А ехать-то чуть меньше суток» о встрече спустя четверть века со своими предвоенными одноклассниками. Оба рассказа были проникнуты обостренным осуждением нечуткости, душевной глухоты, и искренность осознаваемой героями рассказов вины придавала повествованию особую пронзительность.

Но постепенно все заметнее нарастал интерес к драматическим ситуациям фронтовых лет, пробуждающим уже не столько настроение, сколько напряженное раздумье.

В рассказе «Двадцать четвертый» женщина-снайпер Варя, переполненная любовью и предстоящим материнством, видит из укрытия, как на немецком берегу купаются двое — он и она, а рядом лежит их

военная форма. Голые купающиеся возлюбленные — люди как люди, довольные и безмятежные в своем редком на войне уединении. И у Вари, которую зародившаяся в ней новая жизнь непроизвольно заставила иначе ценить жизнь вообще, недостает силы выстрелить в это тело, «не прикрытое ничем, не защищенное даже одеждой». Лишь когда они оделись и «просто парень» стал вражеским офицером, смогла потянуть Варя спусковой крючок...

А с влечением к драматизму приходила тяга к более объемной прозаической форме. И вот, не бросая писать стихи и по-прежнему работая над рассказами, Григорий Глазов создает несколько динамичных, внутренне сжатых, словно пружина, повестей. В них обнаружилась примечательная особенность его дарования: будучи личностными, доверительными, его произведения в то же время искусно-литературны.

В повести «Годы дальнего следования» нескрываемо «литературная» композиция. Инженер Весловский, доведенный до края личными и служебными неурядицами, приезжает опустошенный и неприкаянный в дом отдыха на то лесное озеро, где был в войну расположен госпиталь. Здесь наплывают, наталкиваются друг на друга сегодняшние встречи и пробудившиеся воспоминания. Встают в его памяти тогдашние госпитальные дни, госпитальные друзья и бой с прорывавшейся из этого лесного края немецкой группой, — бой, в котором рядом сражались врачи и раненые.

И вот все вместе — картины былого и нынешние впечатления — постепенно пробуждают в нем чувство ответственности за ту жизненную ношу, которую ему надлежит принять от боевых побратимов. Превозмогши свою душевную апатию, он уезжает, не пробыв положенный по путевке срок, — так же двадцать с лишним лет назад он до срока выбирался из госпиталя — «с чувством ожидания новизны и перемен, хотя знал, что это возвращение на передовую».

И в повести «Расшифровано временем» снова в финале появится эта исполненная тревоги и душевной твердости мысль — мысль о том, что уходили из жизни бывшие когда-то рядом люди и образовывалась глубокая пустота. Но постепенно она зарастала, как воронка. И тогда рядом появлялись люди, но уже другие, не имевшие понятия о тех, вместо кого они возникли, и делали то, что не успели предшественники. Так вновь и вновь утверждалась в его прозе и стихах вера в преемственность, в неразрывность той цепи, что связывает ушедших и живущих.

И оттого, что совсем не ностальгией и не сентиментальной памятью о боевой юности были побуждены эти повести, на первый план в них выходили острые и глубоко современные раздумья о природе подвига, природе героизма.

В самом деле, какие бы рассудительные объяснения мы ни давали, все равно одним из величайших таинств человеческой души остается пробуждение стойкости и героизма в трудную минуту.

К этому таинству и оказалось приковано внимание Г. Глазова в повестях «Перед дальней дорогой» и «Ночь и вся жизнь».

Герой первой повести — шофер Петр Белов становится лидером, вожаком группы людей, выходящих из неожиданного окружения во время немецкого контрнаступления на Украине летом 1943 года. В этом бывшем шахтере обнаружилась та доброта, надежность, самостоятельность, которая свойственна

рабочему человеку, привыкшему трудиться всерьез, не пытаясь как-то словчить, устроиться в жизни полегче, повыгоднее. А в повести «Ночь и вся жизнь» стойкость и твердость пробуждаются в душе сорокашестилетнего бухгалтера Гурилева, приехавшего в командировку в прифронтовую зону и оказавшегося зимой сорок четвертого года в деревне, через которую прорывалась из окружения группа немцев.

Легко заметить, что ситуации обеих повестей словно переключаются друг с другом: в одном случае — боец в группе, выходящей из окружения, в другой — мирный человек на пути немцев, выбиравшихся из окружения. Совпадение это скорее всего случайное, но в то же время и не случайное: Глазова всегда влекли ситуации, которые требуют высочайшего духовного напряжения, ситуации, в которых прорастает все то, что таилось, созревало в душе человека до поры до времени.

И как Белов не уклонился от ответственности за судьбу других людей, выходявших из окружения, так Гурилев не уклонился от боя с опытными и остревшими солдатами. Оставленный караулить сарай с собранным у населения зерном, он увидел немцев, которые направлялись к этому сараю в поисках горючего для своей автомашины. Гурилев обстрелял их, был схвачен, потому что он — мирный человек, инвалид с детских лет — не знал даже, как перезарядить оставленный ему автомат. И после короткого допроса его расстреляли фашисты...

Так оправдывается смысл заголовка: долгая зимняя ночь, которая вместила его воспоминания о всей предшествующей жизни; героическая ночь, к которой он оказался подготовлен всей своей жизнью.

Сходное происходило и с Беловым: у него тоже внутри был словно безошибочный нравственный компас, стрелке которого он неуклонно следовал. Оттого и вручили ему свои судьбы оказавшиеся в немецком тылу бойцы: одним виделся за твердостью духа Белова еще и авторитет партии, другим — командирский опыт; оттого и звали его одни командиром, другие комиссаром, признавая его не столько старшим по званию, сколько более крепким по духу, по справедливой силе и воле.

Так в обеих повестях просматривается общая цель: выявить те малозаметные ростки, которые дали в трудную минуту такие добротные всходы. Глазова интересует именно сам момент перехода из одного состояния в другое: как шофер становится водителем, руководителем и как инвалид-бухгалтер обретает самоотверженную решимость и мужество.

Но если повесть «Перед дальней дорогой» сосредоточена почти целиком на характере Белова, настроена, так сказать, на балладную волну, то «Ночь и вся жизнь» вбирала многие относительно независимые линии, связанные друг с другом не только событийной, но и духовной связью; почти все остальные персонажи тоже являют естественное для них мужество, создавая как бы аккомпанемент образу главного героя. Ибо героический поступок — это не печать изbranничества, а естественное свойство характера.

Это можно назвать простотой героизма — той, что подобна простоте солнечного луча, в котором уместается весь цветовой спектр. Духовное здоровье героев, создающее эту кажущуюся простоту, складывается из сподволь, на протяжении жизни, благодаря многообразным духовным и социальным воздействиям.

Пожалуй, это сравнение с кажущейся простотой солнечного луча приложимо и к его поэтической манере. В его стихотворениях обычно запечатлено мгновение жизни, тихо подступившее переживание, оттого они обычно кратки, раздумчивы, прозрачны, не таят сложных ассоциативных ходов, не претендуют на хитроумные «раскодирование». Он из тех поэтов,

которых ценишь за чистоту и искренность лирического чувства. Но все его миниатюры, сколь бы разнообразными ни были запечатленные в них переживания, освещены единым лирическим чувством — чувством человека, побывавшего у жизни на краю и потому особенно ценящего все ее проявления. Именно память о войне, о крае жизни придает его лирике внутреннюю целостность.

Когда нагрянула война,
мы годы наши не считали,
и в час твой горестный, страна,
мы все ровесниками стали.
Когда ж окончилась война,
когда оружие остыло,
вдруг проявилась седина
и все, что прежде с нами было.

Глазов убежден, что истинная духовная сила проявляется не в тех ситуациях, которые человек подбирает «под рост» себе, а в тех, которые заставляют человека делать нелегкий выбор. И тогда правильно сделанный выбор подчиняет ситуацию человеку.

Нет, Григорий Глазов вовсе не прикован только к войне, не тащит память о ней, как тяжелые, но должествующие свидетельствовать о святости вериги. Есть у него и недавняя прекрасная повесть «Без наркотоза» о жизни врачей, и давний рассказ «Старый враль» — о старике переплетчике, который сочинял трогательные и милосердные сказки о неизменной победе добра и сумел утешить, поддержать, согреть заглодавшее сердце молодой одинокой женщины. Но все-таки нерв его творчества — «голос памяти»:

...А памятникам ничего не надо.
Все помнят вдовы.
Павшие молчат.
Они вошли и стали за ограду,
Где на табличках надписи кричат.

Недаром в названиях сборников его стихов неизменно слышится какая-то тревожащая и в то же время уверенная тональность: «Эхо», «Ступени», «Пласты», «Грани», «Голос»... Можно образовать из этих слов фразу, которая выразила бы сущность художнического мирозерцания: как бы ни были круты сегодняшние ступени, все равно должен звучать голос тех лет, поднимая все новые пласты памяти и открывая все новые грани дарованной нам жизни, в томительной и страстной надежде услышать ответное эхо. Конечно, я произвольно образовал эту фразу. Но твердо могу ручаться за истинность смысла, заложенного в ней, ибо «воздух» каждого названия выбирает эту тревожную и неотступную мысль о голосе и эхе. Все его стихи о любви, о природе, о радости жизни как бы продукты ветром памяти и долга.

Есть у него стихотворение «Моя старая фотография». Вот его начальная и завершающая строфы:

За что обижен на меня
тот паренек в шинели серой?
Какой меня он мерит мерой,
сидящий около огня?..
За что-то позднее вина,
отверг свое со мною сходство.
Он ощущает превосходство.
Он что-то знает про меня...

Вот какой строгой мерой судит сам поэт — себя сегодняшнего, своих сегодняшних сверстников, сидевших у фронтовых костров, и тех, кому сегодня двадцать, как тому паренюку в шинели и каске. Так хочется, чтоб непременно признал своими и улыбнулся нам тот исхудалый паренек!

Г. КРАСУХИН

«И СМЫСЛ, И ЦЕЛЬ»

«В ладони собрать этот лес, и в нем застоявшийся воздух, и лучик, что тонкой занозой под кожу озеро влез. И к уху, как будто часы, поднять, затаивши дыханье, и слушать его колышанье и чувствовать холод росы».

В книге Геннадия Калашникова «Ладонь» (М., «Советский писатель», 1984) есть стихи, где то же чувство выражено, может быть, и с большим душевным напряжением, но выражено именно то же самое чувство. Молодой поэт дебютирует сборником стихов, обнаруживающих их внутреннее тематическое единство друг с другом.

Нет, это не значит, что они написаны на одну и ту же тему: здесь и городские стихи, и стихи о любви, о дружбе, о разлуке, и стихи о дереве, о лесе, о птицах, о реке, об озере, о море, о...

Но в том-то и дело, что все эти «о» достаточно условны, ибо не подлежат четкому разграничению. Не случайно же одно из «городских» стихотворений Калашникова о «железобетонном доме», где живет его герой, заканчивается такими строчками: «Холодной весной высоко от земли железные прутья из стен проросли», а другое — «Лермонтовская площадь» — насквозь прошито сравнениями типа: «Высотный дом из светло-серых плит, поет цикада родом из Тамани, нет, не цикада — мелочью бренчит прохожий в оттопыренном кармане».

И не только в том суть, что автору, стоящему у памятника Лермонтову, пригрезилась цикада непременно «родом из Тамани» (в этом смысле стихотворение последовательно выдержано в «лермонтовской» образности), а прежде всего в том, что даже в прозаическом бречании мелочью автор расслышал пение цикады. И не арматура дома вышла кое-где наружу, а «под частым железным дождем» «железные прутья из стен проросли».

За прорастанием сугубо урбанистического пейзажа в природу, за уподоблением ей как раз и стоит очевидное желание автора приобщиться душой к природе, почувствовать себя в ней.

И не зря герой Г. Калашникова так аттестует себя: «Не часть этой шири, размаха, разбега, а сам — и размах, и разбег, и разлет». Разглядев в древесном «листочке с загадочным узором» «ладонь, раскрытую для гадания», он в другом стихотворении, обращаясь к любимой, увидит в линиях ее ладони те же загадочные узоры: «Ладони твои — листья розовые, маленькие листья березовые».

И не случайно, что, обращаясь к природе: «Спешу попасть с тобою в лад... перебираю наугад — жить, таять, дерево, движенье...» поэт на первое место ставит «жить». Как жить? — вот о чем прежде всего вопрошает он природу.

Но и «таять» — тоже не случайно. Как не случайно и то, что оно стоит рядом с «жить». Стихи Калашникова не запечатлевают легкой или беспечной жизни. В них нередко тяжесть, которая требует работы души, требует преодоления. И поэт преодолевает ее, вызывая к природе: «Дай, осень, мне тихую мудрость растений. Да будет несуетна дней череда, и будет подвластна законам осенним — сначала плоды, а потом холода».

Ибо, если следовать этим «законам осенним», жизнь человеческая оказывается наполненной глубочайшим смыслом!

Не будем преувеличивать: в книге «Ладонь» немало реминисценций. Но и преуменьшать не станем: это серьезная книга. Продуманная и выношенная. Убеждающая в правоте ее автора, в его праве сказать о своей и нашей жизни: «Наши дни не суета, в них и смысл, и цель».

В. КЛИМОВ

КНИГА О ПОЭТЕ

Бывают такие художники, значение которых, судьба которых шире и выше собственного их дара, непосредственно выраженного в их творчестве...

Юрий Минералов выпустил книгу о таком именно художнике — «Поэзия, поэтика, поэт» (М., «Советский писатель», 1984). Герой ее — известный советский поэт Семен Кирсанов, «удивлявший...», остававшийся равнодушным..., вызывавший усмешку..., возмущавший, восхищавший...

Первая книга о до сих пор неоднозначно оцененном поэте и мало «освоенном» в нашем литературоведении, книга, которая к тому же является монографическим дебютом, говорит о творческой смелости автора, известного по литературно-критическим публикациям, филологическим исследованиям и сборнику своеобразных стихов...

Свою задачу Ю. Минералов видит так: «...сквозь призму поэтической биографии Семена Кирсанова взглянуть на стиливые особенности и на поэтику того течения в поэзии, где Кирсанов — реальный «полномочный представитель», однако звезда отнюдь не первой величины». Маяковский — тот по складу своей художественной натуры не способен был ограничиваться постановкой чисто формальных задач. У Кирсанова же интерес к форме зачастую перевешивал. Такая особенность, впрочем, имеет для исследователя свои удобства, так как благодаря ей нагляднее становится гипертрофируемое самим поэтом обновление стиля...

Именно новаторство формы, связанное с самыми горячими непосредственными откликами на современность, выводит судьбу Семена Кирсанова за пределы отпущенного ему дара и даже за пределы его собственной поэзии. Его значение шире — как постоянного возбудителя, побудителя к поиску, к смелому и беспокойному ис-



кательству... Он оказался в современной поэзии эстетическим «бро-долой», фантазером и выдумщи-ком, увлекавшим за собой, вовле-кавшим в спор.

Именно это выдвинуло С. Кир-санова на ответственную роль од-ного из учителей поэтической моло-дежи. В книге показано, что Семен Кирсанов оказал значительное влияние на молодых поэтов, бурно ворвавшихся в литературу в 50—60-е годы (А. Вознесенский, Е. Ев-тушенко, Б. Ахмадулина, П. Вегин, Р. Рождественский, О. Сулейменов, В. Соснора), а также на тех моло-дых поэтов, что сегодня вызывают споры (А. Парщиков, А. Прийма).

Книга Ю. Минералова совсем не безукоризненна. Что-то сказано мимоходом, порою бездоказатель-но... Некоторые трактовки и поло-жения исследователя слишком од-нобоки и категоричны. Но она по-лезна и необходима — и в этом ее главное достоинство.

Она высвечивает с разных сто-рон фигуру поэта, всю свою жизнь стремившегося к обновлению поэ-тических средств, к изобретению новых, к слову звучному, звучаще-му, играющему перезвонами. Уда-чи и утраты С. Кирсанова, его дер-зания и крайности рассматривают-ся как проявление творческой энер-гии и вечной неуспокоенности.

В год, когда появилась эта кни-га, вышел первый на нашей эстра-де моноспектакль по стихам С. Кирсанова — «Фокусник-волшеб-ник» (режиссер В. Монюков, ис-полнитель Е. Кайранская). А ли-тературная общественность торже-ственно открыла памятник на могиле поэта...

Книга Юрия Минералова законо-мерно вписывается в ряд этих со-бытий на продолжающемся пути Семена Кирсанова к своему чита-телю — сегодняшнему и завтраш-нему...



М. КОМИССАРОВА

ЗЕМНЫЕ ЧУДЕСА

Для многих читателей зна-комство с молодым укра-инским прозаиком Вален-тином Тарнавским состоит толь-ко теперь, потому что «Цвет папо-ротника» (М., «Молодая гвардия», 1984) — первая его книга, вышед-шая на русском языке (перевод Н. Дангуловой). В нее вошли по-весть-феерия и рассказы.

Название сборнику не случайно дала именно повесть: в ней скон-центрированы характерные для прозы В. Тарнавского черты. Определение «феерия», должно быть, заинтригует читателя, осо-бенно если он уже познакомился с рассказами В. Тарнавского — реалистическими, наполненными бытовыми деталями. Но вся исто-рия, случившаяся с аспирантом Фо-мой Водянистым, — совсем не фан-тастическая, напротив, вполне земная. Почему же все-таки автор назвал свою повесть феерией?

Одна из характерных черт про-зы В. Тарнавского — привержен-ность к символическому. Собственно, повесть-феерию можно назвать по-вестью-символом. Превращение Фомы из посредственного научно-го работника в человека твор-ческого поистине чудесно. Если раньше «серая, водянистая» дис-сертация и нужна-то была ему скорей для самоутверждения, что-бы смыть с себя налет «провин-ции», как смывал он этот налет в престижной сауне, то, повстречав Незнакомку, Фома по-настоящему загорается работой. Правда, Не-знакомка нужна ему лишь понача-лу; почувствовав в себе уверен-ность и силу, он начинает тяго-титься ее преданностью.

Фома, не захотевший связывать себя никакими обязательствами перед Незнакомкой, прогоняет ее и теряет это земное, совсем не ска-зочное, обыкновенное чудо — лю-бовь, а вместе с ним — то единст-венно живое, что в нем сохрани-лось, и становится «городским, стерильным, рафинированным го-мункулусом». Сам Фома — это, к сожалению, достаточно распро-страненный тип человека, способно-

го предать любовь. Пожалуй, да-же более жестко, чем в повести, автор исследует и высмеивает этот характер в рассказе «Супермен», где главный герой, Валентин, по-ступая не по-мужски, утрачивает и мужской облик — готовит, вя-жет, и однажды на лестнице вы-ходит не Валентин уже, а... «пол-ная женщина в цветастом передни-ке». Превращение комичное, но за-этим — нешуточное явление.

Правда, иногда писатель берет ситуацию слишком легковесную. История двух ребят, знакомящихся на пляже с девушками («Такие вот дела»), весьма банальна; в ней много поверхностных наблюдений, рассчитанных более на внешнее восприятие, нежели на глубокое сопереживание.

Но все же главное для В. Тар-навского — не просто рассказать о трогательной влюбленности пар-нишки («Колька») или наивных размышлениях Люськи («Долго-играющая»). Авторский взгляд глубже: любовь, понимание, со-чувствие, боль за Другого — это настоящие земные чудеса; их на-до беречь, замечать, ценить — ина-че они погибнут.

В предисловии к сборнику В. Дрозд не случайно пишет о традициях украинской литературы, о «Лесной песне» Леси Украинки, где сказочные и реалистические сюжеты, переплетаясь, образуют особый поэтический мир.

Но главное, как отмечает В. Дрозд, — это стремление В. Тарнавского, участника VIII Всесою-зного совещания молодых писате-лей, «помочь словом своим нравст-венному воспитанию нового чело-века». У писателя есть немалый уже жизненный опыт — он рабо-тал лаборантом, служил в рядах Советской Армии, был на журна-листской работе.

Чудо, как бы говорит он своей книгой, — это созидание жизни длиною во всю жизнь.



АЛЕКСЕЙ
ФРОЛОВ

ИМ БЫЛО ДВАДЦАТЬ...



Весной этого года мы принимали в редакции наших коллег из Азербайджана — сотрудников и авторов молодежного литературного журнала «Уддуз». Молодые поэты, прозаики, переводчики, публицисты рассказывали о своей работе, делились творческими планами. Когда разговор зашел о наиболее активных сегодняшних азербайджанских писателях, среди других было названо имя Ахмеда Исаева — писателя, верного одной теме — военно-патриотической. Мы узнали, что к 40-летию Победы у Исаева должна была выйти одиннадцатая по счету книга — на этот раз на русском языке. И вот эта книга перед нами — объемистый томик в красном переплете — «Эхо дальних боев» (изд. «Азернешр», Баку, 1985).

Книга читается неотрывно, единым духом. И потом еще долго остаешься под впечатлением суровой правды, которая в ней заключена. Здесь ничто не выдуманно. И ощущение подлинности — не только от умелого профессионального подбора документов и фактов — автор не приемлет холодного литературного конструирования. В каждом очерке (а всего в книжке их около сорока и еще повесть в документах) отчетлива глубоко продуманная, как бы выстраданная авторская позиция. Вот как формулирует ее сам Ахмед Исаев в одном из очерков — о своем земляке, первом азербайджанце, получившем звание Героя Советского Союза, двадцатилетнем Исрафиле Мамедове. «Мне ничего не хотелось домысливать... Из собранных по крупицам воспоминаний, разысканных заметок и корреспонденций военной поры, различных архивных документов передо мной встал облик удивительно цельного, жизнерадостного, редкостной отваги человека».

Всегда любопытно заглянуть в творческую лабораторию писателя. Некоторое время назад автор этих заметок имел такую возможность. Тогда Исаев закончил большой очерк об одной из узниц женского концлагеря Равенсбрюк — Вере Войницкой. Эта русская девушка принимала участие в спасении от газовой камеры Розы Тельман, жены вождя немецких коммунистов. Было важно выяснить как подробности этой патриотической акции, так и подробности жизни Веры, а в руках у Исаева была крохотная зацепка — газетная вырезка да страничка плана воспоминаний, которые Войницкая так и не успела начать. Пятнадцать лет понадобилось писателю, чтобы приподня-

лась завеса над героическим фактом. Шесть томов переписки, всевозможных запросов, записей встреч с очевидцами, копии документов из архивов разных стран — и один-единственный очерк, где все, однако выверено, подчинено строгой логике событий. Работа, в сущности, близкая к научной. Не только скрупулезно воссоздающая образ полузабытой героини, но и могущая вполне послужить достоверным материалом для завтрашних исследователей.

Сказанное в полкой мере относится и к другим очеркам Исаева. Но чтобы понять, сколь труден хлеб документалиста, напомним и еще об одном обстоятельстве. За минувшие десятилетия написаны тысячи и тысячи книг о войне. От пристального взгляда историков, публицистов, писателей, казалось бы, не ушел ни один сколько-нибудь значительный эпизод. Словом, рассчитывать на большое открытие не приходится. Но это вовсе не значит, что надо опускать руки, пренебрегая деталями, штрихами-«фактиками». Работа Исаева доказывает, что именно «фактики» порой способны пролить неожиданный свет на то или иное событие. Что в многотрудном деле восстановления истины нет и не может быть второстепенного.

Впрочем, для русского читателя в новой книге Исаева почти все — открытие. Из героев очерков, пожалуй, только трое были прежде более или менее знакомы по публикациям центральной печати. Это танкист генерал Ази Асланов, легендарный партизан Мехти Гусейзаде и уже упоминавшийся Исрафил Мамедов. Другие судьбы, другие люди — все больше молодые, двадцатилетние — впервые «выходят» на всесоюзного читателя. И хорошо известные факты героического участия Азербайджана в битве с общим врагом делаются осязатее, рельефнее, как бы очеловечиваются этими яркими образами воевавшего поколения республики, с которым, в сущности, новая книга Ахмеда Исаева.

С ее страниц звучит и голос нынешних двадцатилетних — внуков фронтовиков, чей гражданский и нравственный опыт стал достоянием нового поколения, приемлем молодыми безоговорочно и свято. Писатель не ординарно, не риторически раскрывает всю глубину этой преемственности. В финале книги молодые отвечают на вопрос, заданный Исаевым, — «Если бы ты узнал, что началась война?» Вот некоторые ответы:

Гейдулла Аразов: «Когда Родина в беде, стоит ли размышлять?»

Керим Ибрагимов: «Есть такая поговорка: «Лучше умереть со славой, чем бесславно век прожить...»

Ибрагим Зейналов: «Разве спрашивают у сына, что он будет делать, когда в беде его мать?»

Ахад Аллахар оглы: «Каждому человеку дорога его жизнь. Но любовь к Родине, честь матери и сестры, отцовская гордость, жизнь детей — еще дороже...»

Эхо дальних боев чисто отзывается в сердцах молодого поколения, и в этом — гарантия его безусловной готовности отразить любое посягательство на мир и покой Отечества.

М. ЗАЛЕССКИЙ,
Е. ЧЕН

ВЫШЕ ГОЛОВЫ... ПРЫГНЕШЬ!

Первые соревнования по прыжкам в высоту были проведены чуть больше ста лет назад. По сравнению с другими видами легкой атлетики—прыжками в длину или бегом на различные дистанции, которые ведут свою родословную от Древних греков (а это более двух тысячелетий!) — прыжки в высоту, по сути дела, находятся еще в детском возрасте.

Своим рождением прыжок в высоту обязан гимнастике. Когда-то в программу гимнастических состязаний входил и прыжок вверх с двух ног и с прямого разбега. А когда этот вид прыжка приняла в свое лоно легкая атлетика, то «гимнастический стиль» уступил место прыжку с одной ноги способом «поджав ноги». В 1864 году англичанин Р. Майкл преодолел планку на высоте 167,6 см, что можно считать первым мировым рекордом.

А уже в 1887 году студент Пенсильванского университета Пейдж, прыгая стилем «ножницы», покорил планку на высоте 193 сантиметра. По тем временам результат этот был ошеломляющим. И главное — он был показан человеком, собственный рост которого был всего 169 см! Так, преодолев планку выше собственного роста на 24 см, Пейдж стал, сам того не подозревая, основателем клуба атлетов, опровергающих древнюю мудрость: выше головы не прыгнешь!

И сегодня, когда так возрос интерес к выявлению предельных возможностей человека, нам представляются не совсем справедливыми те правила, по которым выявляются победители в прыжках в высоту.

Возьмем, к примеру, тяжелую атлетику. Каждому ясно, что сила пропорциональна весу атлета или, точнее, объему его мышц. Именно поэтому в тяжелой атлетике проводятся соревнования в десяти (!) весовых категориях. И естественно, что рекордсмен мира и олимпийский чемпион в легчайшем весе поднимает меньше, чем безвестный второразрядник среди супертяжеловесов. Но каждому — свое, и это справедливо. Весовые категории введены и у борцов и у боксеров.

В прыжках в высоту долгое время — пожалуй, до 1960 года — не возникал вопрос, что высокорослые спортсмены имеют фору.

Но летом 1960 года американец Джон Томас, рост которого был 198 см, последовательно установил три мировых рекорда — 2,17, 2,18 и 2,22. И начали было поговаривать о том, что прыгунам нормального роста соперничать с Томасом просто не под силу. Но... на Олимпийских играх в Риме Томас потерпел сокрушительное поражение от советских спортсменов Роберта Шавлакадзе (рост 187 см) и Валерия Брумеля

(185 см). А после Олимпиады в течение трех лет Валерий Брумель шесть раз улучшал рекорд мира — от 2,23 до 2,28. А в своем последнем рекордном прыжке в июле 1963 года Брумель преодолел планку, превышающую его рост на 43(!) см. Так что и тут он не знал себе равных.

Рубеж 2,30 первым преодолел, как известно, двухметровый американец Дуайт Стоунз, который прыгал стилем «фосбери-флоп». Наш Владимир Яценко, взявший в зале 2,35 и хранивший верность перекидному стилю (стилю Брумеля), был тоже достаточно высокого роста (193 см). А сегодняшние чемпионы и рекордсмены (все они прыгают «флопом») — сплошь высокорослые. Судите сами: лучший результат в мире — 2,39 — имеют китаец Чжу Цзяньхуа (рост 191 см) и Дитмар Мегенбург из ФРГ (201). А на 2,38 прыгнул швед Патрик Шеберг (199 см)...

С точки зрения биомеханики проблема преодоления планки в прыжках в высоту сводится в конечном счете к перенесению через планку общего центра тяжести, который расположен у человека, в зависимости от его роста, на высоте метр десять — метр тридцать. И стало быть, чем выше рост, тем выше центр тяжести и тем меньше надо прикладывать усилий на преодоление высокой планки. А это значит, что высокорослые атлеты имеют все же большую фору. При современном уровне спорта — это весомый козырь.

И как же не восхищаться теми атлетами, которые не получили от рождения этой форы и тем не менее отважно бросают вызов гигантам, борются с ними на равных и если не в результатах, то уж в прыгучести превосходят их. И если составить таблицу «самых прыгучих», то во главе ее станет феноменальный Франклин Джэкобс из США (рост 173 см), который прыгнул выше головы на целых 59 см! Еще шесть спортсменов прыгнули выше своего роста более чем на полметра, и среди них — чемпион VIII Спартакиады народов СССР Валерий Середа. И при своем росте (186 см) он имеет трегий результат в мире — прыгнул на 2,37! В этой таблице обладатель нынешнего мирового рекорда, китаец Чжу Цзяньхуа, стоял бы только на девятом — одиннадцатом местах.

Надо учесть, что двухметровому прыгнув легче, конечно, в течение сезона показывать результаты, превышающие его рост на 30—35 сантиметров, чем «малышу» каждый раз прыгать на 48—51 сантиметр выше собственного роста.

Достижения самых прыгучих реально определяют те рубежи, которых может достичь человек. Представьте себе атлета с прыгучестью Середы и Джэкобса, но более высокого роста. Ведь именно такой прыгун и поднимет в конце концов рекордную планку до двух с половиной метров.

Пока же, чтобы не отвращать от прыжкового сектора прыгучих юношей обычного роста, быть может, стоит обратиться к опыту тяжелоатлетов, борцов и боксеров. А в качестве первого шага следует избрать соревнования, на которых будет чествоваться не только абсолютный победитель, но и самый прыгучий атлет. Традиционные соревнования в Тбилиси на приз олимпийского чемпиона Роберта Шавлакадзе, рост которого, напомним, был равен 187 см, и могут, на наш взгляд, стать такими соревнованиями. Никаких организационных трудностей это не создаст. Надо лишь назначить специальный приз для «самого прыгучего» и за час до состязаний точно измерить рост всех участников...

АЛЕКСАНДР ПОРТЕР

ОБЪЯСНЕНИЕ

Рисунок И. Оффенгендена



Коля Утюгов отправился в дискотеку при общежитии. Танцы его не интересовали — не уважал он это дрыганье, — а пошел на лекцию, которую давали перед танцами. Лекция называлась интригующе: «Молодая семья. Мужчина и женщина». Семьи у Утюгова не было, но создать ее он собирался. И кандидатура была.

На сцену поднялся мужик в очках и представился сексологом (отчего Утюгов почему-то сразу покраснел). Сначала мужик говорил о любви и дружбе, а потом как пошел шпарить — ну будто он это все своим друзьям рассказывает. Утюгов еле высидел, по сторонам старался не смотреть, особенно на женщин.

Вышел он с этой лекции малость не в себе. Целая наука, оказывается, уже есть, люди изучают, зарплату за это имеют, — а он, Утюгов, вот уже полгода вокруг Татьяны ходит и даже не поцеловал ни разу. Не знает, с какого боку подобраться.

«А вот попадется такой подкованный, — зло думал Утюгов, кружа по вечерним улицам, — и нету Таньки-то!..»

Кружил Утюгов, кружил и выкружил к женскому общежитию. — Чего пришел-то? — спросила Таня.

— Да это... просто так. Пошли погуляем?

Они пошли. Утюгов, как всегда, тут же завел шарманку про своего мастера, который заработать не дает. Тема была неисчерпаемой, и Утюгов тут же пожалел, что начал.

Но Таня помогла ему выбраться.

— Ленка замуж выходит за своего рыжего, — сообщила она. — И чего она в нем нашла? Дурак дураком!

— У вас все дураки, — заметил Утюгов, — а что сами дуручки, того не замечаете. Лучше б вон на лекцию сходили...

— Какую еще лекцию?

— А вот я сегодня слушал. Про отношения между мужчиной и женщиной в семейной жизни. — Во дает! — приснула Таня. — Жениться собрался, что ли?

— Не в этом дело, — туманно ответил Утюгов. — Целая наука, оказывается, уже есть.

— Видали!... — Таня посерьезнела. — И что ж такого узнал?

— Много... Вот, к примеру, мы с тобой... — Утюгов почему-то вспотел. — Уже полгода ходим, а зачем? Вот ты мужчина, а я женщина. То есть наоборот! И ничего тут, можно сказать, зазорного...

Таня с интересом смотрела на Утюгова.

— А мы с тобой, — продолжал Утюгов, будто с горы летел, — и не поцеловались еще ни разу. Если по науке — глупо!

— Видали! — как-то нехорошоотреагировала Таня. — Это кто же глупый? Я, может? Он ходит пеняем, а я виновата. Объять по-человечески не может...

— Объять я могу. Я не про это. Я говорю: наука уже у людей есть специальная, а мы все это... тыркаемся, как щенки в потемках.

— Это кто же щенок? — озлилась Таня. — Сам и щенок! Надо мной уже все девчонки смеются:

нашла недоразвитого! Витька с Машкой вместе с нами на стройку приехали, а у них уже ребенок в ясли бегают, у Сашки с Галкой скоро второй будет, Лизка и вовсе третий раз замуж выходит, а я с ним связалась... На лекции он ходит!..

И Таня вдруг разрыдалась, уткнувшись в ствол дерева.

— Ты чего, Танюх? — заволовался Утюгов и обнял Таню за плечи. — Ты чего? Да не надо! Я ж люблю тебя, Танюх!

— Любит он, — редела Таня, нехотя вырываясь из его рук. — Которые любят, тем уже комнату отдельную дали. А этот на лекции ходит!..

— Да не пойду я больше, — Утюгов крепче обнял Таню, — не пойду. Чего ты с этой лекцией?..

И он вдруг неожиданно для себя впился губами в Танино лицо.

Но Таня с силой оттолкнула его.

— Ах ты, кот проклятый! Лекций наслушался?! Потянуло?! — И она со всей силы ударила Утюгова по лицу, рванулась из его рук и скрылась в светящемся проеме подъезда.

Минут двадцать ходил Утюгов вокруг женского общежития и ничего не мог понять. Наконец плюнул в кусты:

— Вот бабы!.. И чего им надо?

А Таня уже лежала в постели и, довольная и счастливая, рассказывала Зойке Сидоровой:

— Ходил-ходил вокруг да около, про лекцию какую-то плел, все не решался. А потом как обнимет... Ну, Зойка, все во мне так и захолонуло. И говорит: давай завтра в загс, а то повешусь!

— Да ну? — удивилась Зойка, шурша в темноте одеялом. — Ну и Утюгов!.. Наконец-то! А ты чего?

— Да послала я его... Ну так, невозможно, конечно. Слушай, а что за лекция-то сегодня была?

— Да про это... — зевнула Зойка, — Лизка лучше рассказывает.

— Аа-а-а... — тоже зевнула Таня и ласково добавила: — Вот дурачок! Лучше бы в техникум готовился...

И Таня сладко уткнулась в подушку, предвкушая начало новой для себя жизни.

Утыкался в подушку и Утюгов, ворча тихонько:

— Сексологи, фигологи... Лучше бы лекцию прочли, как этих женщин понимать-то надо!

ОЛЕГ НАЗАРОВ

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

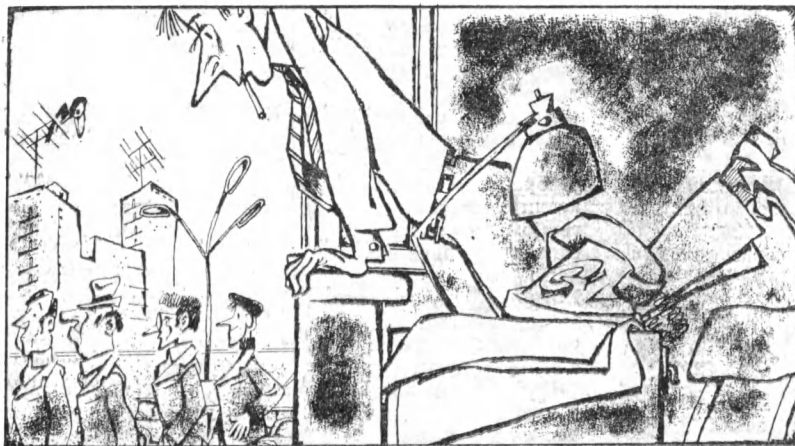


Рисунок И. Оффенгендена.

Рабочий день в нашем отделе начинается одинаково: технолог Еронин окидывает взглядом комнату и докладывает мне:

— Сергей Николаевич, опять Серабкина нет.

— А где Серабкин? — спрашиваю я. — Он мне квартальный отчет должен.

— Не знаю, — пожимает плечами Еронин. — Наверное, по общественной линии отлучился. Может, пойти поискать?

— Идите, — говорю я и углубляюсь в работу.

Через пять минут поднимается счетовод Гниленко.

— Серабкина нет. Еронин ушел... — задумчиво говорит он, обращаясь к кактусу на подоконнике. — Может, поискать их, Сергей Николаевич?

— Поищите, — говорю я.

Еще через пять минут вскакивает плановик Макарищев.

— Сергей Николаевич, это безобразие! Форменное! Разрешите, я найду их и доставлю сюда всех троих живыми или мертвыми!

— Лучше живыми, — холодно-кровно заявляю я. Он у нас очень вспыльчивый, этот Макарищев, его всегда лучше охладить.

Макарищев выбегает из комнаты. Остаемся работать мы вдвоем — я и гордость нашего отдела, Ахмедов, сидящий на скромной должности лаборанта. Наконец даже он не выдерживает.

— Сергей Николаевич, — клопочет он. — Через пять минут они будут здесь! Вы меня знаете!

Я его знаю. Ахмедов уходит.

Я встаю с кресла, подхожу к окну и смотрю на улицу. Там, через дорогу, сверкает вывеской пивной бар «Апеннины». Его стеклянные стены не могут укрыть от меня моих сотрудников Еронина, Серабкина, Гниленко и Макарищеву, сидящих в углу за столиком. Через минуту к ним присоединится Ахмедов — вон, я вижу, как он перебегает дорогу.

Тогда я вздыхаю и подхожу к холодильной камере, которую установили у нас в отделе после ремонта института. Достая оттуда две бутылки пива, срываю браслетом часов пробку, наполняя тонкий бокал.

«Странные люди, — думаю я, снова устраиваясь в кресле и закрывая глаза. — Как можно разливное пиво любить больше бутылочного?..»

Литературные пародии

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
НА СЕНАТСКОЙ

Посредине зимы перед
Зимним дворцом
Нам стоять на плацу
с обнаженным лицом.

Чтобы здесь, на Сенатской,
посреди декабря
Расцвести

Александр ИБРАГИМОВ
(«14 декабря, 1825»).

Я стою на плацу
перед Зимним дворцом
С искаженным от страха
и горя лицом.
Что такое — скандал,
наваждение, бред?
Где Сенатская площадь?!
Должна быть, а нет!
На Сенатской стою...
Страх не сходит с лица,
Нету Зимнего здесь,
хоть убейте, дворца!
Я подобного просто
не в силах понять,
По моим представлениям
он должен стоять!
С убеждением этим
я вырос и жил.
Я об этом стихах
в одиночестве сложил!
Мне со смехом сказал
пробежавший юнец:
«Отродясь не стоял здесь
твой Зимний дворец.
Ты бы, дяденька,
прежде чем что-то писать,
Потрудился хотя бы
об этом узнать...»

ШАГИ В ИСТОРИЮ

Вдруг на плечо ко мне ложится
Донского Дмитрия рука
И стены каменные слышат
Мои и Дмитрия шаги.
Юрий ГОЛОВИН.

Мечтая приобщиться к чуду,
враг ежедневной суеты,
я постоянно был и буду
с родной историей на «ты».
Идем Москвою — руки в брюки
(вокруг сплошная лепота!) —
два Юры — я и Долгорукий
и с нами — Ваня Калита.
Доходим до Замоскворечья,
я вдохновеньем обуюн,
чуть притомился, а навстречу
идет еще один Иван.
А Калита — мужик серьезный,
он говорит Ивану: — Ишь,
ты что-то нынче, Ванька,
грозный,
войти в историю хочишь?
Идем... На солнце плеши греем,
поют в Зарядье соловьи...
Войти в историю сумеем —
я и попугайчики мои.

КСЕНИЯ
АВДЕЕВА

«С МЫСЛЮ О МАТЕРЯХ»

«...» чем бы ни думала твоя мать, она всегда думает о тебе... Эти слова принадлежат армянскому живописцу Минасу, чьи портреты матери вряд ли сумеет забыть тот, кто хоть раз их увидел.

Уникальная коллекция картин писателя Саввы Дангулова посвящена едва ли не самой высокой из общечеловеческих тем: материнству.

В марте нынешнего года любители прекрасного смогли познакомиться с этим своеобразным собранием, выставленным в Доме Дружбы с народами зарубежных стран. Редкие картины были безвозмездно переданы писателем в дар Советскому фонду мира.

Шота Руставели писал: «Что ты спрятал, то пропадет, что ты отдал, то твое». Недавно Министерство культуры СССР приняло решение об организации в Москве при Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина принципиально нового раздела — «Музея личных коллекций, переданных в дар государству». Основу его составили произведения из собрания доктора искусствоведения И. Зильберштейна...

Эпиграфом к коллекции Саввы Дангулова стали строки из дарственной надписи, сделанной лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» итальянским художником Ренато Гуттузо на портрете его матери, присланном Дангулову, — «С мыслью о матерях».

Если мы задумаемся над этими простыми словами, возникшими в душе художника, когда он по памяти писал портрет своей матери, находясь вдали от родного дома и стараясь передать дорогие ему черты, то найдем в них глубокий смысл. В жизни каждого из нас наступает время, когда он начинает возвращать матери долг. Долг любви, заботы, волнения... Когда начинаешь все больше скучать о ней, стремишься чаще ее видеть. К сожалению, иногда это случается слишком поздно...

Рискну повторить старую истину, что никто не может сполна вернуть долг матери. Потому что материнское чувство неизмеримо. В нем — исток всех нравственных начал в человеке. Потому-то мы всегда в долгу у матерей. С годами этот долг возрастает.

«Пятнадцать лет назад, когда образ коллекции только вырисовывался, мне было ясно, что она не станет камерной, кабинетной, не ограничится стенами моей квартиры, а непременно будет достоянием самого значительного круга людей», — рассказывал мне Савва Артемович Дангулов. — Желание мое исполнилось. С удивительным пониманием откликнулись на мою просьбу прекрасные отечественные художники самых различных направлений и националь-

ностей. Мне удалось заполучить работы Жукова, Гудашвили, Фалька, Авакяна, Кукрыниксов, Горяева, Светлина, Кокорина, Верейского... Среди них — произведения исключительной психологической глубины, высочайшего художественного мастерства. Настоящие жемчужины.

Долгий и сложный путь проделали многие скульптуры и картины, прежде чем попасть в коллекцию.

В тюремных застенках на острове Макронисос приговоренный «черными полковниками» к смертной казни греческий поэт и гуманист Янис Ридос на грубом булыжнике изобразил скорбные черты дорогого материнского лица...

На картине аргентинского художника Бернардо Жазюта будущая мать, совсем юная, с глазами, полными печали и решимости, борется за право ее сына появиться на свет и быть свободным, держит в руках винтовку. Она готова защищать будущее.

Позднее к теме материнства присоединилось «детство». Появились замечательные «мадонны». Сейчас есть в коллекции мадонны ярославская и владимирская, японская и нигерийская, молдавская и греческая.

Пленительная в своей жизненности и одухотворенности мадонна с младенцем, принадлежащая кисти Андрея Дмитриевича Гончарова и таящая в себе непостижимую загадку мадонна с острова Бали, вырезанная из черного дерева неизвестным мастером. Интересны эти работы своей человечностью, уважением к женщине-матери, к ее духовному сложному и прекрасному миру, к неисчерпаемым душевным богатствам. Это человек двадцатого века во всем многообразии его характера, широте личностных проявлений...

После демонстрации в Москве коллекция отправилась на постоянное место жительства — в Армавирскую городскую детскую библиотеку имени Зои Космодемьянской, созданную по инициативе и при непосредственном содействии Саввы Дангулова.

«Теперь главная забота найти коллекции достойное пристанище, — говорит писатель. — Прекрасная, шестиэтажная, по-видимому, не имеющая в стране аналогов детская библиотека в Армавире с оригинально оформленным и расписанным студентами-строгановцами интерьером, в создании которой принимали участие писатели, художники, архитекторы, все же мало приспособлена для подобной экспозиции. И картины и зрители заслуживают лучшего. Так что встает вопрос о создании городской картинной галереи. Что же касается моего пожелания, если хотите, напутствия новым хозяевам собрания, — пусть будут требовательными при отборе для него новых произведений. Уровень «золота» в коллекции очень высок. Не будем компрометировать его соседством с низкопробными металлами. Разборчивость и умение ценить — вообще хорошие человеческие качества. Пусть представление об искусстве формируется у моих юных земляков на самых высоких образцах».

Просветительская миссия всегда была трудна и радостна одновременно. Что может быть прекраснее, чем нести людям знание, приобщать к миру Прекрасного? Савва Дангулов — просветитель в подлинном смысле этого слова. Собранный им — вдохновенно и тщательно — коллекции присущи те же качества, что и всему творчеству писателя: гуманизм, высокая гражданственность, живая связь истории и современности.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ С. А. ДАНГУЛОВА

В. ГОРЯЕВ.
Мать.



Р. ТУТТУЗО, Италия,
Портрет матери.



ХУАН МОРЕЙРА, Куба.
Пробуждение.



КУКРЫНИКСЫ.
Ниловна.
Иллюстрация к повести
М. Горького «Мать».

Юность. 1985. № 8. 1—112.

Индекс 71120

Цена 70 коп.

